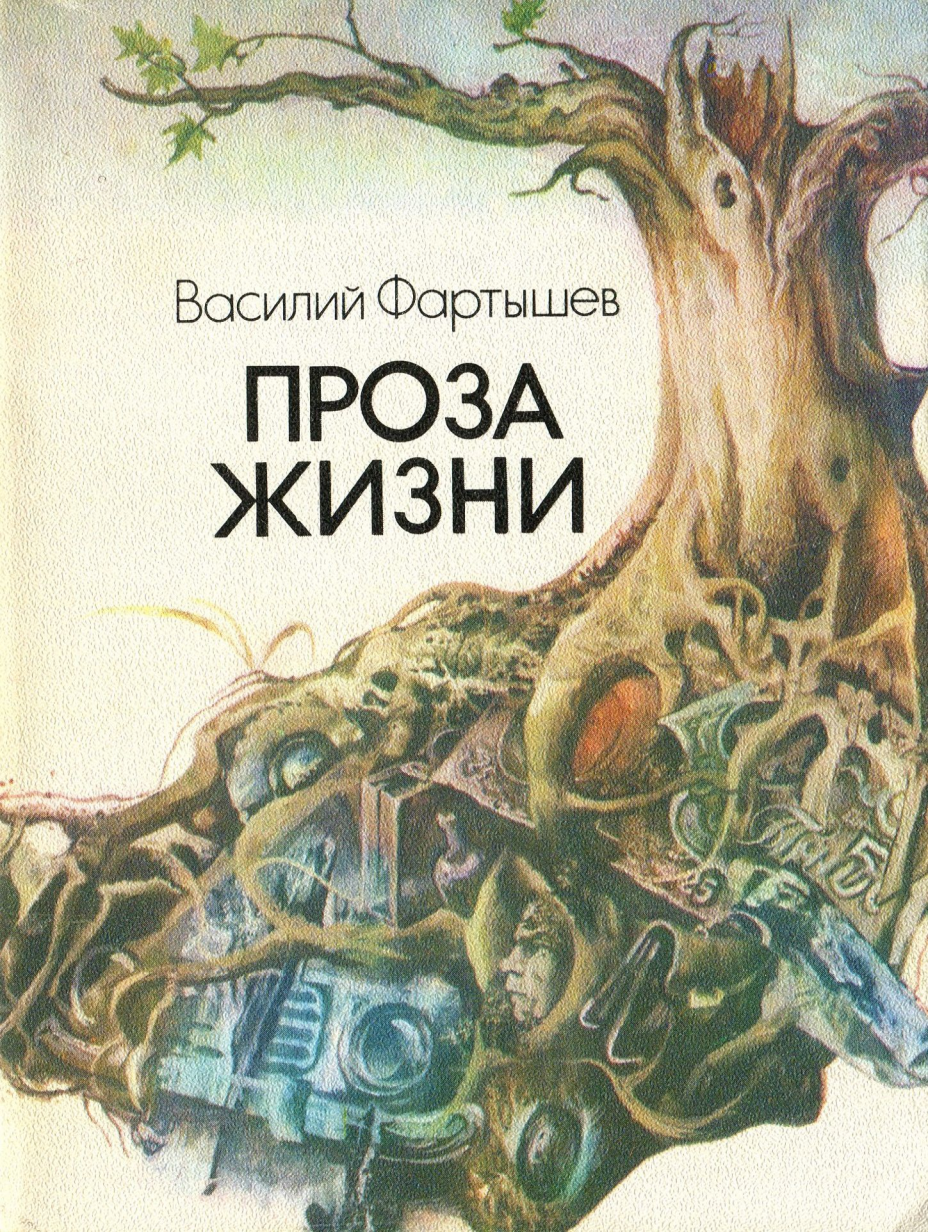


A surrealist illustration of a tree. The trunk and branches are rendered in a realistic, painterly style with warm tones of brown, tan, and green. The roots, however, are a complex, tangled mass of mechanical and human-made objects. Visible items include a blue mechanical device with a circular lens, a green mechanical component, a blue paperclip, a small human face, a red heart-like shape, and various other metallic and plastic parts. The background is a soft, pale yellowish-green.

Василий Фартышев

ПРОЗА ЖИЗНИ

Василий Фартышев

ПРОЗА ЖИЗНИ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



Москва
«Молодая гвардия»
1989

ББК 84Р7
Ф 25

Художник
Е. ФЛЕРОВА

Фартышев В. И.

Ф 25 Проза жизни: Повести и рассказы.— М.: Мол.
гвардия, 1989.— 288 с., ил.

ISBN 5-235-00454-X

Новая книга В. Фартышева состоит из повестей и рассказов. В повести «История одной ревизии» поднимаются крупные и острые проблемы в современной экономике и управлении, исследуются идейные и нравственные позиции молодых ревизоров, их борьба с негативными явлениями в обществе. Повесть «Белоомут» и рассказы посвящены экологическим и морально-нравственным проблемам.

Ф $\frac{4702010201-158}{078(02)-89}$ 115—89

ББК 84Р7

ISBN 5-235-00454-X

© Издательство
«Молодая
гвардия»,
1989 г.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ РЕВИЗИИ

ПОВЕСТЬ



Ночным экспрессом Павел Стольников выехал в командировку в город своей студенческой юности. Очень удобный поезд: сел в полночь, выспался под стук колес, а с утра сразу в дела. Возвращаясь мысленно в студенческие времена, Павел непроизвольно оглядывал последние десять лет своей жизни, со дня получения диплома. Он был в общем доволен судьбой: стал экономистом, по меркам родственников и сокурсников, сделал неплохую карьеру, был переведен в Москву, в центральный аппарат, хорошо знал дело, гордился крепкой и дружной семьей, был здоров и не знаком с несчастьями. Когда-то он с опаской относился к будущей ревизорской работе, да и любой, кто узнавал, чем занимается Стольников, не мог скрыть устарелого представления о ревизиях и ревизорах; со временем Павел вошел во вкус и занимался проверками финансово-хозяйственной деятельности с особым азартом, это была своего рода охота: среди тысяч документов отыскать ложный, проверить его и вскрыть нарушение. С годами появился и особый почерк. Настоящие мастера своего дела работают легко и как бы между прочим вскрывают многочисленные хищения, тщательно замаскированные подлоги, нарушения финансовых инструкций. На самом деле за внешней легкостью стоит кропотливый бумажный труд, долгий и утомительный.

Эта ревизия обещала быть легче других: руководителем комиссии назначен Иван Ивашнев, сокурсник, давний друг и теперь сослуживец Стольникова. Они подружились на последнем курсе финансово-экономического института, на комсомольской работе. Иван — выше среднего роста, с ярко-синими глазами, с характерным волевым подбородком — был несомненно красив, и девушки всех курсов и факультетов с большей охотой занимались общественной работой при таком секретаре комитета. Ивашнев за те же десять лет после вуза успел не только стать ответственным работником, но и защитить кандидатскую дис-

сертацию — чего не сделал Павел. Некоторые различия в судьбах друзей не мешали их полному внутреннему равенству.

Поезд плавно остановился. На чистом, недавно политом асфальте стоял Ивашнев в синем плаще — он знал, что ему идет этот цвет, и хоть не был модником, но вкус его к одежде и вещам был безупречен. Друзья расцеловались, Иван перехватил «дипломат» Стольникова и взял его под руку:

— Маленький сюрприз, Павлуша, маленький сюрприз: для тебя выстроен почетный караул. Высокий гость...

Был у Ивана и легкий изъяс: он говорил быстро и зачастую неразборчиво, получалось пришепетывание, присвистывание; зная об этом, Иван старался меньше говорить и больше улыбаться — обворожительная улыбка его действовала на всех разоружающе, как всегда действует доброта.

Стольников принял слова о карауле за шутку, но, войдя под сферическую стеклянную крышу вокзала, действительно увидел строй солдат в парадных мундирах. Грянул марш.

— Да-а, встреча на высшем уровне! — улыбнулся Павел и стал расспрашивать о первых трудностях и результатах ревизии, не интересуясь, кого же на самом деле встречает оркестр. Ивашнев понизил голос, как он всегда делал, касаясь деловых проблем, и начал: проверяемые отвели комиссии роскошные апартаменты, двойной полулюкс на каждого оплачен по безналичному расчету на месяц вперед, к началу рабочего дня подадут автомобиль к подъезду. При этом Ваня выразительно взглянул на друга.

— Все как всегда, — сказал Стольников и закурил. — Там, где есть большие деньги, непременно ищи людей, испорченных этими большими деньгами. А где же машина?

— Прости, дорогой, оплошал! Придется перейти на ту сторону площади, недоработали, понимаешь.

Это был очередной розыгрыш, какими они без устали потчевали друг друга все эти годы. Павел расхохотался, узнав, что комиссия живет в гостинице, расположенной в пятидесяти метрах от вокзала, какая уж тут машина? Оформление анкеты и пропуска заняло две минуты.

— Ты очень правильно сделал, что прибыл в воскресенье, — сказал Ивашнев в лифте. — Сегодня у нас культурная программа: экскурсия по городу и лучший театр.

— О, — оценил Павел. — А я-то выехал пораньше, чтобы сегодня войти в курс дел.

— Никаких дел, Пашенька, никаких! Надо соблюдать трудовое законодательство и работать пять дней в неделю, а не шесть.

— Умерю энтузиазм. Энтузиазм умерю, — невольно заражаясь манерой Ивана, обещал Павел. — Но ты хоть просвети, кто тут начальник финансового отдела? Я ведь транзитом из одной командировки в другую.

— Начфо будем брать. Руки на стол, ключи от сейфа — на стол, будем брать! Двести сорок тысяч над ним висят дамковым мечом. Ну и кое-что по мелочи. Так, мелочевка, на сигареты...

— Как говорил Паниковский, дай миллион, дай миллион?

Ваня рассмеялся, они вышли из лифта. Как постоянные партнеры в теннис давно изучили пасы друг друга, так и Иван с Павлом давно уже выработали свои, понятные лишь им, шутки, поговорки, этакий пинг-понг цитатами, анекдотами, порой они и сами не могли бы объяснить, что значит та или иная шутка, настолько давним было ее происхождение. Шутили они с абсолютно серьезными лицами, и сторонний наблюдатель мог посчитать, будто меж ними идет конфиденциальная беседа.

Длинным извилистым коридором они прошли в номер Ивашнева, и Стольников многозначительным взглядом окинул цветной телевизор, холодильник, круглый стол в гостиной и чайный сервиз с электросамоваром на столе, убранство спальни, отделенной волнистой шторкой. Ясно

было, что ревизии здесь сильно боятся и потому пытаются расположить ревизоров с самых первых их шагов.

— Есть предложение: в жанре пива,— Ваня по-волейбольному растопырил длинные пальцы.— У нас тут завал финского пива в холодильнике, но я предпочитаю брать в буфете «Октябрьское».

— Нет возражений.

Ивашнев взялся за телефон:

— Валюша? Валюша, как вы себя ведете — кое-как! Товарищ прибыл и недоумевает: где цветы, где группировки, улыбки и поцелуи? Быстро, Валюша, исправить положение. И Веру,— добавил он значительно.

Павел сходил в буфет, расположенный на том же этаже, и принес дюжину маленьких коричневых бутылок пива «Октябрьское». Иван закурил, сел за круглый стол.

— Эх, Пашенька! Знал бы ты, как я рад твоей физиономии в этом интерьере! Ты увидишь морду начфо Михайленко — это задница, а не лицо! Знаешь, что он сказал в первый же день? «Ребята,— сказал он,— мы будем рады услышать все ваши советы, замечания, предложения. Но снять меня вы не сможете. У меня все друзья, и все меня знают». А напоследок этот крокодил шепнул, что если у высокой ревизии есть какие-то трудности, потребности в дефиците, то пусть товарищи составят список. За эн-расчет, естественно.

— Н-да, почерк знакомый. Но, как говорит народ, не такие шали рвали — рвали полushалочки.

— Ты жаждал дел? Может, завтра займешься одной мелочевкой? Они тут проводили на паях международный симпозиум океанологов. В программе была и морская прогулка. Все точно по смете, пять тысяч шестьсот. Две организации оплатили этот круиз на паритетных началах. Все оформлено нормально, Паша, вот только одной детальки не хватает,— и он опять по-волейбольному растопырил пальцы, словно ловя невидимый мяч,— акта о том, что круиз состоялся.

— Ого. И много у тебя таких «мелочевок»?

— На месяц хватит.

— Вань, я не скажу ничего нового, я просто чмокну тебя в темечко. Твоя интуиция...

Они прекратили разговор на полуслове — в номер вошли девушки. Павел расцеловался с Валею Пустовойтой, которую знал уже не по одной совместной командировке, и пожал руку незнакомой ему Вере Павловне. Обе они, лет 32—35, были опытные финансисты с мест. Министерство часто включало в свои комиссии местных работников.

По первому же взгляду Веры, по ее смущению Павел безошибочно заключил, что она приглашена на этот «завтрак» неспроста, а в расчете на то, что они... понравятся друг другу. Значит? Значит, между Иваном и Валею... Слов нет, она прекрасный работник, честнейший человек, но выходит, Ивашнев пользуется правом включать в комиссии «своих людей»? Значит, у него роман? Но по смуглому лицу Стольников, по усам, которые прикрывали чересчур выразительные губы, никто не определил бы сейчас никаких эмоций. Пожалуй, он выглядел лишь усталым человеком, утомленным бессонницей. Павел длинной очередью, будто на ксилофоне играл, вскрыл пробки бутылок, Вера развернула целлофановый пакет, принесенный с собой — в нем оказались золотистые копченые ростовские лепши. Иван тут же выдернул плавники, отломил лепшу голову и разорвал его от хвоста по хребту. Он так умело чистил рыбу, что им можно было любоваться, как хорошим барменом или поваром.

— Познакомься, Паша, поближе, — балагурил меж тем Иван, — это Вера, она не пьет, не курит. Ты еще не слышал этой побасенки: «Мама, знакомься, это Вера, она не пьет и не курит». — «Что, Верочка, болеете?» — спрашивает мама.

При этих словах Ваня томно прикрыл глаза и устало помотал головой:

— Нет... Не могу больше.

Все засмеялись, кроме Веры, Вера сказала: «Прям

уж!», и Павел понял, что с этой женщиной нужно разговаривать один к одному, без недомолвок и подтекстов. Он тоже рассказал анекдот, специально для Веры попроще. Она искренне смеялась, обнажив три золотые коронки, и новый член комиссии сразу понравился ей.

— Будь проще — и народ к тебе потянется! — как будто ни о чем сказал Ивашнев и взял бутылку пива.

Валя Пустовойтова была в ковбойке и джинсах «Ли», не совсем подогнанных к фигуре, среднего роста, волосы каштановые, остроносая. «Валя под стать Ивану», — отметил Павел и начал расспрашивать девушек, как им нравится «культурная программа», что успели посмотреть, какие впечатления? Отвечала в основном Валя, а Вера вдруг обронила:

— Да Иван Герасимович так всю программу построили, что мы все вас ждали.

— До приезда высокого гостя — никаких развлечений! Только кассовые книги и балансовые отчеты, — подтвердил Иван.

— Он — известный домостроевец, — заметил Павел, все же польщенный тем, что Ивашнев так ждал его.

Они дружили семьями, но Стольников поражало, откуда у Вани, вполне современного во всех отношениях человека, такие патриархальные замашки, что даже его жена Оля не должна присутствовать при деловых разговорах мужчин.

— Известный — кто? — переспросила Вера.

Стольников пояснил, и ему стало скучно. После тридцати он научился быть более снисходительным к людям, не предъявлять им тех же высоких требований, что неизменно предъявлял к себе — люди есть люди, у каждого свои слабости и недостатки, и не все смогли стать такими, какими мечталось стать в юности... Кроме того, он догадывался, что все в природе уравновешено и, возможно, любой недостаток человека компенсируется добродетелью, как у слепых всегда обостренный, усиленный слух. Ну, неумна — зато добра, не так уж красива — зато хо-

рошая хозяйка или знаток финансов, нет художественного вкуса — зато спортсменка... Нет идеальных, идеальных — нет. Конечно, подобная терпимость распространялась им на людей вообще, но не на ревизуемых. Тут Стольников трезво видел, вор или не вор, жулик или не жулик перед ним, ошибка сделана сознательно или же по неопытности, и в равной степени был неумолим, шла ли речь о завышенной цене чашки кофе или же о незаконном списании многих тысяч рублей. Нарушения не измерялись им в рублях, они только делились на злостные и незлостные, вот и все.

2

Ровно в полдень к подъезду гостиницы был подан интуристовский микроавтобус. Ревизоры собрались минута в минуту. Иван представил им Стольникова. Эта комиссия состояла в основном из женщин — опытных местных начфо и работниц контрольно-ревизионных управлений, средний возраст — выше сорока. «Так вот почему Иван позвал утром Веру — все остальные были старше ее. Значит, будь состав комиссии другим, мне бы точно так же была бы уготована совсем другая женщина!» — думал Павел, слушая девушку-экскурсовода, которая взяла в руки микрофон и повела рассказ о временах Петра и Екатерины.

Стольников давно выработал привычку моментально схватывать и запоминать имена всех, кому был представлен, — знал, что любому человеку хочется, чтобы его помнили и ни с кем другим не путали. Руководитель Ивашнева и Стольникова не знал этого правила и, похоже, нарочно перевирал имена, отчества, фамилии, уничижая хоть подчиненных, хоть посетителей и прикрывая это уничижение мнимой рассеянностью, сверхзанятостью. На экскурсии по городу Стольников блестяще продемонстрировал свою способность, к каждой из восьми ревизорш он обращался точно так, как она ему отрекомендовалась — к

пожилой, аскетичного вида Дарье Степановне по имени и отчеству, а к Зое, которая шутливо назвалась «Товарищ Зося» — именно этой партийной кличкой. И видел, что учтивость и вежливость, как всегда, дают свои результаты — он уже принят в коллектив.

В дороге Павел рассказал Ивану, что разработал анкету для опроса активистов управления и, коль завтра ему ехать в пароходство, кому-то нужно распространить эту тысячу экземпляров.

— Мысль! — оживился Ивашнев. — А вот это мысль, Пашенька! Подключить социологию — это зрело! И какие там вопросы?

— Зондаж: кто, когда, какие премии получал, льготные путевки?

— Пал Васильич, а как думаешь, будем модель строить или пусть среди всех категорий актива распределяют? — На людях они частенько обращались друг к другу по имени и отчеству, очерчивая для окружающих границы допустимой фамильярности.

Павел отвечал, что анкета универсальная, модели не требует, важно только, чтобы завтра же распределили и собрали, а он потом обработает. Иван обещал «мобилизовать» человек двадцать студентов — вмиг сработают!

— Представляешь, абзац в акте: «Проведено социологическое исследование среди внештатного актива, анализ анкет показал...»

— Да, анкет наши комиссии пока не использовали, — одобрительно отозвалась и Товарищ Зося.

После обзорной экскурсии по городу они заехали в ресторан туристского центра, подведомственного управлению, где был организован экспресс-обед, и в ожидании водителя, которого они отпустили, Стольников и Ивашнев поднялись в бар выпить по чашке кофе. В баре было полно молодых пьяных финнов. Иван пояснил, что в стране Суоми спиртное страшно дорого, вот гости и увлекаются у нас. Тут финка в шортах подошла к их столику вплотную и пристально стала разглядывать друзей, осо-

бейно долго — Ивана. Павел достал фломастер с тонким стержнем и вручил его Ивану в качестве авторучки вместе с салфеткой, а финке сказал по-английски, что перед нею — популярный киноактер. От такой медвежьей услуги Ваня готов был немедленно покинуть бар, подарил другу выразительный взгляд, но автограф девушке все же написал, латинскими буквами.

— Жаль, что они навеселе, а то бы ты стал супер-звездой кинематографа, — сожалел Павел.

В дверях бара появилась Товарищ Зося и легким кивком дала знать, что автобус подан.

— Вышколенная у нас комиссия, — отметил Стольников.

— С Зосей мы в пятой командировке.

— А с Валея?

— В седьмой. — Уже ответив другу, Ивашнев спохватился: подобные расспросы между ними не приняты, но промолчал. А Павел уверился в догадке, что у Ивана — роман.

Они поехали в театр, экскурсовод Маша после обеда как бы забыла на несколько минут о своих обязанностях, и Стольников взял микрофон — стал рассказывать о статуе Екатерины II и о том, почему императрица держит в руках шпагу — принимала здесь военный парад. Одна из екатерининских шпаг, усыпанных бриллиантами, хранится в Золотой кладовой Эрмитажа...

— Вы искусствовед, историк? — поинтересовалась потом Маша. — Я сразу заметила, что вы хорошо знаете историю.

— Нет, я не историк и тем более не искусствовед. Просто окончил здесь вуз. Я бумажная душа, экономист — и немного любитель искусства. Но не такой «любитель искусства», какой изображен на гравюре Домье с тем же названием...

Оказалось, Маша тоже увлеклась историей как любительница, она инженер по профессии, но однажды знаний накопилось достаточно, чтобы возить интургруппы по

городу. Возле театра Маша простилась с ними, билета на нее не было предусмотрено, Маша уверяла, что уже смотрела этот спектакль, а Павел видел: она по-детски врет сейчас, ей очень хочется побывать на этом престижно-дефицитном спектакле. Но он ничего не волен был изменить.

В театре им, четверым, была отведена ложа, «царская ложа», как не в шутку сказала седа, будто в напудренном парике XVIII века, капельдинер. Судя по бархату кресел и обилию позолоты на вензелях и лепнине, тут и впрямь могли когда-то сидеть сановные лица. «А теперь сидим мы, рабоче-крестьянские сыны», — мысленно добавил Павел. Давали «Гнездо глухаря» — в Москве Стольникову так и не удалось побывать на этом спектакле. В середине первого действия Вера тронула Павла за рукав и показала взглядом на Ивашнева: тот спал! Павел знал за ним такую вульгарную особенность: Ваня мог заснуть, прочитав первые десять строк книги, с первых же кадров фильма или реплик актеров в театре. «Как ты можешь, ты же интеллигентный человек!» — корил его Павел. Иван недоуменно поводил глазами, он сам не знал, как так получается. «У тебя многолетний дефицит сна», — сказал позднее Стольников и уверился в этой догадке. Он и сам страдал от постоянно высокого нервного напряжения в бесчисленных командировках, от необходимости каждую минуту быть на людях, говорить, доказывать, конфликтовать, отстаивая порой каждую строчку и каждую цифру акта ревизии. От всего этого изо дня в день накапливалась усталость, и если из одной командировки не требовалось тут же лететь в другую, то одолевала мучительная вялость, несобранность, сонливость. Павел не любил таких периодов разрядки после ревизии, когда он частично переставал быть самим собой — подтянутым, точным, с быстрой и острой реакцией на шутку или оскорбление, любую цифру или факт.

Павел, Вера и Валя тихонько засмеялись между собой над спящим — Ивашнев тут же открыл глаза и повторил последнюю реплику молодого дипломата. «Вот он

весь,— подумал Павел.— Ваня спал — несомненно. Но все слышал, от слов актера до нашего смеха. Он не расслабляется ни на секунду, в этом Ванина сущность».

— Иван,— прошептал Павел на ухо другу,— из четвертого ряда партера вся комиссия смотрит на нас, а не на сцену.

— Это их трудности,— ответил Ивашнев с закрытыми глазами.— Билеты распределял клерк начфо. Может быть, он ошибся. Мы не руководим расстановкой кадров в театре.

И все второе действие Ивашнев уже откровенно проспал.

— Большой театрал, ценитель, я бы сказал,— отпустил в его адрес Павел.

— Очень хороший спектакль! — удивленно, как на незаслуженный упрек, ответил Ваня, еще раз доказав, что все видел и слышал.— Одно непонятно, почему «гнездо» и почему «глухаря»?

— Никто не видел гнезда глухаря, обычно это самое потайное место в чащобе. Очень осторожная птица,— пояснил Павел.

— Это твоя трактовка. И, наверное, правильная. Но из спектакля этого не явствует. А так очень актуальные проблемы подняты, протекционизм называется.

Автобус ждал их, но Маши в нем уже не было.

3

Стольникову тоже полагался отдельный номер, но друзья отказались от него: в ходе работы им предстояло часто советоваться. Утром оба приняли душ, побрились и выпили черного кофе. Павел уже не в первый раз обратил внимание на идеальные бритвенные и туалетные принадлежности Ивана,— Ивашнев считал, что внутренний порядок начинается с внешнего.

— Тебе не надоело каждый день заново вывязывать узел галстука? — спросил Павел.

— Нет. Отец учил, что, коль носишь галстук, будь добр вязать узел каждое утро.

— Извини, брат, я ведь до сих пор не знаю толком, кто твой отец.

— Нижнетагильский рабочий, сейчас на пенсии. А ты, я гляжу, совсем москвич стал: галстук петлей снимаешь через голову — экономишь секунды?

— Экономлю. После тридцати время понеслось как-то чересчур быстро. Вот и не хочется тратить жизнь на служение внешнему виду.

Они спустились к «рафику» свежие и бодрые, с газетами в руках — дежурная, по указанию Михайленко, каждое утро подавала в номер прессу. Как и на экскурсию, собрались минута в минуту, на что водитель заметил одобрительно: «Наши не умеют так собираться. Вечно тянутся...»

Комиссии были отведены три служебных кабинета, на двух из которых висели маленькие таблички под стеклом, отпечатанные типографским способом: «РЕВИЗИЯ МИНИСТЕРСТВА», а на двери третьего значилось: «ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ ИВАШИНЕВ».

— Уровень! — оценил Павел.

Иван остановился и, взяв его за пуговицу, ответил:

— Пашенька, каждый раз, когда я вижу такой уровень приема, я заранее знаю: в кассу в ходе ревизии будет внесено тысяч пятьдесят!

Он повел Стольникову представить начальнику финансового отдела и главному бухгалтеру. Начфо, Виктор Михайлович Михайленко, лет сорока, был тучен и грузен, не зря о нем говорили, что «щеки со спины видны». Маленькие глазки, узкий лоб, ярко-алые губы и багрово-красные толстые щеки.

— Как добрались? Вопросов по размещению нет? Прошу извинить, что не встречал лично, — у нас тут гостила группа космонавтов, все обеспечение, проводы, отъезд на мне. Как вам культурная программа, не хуже, чем в Москве? Говорят, москвичи и не бывают в столичных теат-

рах... — жизнерадостно частил Михайленко и громко захохотал, услышав о почетном карауле, — он смеялся всегда, когда догадывался, что с ним шутят, неважно, какой была шутка и понимал ли он ее.

Главный бухгалтер управления Ирина Николаевна Зябликова — женщина худенькая, бледная, в очках, возраст неопределенный, ей можно было дать в зависимости от дневного или вечернего освещения, ее настроения и одежды от тридцати и до сорока пяти. Она курила и смущалась тем, что ее застали с сигаретой. «Каких сил стоит ей сейчас изобразить гостеприимство и радость знакомства с еще одним ответственным контролером-ревизором!» — подумал Павел.

— Ирочка, — весело произнес Ивашнев, представив ей Стольникову, — Ирочка, не успел Пал Васильич выйти из вагона, как тут же заинтересовался: а не та ли это Иринка, которая возглавляла культмассовую комиссию в нашем институтском комитете комсомола?

— Та-а, — удивленно подняла брови над очками Ирина Николаевна.

— Как тесен мир! — с улыбкой посетовал Павел. — Нет, Иван, уволь, я сейчас же уезжаю в пароходство. Не могу я доставлять хлопоты товарищу Зябликовой, нашей боевой соратнице!

— Па-аша! — округлив глаза и губы, признала его Ирина Николаевна, и только теперь он по-настоящему вспомнил ее в девичестве: тогда она не носила очков, походила на бестужевку или курсистку с полотна Ярошенко, слегка не от мира сего, и вот такое, как сейчас, изумление было написано на ее личике. Павел автоматически отметил, что на ее руке нет обручального кольца — все правильно, подобные неземные создания не для брака. Едва они задали друг другу два-три вопроса, традиционных для неожиданной встречи, как Иван прервал эти воспоминания о юности:

— А во-вторых, Пал Васильич спросил: как могла Ирина Николаевна подписать вот этот безграмотный фин-

документ? — и протянул ей ведомость на выплату премий штатным работникам управления.

— А... Что?.. Почему? — бормотала Зябликова, от волнения причмокивая погасшей сигаретой. Иван пояснил, что было распоряжение № 277, где четко сказано: целевые средства запрещено использовать для премирования штатных сотрудников.

— Я подниму документы, не может быть, я разберусь! — засуетилась Зябликова.

— Документы надо было поднимать немного раньше — прежде чем визировать приказ, — ласково учил Ваня. — Распоряжение это у меня на столе, ксерокопия, можете взять его себе на память. Придется премии возвращать, Ирина Николаевна. Тут и товарищ Михайленко, и товарищ Зябликова получили некоторые суммы. И уж совсем некрасиво — ваш главный руководитель, товарищ Кондратьева — сто восемьдесят рублей. А накануне на нашем распоряжении свою визу поставила: «ознакомилась». У вас восемь таких незаконных выплат было за три года. Придется сделать начет... восемь премий — это около шестнадцати тысяч рубликов, — неумолимо добивал ее Ивашнев.

У Зябликовой покраснели сначала уши, потом пунцовые пятна пошли по щекам. Уже вполне серьезно Иван попросил ее предоставить Стольникову машину для поездки в пароходство.

В ожидании водителя Павел зашел в кабинеты, где разместилась комиссия. На него никто не обратил внимания. Перед каждым ревизором лежали тома бухгалтерской документации. Полное молчание в комнате нарушал лишь громкий шелест страниц. То одна, то другая работница иногда отрывалась от этих фолиантов, быстро просчитывала что-то на микрокалькуляторе, делала отметку в блокноте и опять «шерстила» копии квитанций, счетов, ордеров, актов... Только Вера взглянула на Стольникова вопросительно: не за нею ли он? — и снова углубилась в расчеты. Сейчас шла работа, и, как видел Па-

вел, работа нешуточная. Он знал, что у себя на местах эти опытные финансистки с годами выработали множество хитроумных, вполне законных способов обходить закон; все они понимали, что в пределах одного и того же производственно-финансового плана неизбежны некие перекосы то в одну, то в другую сторону, тут экономия, а там перерасход, и умелый иачфо найдет способ взаимопогасить их, вопреки запретам; но теперь, представляя собой высокое министерство, они помнили свои невинные уловки с единственной целью: вскрыть их здесь, найти все то, что хоть на йоту отклоняется от правил. Ведь по их работе в комиссии руководство оценивает и деятельность их управлений. Участников ревизии не столько интересовало существо дела — будь то награждение победителей социалистического соревнования или списание полностью амортизированной мебели, их даже не волновали суммы — будь там рубли или же тысячи рублей. Весь этот лихорадочный поиск был направлен скорее на одно: найти ошибки, нарушения, а то и, чего доброго, хищение. Они работали сейчас на совесть, рьяно, самоотверженно — предстояло изучить все подряд финансовые документы за три года, прошедших после предыдущей ревизии. Это была как бы частая мелкоячеистая сеть, расставленная вокруг всего управления. Тут и строительство, и рестораны, и туристский центр, командировки, мероприятия, премии, эксплуатация и ремонт автотранспорта, прием и направление делегаций... Павел понимал: им важно добыть факты, которые были бы удостоены упоминания в итоговом документе руководителя комиссии. Тогда они оправдают свою поездку.

Совсем иначе работал Ивашнев. Искать наугад — непроизводительно, вот почему он полагался на интуицию, основанную на опыте. Более двухсот подобных управлений в стране из года в год совершали в принципе одни и те же ошибки, грешили схожими нарушениями, и он, понимая, что магаданские товарищи мало чем отличаются от брестских, приезжал, быстро оценивал общую обста-

новку в данном управлении, анализировал и, схватив суть типичных тут нарушений, брал на себя несколько беспроектных «позиций»: командировки, премии, льготные путевки. Как у местных работников с годами выработались одни и те же штампы, уловки в обход закона, так и у Ивана Герасимовича Ивашнева сложились свои, верные, и потому неизменные приемы вскрывания этих уловок. Пользовался Ивашнев и фактами, обнаруженными комиссией. «Надо отдать ему должное,— размышлял Стольников,— Иван работает не механически, а творчески, талантливо, виртуозно. Отсюда, от большого опыта, и идет его этакая шутливо-небрежная манера общения с ревизуемыми: «А во-вторых, Ирочка, Пал Васильич интересуется, как вы могли, зная о распоряжении, завизировать восемь таких приказов?» Конечно, у него власть, причем власть, не просто данная ему сверху, а заработанная им, и Иван умеет ею пользоваться. «Но будь ты асом в своем деле, нельзя все же так растаптывать людей,— думал Павел.— Зябликовой не нужны деньги, в этом управлении они скорее нужны Михайленко на сувениры влиятельным «друзьям», вот пусть-ка Ваня с его талантами и хваткой, с его неотразимыми приемами «расколет» этого тертого жулика, а не издевается над беззащитной Ирочкой. Если память не изменяет, Зябликова когда-то писала стихи и публиковала их в вузовской многотиражке. Разве может поэтическая натура злобно нарушать великие и непогрешимые распоряжения министерства?»

Тут ему сообщили, что машина подана, и Стольников спустился к подъезду. Сидя в «Волге», еще раз перелистал документы симпозиума и круиза. Да, пожалуй, если бы он сам смотрел документацию, то вряд ли обратил бы на них особое внимание. «Посмотрим, так ли уж безошибочна интуиция Вани Ивашнева?» — сказал он себе.

Его принял без проволочек, без ожиданий в приемной заместитель начальника морского пароходства Сухарев. По дороге сюда Павел выработал план действий — и с удивлением осознал, что план этот составлен исключи-

тельно в ивашневском стиле, против которого Стольников только что внутренне возражал в случае с Зябликовой. Оказывается, Ваня заражает своим стилем и методами работы.

Стольников кратко отрекомендовался, сообщил, что в городе работает комиссия министерства и ему поручено разобраться с финдокументами симпозиума океанологов. Он постарается отнять как можно меньше времени. Нет, сомнений в подлинности документов у него нет, никаких «сигналов» не поступало — это плановая ревизия. Хотелось бы получить заверенный пароходством график выхода из порта теплохода первого класса «Зоя Космодемьянская». Благодарю вас, вот еще только подпись и печать. Товарищ Сухарев, документы управления оказались неполны: нигде нет акта о том, что круиз состоялся... конечно, простая халатность со стороны финансового отдела управления, но уж такие мы буквоеды. Организовывать и проводить мероприятия на высоком уровне научились, а вот оформить надлежащим образом — увы, руки не доходят. Не затруднит ли дать такой акт за подписью капитана теплохода? Теплоход в рейсе? — тогда за подписью пароходства. Как вы понимаете, иначе документы на израсходование 5600 рублей недействительны. Отлично, люблю четкость морского флота, нас вполне устроит подпись начальника управления морского туризма и ваша, Игорь Игнатьевич. А когда теплоход вернется в порт приписки? Да, комиссия еще будет на месте...

Сквозь весь этот вежливый и официальный щебет Павел Стольников хладнокровно и расчетливо проносил замысел, родившийся экспромтом: сначала получить график выхода теплохода, а затем уже акт с подписью и печатью о том, что круиз действительно состоялся, причем проделать это, не вызывая подозрений ни у кого в пароходстве. Ведь, действуя открыто, ничего не добьешься. Пусть считают, что просто чья-то небольшая недоработка, обыкновенный формализм: не хватает бумажки в деле.

Получив график движения теплохода, документ, прямо сказать, абсолютно лишний в этой истории и потому не вызвавший никаких подозрений у Сухарева, Стольников замер и усиленно старался не подать вида, что изумлен: по официальному графику 7 июля судно стояло на санобработке после морской прогулки для канадских туристов. Выходит, Сухарев не знал, что по документам симпозиума именно 7 июля состоялся круиз океанологов? Вопрос к капитану теплохода: как же он ухитрился натать ученых мира в каютах, окутанных парами хлорки и дуста?

Простая ошибка исключалась. Прежде чем подать документ на подпись, подчиненные Сухарева проверяли данные по своей документации — а в морском пароходстве находится большинство навигационных и финансовых документов любого судна, вплоть до журнала по учету каждого подъема якоря. Вот что значит чуть-чуть отойти от накатанных рельсов ревизии, запросить всего один дополнительный и вовсе не финансовый документ! «Но погоди, не спеши с выводами,— останавливал себя Павел.— Готовые схемы — враг творческого мышления».

Тем временем, пока печатали акт и визировали его в управлении туризма, Стольников принял радужное приглашение отобедать с заместителем начальника морского пароходства. Моряки — действительно очень гостеприимный народ, независимо от цели визита гостя. Когда закончили с ухой из стерлядки, в их комнату, располагавшуюся позади служебного кабинета Сухарева, вошел секретарь и вручил шефу акт с одной подписью. Игорь Игнатьевич тут же, не читая, расписался и распорядился, чтобы канцелярия заверила акт печатью. Ему нравилось демонстрировать полное доверие к подчиненным.

За обедом Стольников признался, что это город его студенческой юности, не с ревизией бы ехать сюда... Сухарев ответил комплиментом: ответственный работник министерства не по чину молод, но не по летам опытен, сразу чувствуется профессионал! Павел со своей сторо-

ны оценил, как приятно иметь дело с такой четкой организацией, как морской флот! Что ни говорите, Игорь Игнатьевич, а ваши люди точны и исполнительны, куда до них всем «сухопутным»! Но если бы «сухопутные» не допустили маленькой оплошности с актом, у него не было бы повода для столь приятного знакомства...

В завершение обеда Игорь Игнатьевич пригласил всю комиссию на морскую прогулку по заливу, в любой день и час, дал свой прямой телефон, записал координаты Стольниково и распорядился подать «товарищу проверяющему» автомобиль. Хотя до конца дня оставалось около трех часов, Павел решил возвратиться в гостиницу — надо было спокойно обдумать всю эту историю с круизом.

Войдя в номер, он умылся, переоделся в спортивный костюм и разложил документы на письменном столе. Вот копии платежных поручений о перечислении на счет управления 5600 рублей от двух организаций. Квитанция о перечислении этих средств на счет пароходства за аренду теплохода первого класса. И акт о том, что морская прогулка действительно состоялась 7 июля с 8.00 до 23.00. А вот график выхода этого судна, и, по графику, 7—9 июля теплоход стоял на санобработке, а следовательно, никаких ученых принять на борт не мог. Теперь Павла смущала та легкость, с какой он получил два противоречащих друг другу документа. В лучшем случае кто-то где-то не успел поставить отметку о переносе морской прогулки. Если так, то зря он замирал — простая бюрократическая ошибка, не вычитали бумагу. Однако любая ошибка, даже «глазная» опечатка в документах для комиссии означает большую персональную ответственность. Если же прогулка не состоялась, пароходству давно следовало вернуть сумму за аренду теплохода.

Но возникал вопрос: что могло понадобиться начфо Михайленко от капитана теплохода? Коль средства перечислены на счет пароходства, а рейс, вопреки программе симпозиума, не состоялся и деньги не были возвращены, то каким же образом удалось их реализовать? Лишь бы

никто не спугнул капитана, и Стольников стал первым, кто встретит этот теплоход через неделю! Нужно взять выписку из судового журнала: где же все-таки находилось судно 7 июля? Какие продукты, товары загружались накануне на борт? И куда списал эти продукты шеф-повар ресторана? Вот бы заполучить от капитана документ о том, что такие-то продукты переданы по акту управлению! Но Михайленко, если он затеял аферу с перекачкой средств по смете симпозиума, не так прост и не «засветится» на том, что его подчиненные получали таинственные ящики с борта теплохода вместо фрахта этого теплохода. Наверняка тут жди две-три подставных организации, через которые гипотетические ящики могли перекочевать на склад управления. Или не на склад...

Кто измерит невидимый пот вот такой мыслительной работы и сопоставит ее с лихорадочной, но необъятной по объему «бумажной» работой комиссии? И какая из них эффективнее? Однажды ревизорам привезли целый грузовик финансовых документов — к концу командировки каждая страница была проанализирована и пересчитана неоднократно. И все-таки Павел отдавал предпочтение мыслительной работе, хотя порой и более отталкивающей, — ведь чтобы правильно представить себе мотивы действий, технологию, методы преступников, нужно самому мысленно стать на их место...

На счету Стольникова было немало сложных ревизий, правда, дело с пароходством он имел впервые. То самое ивашневское чутье, которое подсказало Ивану, что акта о проведении круиза в деле нет не случайно, говорило теперь и Павлу, что морская прогулка отнюдь неспроста была заменена чем-то иным. Надо поднять подшивки газет: упоминалась ли хоть где-то эта прогулка? Видимо, стóит теперь показать капитану два взаимоисключающих документа морского пароходства, и тот вынужден будет в чем-то чистосердечно сознаться. Вот только не сработает ли при встрече с ним магия подписи его начальства —

пароходства? Коль физиономия Михайленко в пушку, то он постарается опередить комиссию, предупредить капитана. Из кабинета того же Сухарева в любую минуту можно связаться с экипажем любого судна. Впрочем, бдительность Сухарева, по всей видимости, удалось успешно усыпить. Но Зябликова наверняка успела проинформировать своего шефа и о разговоре с Ивашневым о премиях, и о том, куда направился в его машине Стольников...

4

Через час напряженные размышления Стольникова прервало щелканье замка — это Ивашнев своим ключом открывал дверь. Вместе с ним вошел и Михайленко.

— Пашенька, ты уже тут? Что поделываешь? — ласково спросил Иван, увидев друга.

— Думаю. Кажется, Эйнштейн сказал своему молодому лаборанту: нельзя работать так много, когда же вы думаете?

— Пал Васильич, — обратился начф, — день жаркий, женщины свое дело знают, а уж мы позволим себе пивка? Пиво — это лимонад для мужчин, нас не осудят. Нач пароходства доложил мне, что товарищ Стольников отправился в гостиницу.

— Ну, я Сухареву, положим, об этом не докладывал.

— Да у него ж служба поставлена! — бодро говорил Михайленко. — Ребята, а давайте снимем пиджаки — на фиг! — и хоть часок побудем просто хорошими парнями, Ваней, Витей и Пашей.

— А что? И побудем! Разве мы не хорошие парни? Кто тут нехороший? — Иван обвел взглядом номер. — Как ты съездил, Пашенька?

— Обед прошел в теплой, дружественной обстановке, — равнодушно ответил Павел. — Бумажку я взял. Непонятно, почему товарищ Михайленко не мог взять ее

год назад. За это нам предлагают морскую прогулку на адмиральском катере.

— Не отказывайтесь, ребята,— сказал Михайленко и уверенно, как у себя дома, снял пиджак и галстук, развернул принесенный большой пакет из коричневой хрусткой бумаги — там оказались две высокие латунно отливающие банки — и предложил отгадать, что в них. Ивашнев ответил, что в передаче «Что? Где? Когда?» они не участвуют. Тогда начфо взял в короткопалые руки консервный нож и ловко вскрыл жесть. В банке была первосортная копченая вобла.

— Для подводников так упаковывают, спецпакет,— небрежно обронил он. Открыв холодильник, укоризненно указал на ряд коробок финского пива «А»: — Что ж вы, хлопцы, пиво-то не пьете?

— Та кто его знает, чье,— прикидываясь протачком, ответил Иван.— Стоит — ну и пусть стоит, мы не покупали. Мы в буфете берем — хорошее пиво, рабоче-крестьянское.

— А вот это зря. Там же с наценкой, а пусть мне скажут ответственные работники министерства, можно в командировке прожить на законные суточные?

— Невозможно, Витя,— признал Иван.— Если честно. Но ведь на время командировки каждому сохраняется и зарплата...

— Иван Герасимович, мы пивом еще никого не покупали. Мы, братцы, работаем индивидуально: девушкам — пепси-колу, юношам — пиво. Если мои бойцы перепутают и вам поставят пепси — я вас очень прошу! — дайте знать. Наше управление славится индивидуальным подходом,— и Михайленко захохотал.

— Вот если ты еще чищенной рыбкой с товарищами поделишься, они тебе почти все простят. И цены тебе не будет!

В дверь постучали. Ивашнев вышел в прихожую. «Нет, молодой человек,— категорично, с нажимом говорил он,—

вы ошиблись номером. Мы ничего не заказывали, и никаких ящиков никто нам не передавал!»

— Герасимович! — закричал тут Михайленко. — Это мой умелец,пусти его!

В номер вошел шофер начфо, в руках — тяжелый картонный ящик чешского пива. Поставив его, водитель пробормотал что-то шефу и боком двинулся к двери.

— В семнадцать ноль-ноль! — приказал ему Михайленко.

— Ребята, вы должны понять меня правильно! — другим голосом продолжал начфо. — Дело есть дело. Работайте, землю ройте, ищите, находите — мы будем только благодарны. У меня в прошлом году произошло почти полное обновление отдела, молодых девчонок набрал. Они простейшую проводку правильно оформить не могут — просто не умеют. Сам за всеми документами не уследишь, всего за ними не пересчитаешь. Одна сегодня приходит в слезах — это ваша Дарья Степановна два часа ей лекцию читала: девочка несколько раз приход с расходом перепутала.

— «Оказали большую практическую помощь в ходе ревизии», — шутливо вставил Ивашнев, это была фраза, непременно кочующая из акта в акт.

— Вот так вот, — глядя преимущественно на Павла, продолжал Михайленко. — Она приход с расходом путает, а мы требуем с нее знания всех инструкций — за ее-то оклад в месяц.

— А хочешь, мы курсы повышения квалификации у вас откроем? На общественных началах, — иронизировал Иван, не улыбувшись. — Ирину Николавну туда слушателем определим, чтобы не путала нецелевые средства с фондом премирования. Курс лекций прочитаем, практические показательные занятия проведем... Ты у нас практику будешь вести, семинар на тему: «Оперативное списание основных и оборотных средств накануне приезда ревизии...» — И сам понял, что перегнул в иронии, тут же смягчил сказанное: — Витя, это ваши трудности.

ти, как и с кем вы тут работаете. Это в а ш и подробности. Работайте с резервом кадров. А наше дело — документальная ревизия. Документальная, Витя. И мы все не обязаны наводить в такой уважаемой организации, как ваша, элементарный порядок, какой давно наведен где-нибудь на Чукотке.

— Нет, Пал Васильич, ты с ним поосторожнее, — нач-фо решил пошутить. — Я бы на твоём месте все-таки взял отдельный номер. С ним ведь опасно наедине оставаться — зубастый! То-то и комиссия твоя, Герасимович, так работает — они ж руководителя боятся! Вот я зашел недавно, позвал их чаю попить, так ни одна головы от бумаг не оторвала.

— Боятся — значит, уважают.

— А если без шуток, ребята, то вот стиль, вот почерк! Да на этой ревизии действительно весь наш аппарат учится работать, вот где школа повышения квалификации! Но надо уметь и расслабиться, нельзя же гореть на работе, у вас еще месяц впереди!

Стольников догадывался, что «мужской лимонад» организован не случайно. Начальник финансового отдела — может быть, после утреннего разговора с Зябликовой о восьми незаконных премиях, а может, после поездки Павла в пароходство — пытается своевременно «отреагировать», пригасить энтузиазм ревизоров, а возможно, и что-то вынюхать, поживиться информацией. Но Михайленко оказался не настолько прямолинейным, как можно было ожидать от этого «рубахи-парня», такая маска искусно обманывала простодушных, и он умел, видимо, этим пользоваться. Во всяком случае, служебные дела и разговоры были на время отставлены, Михайленко просто пил пиво, рассказывал анекдоты, заливался жизнерадостным смехом, будто не его деятельность ревизовали, а сам он был полноправным членом комиссии, равный среди равных. Павел уже давно ответил себе на вопрос, как возможно такое равенство. Несмотря на звучную «фирму» министерства, у ревизоров был фактически инструкторно-

совещательный голос, как он сформулировал это для себя, в то время как у любого местного начфо — вся полнота исполнительской власти, прямое участие в распределении кредитов. И с этим приходилось считаться. Поражало другое: глядя на Михайленко сейчас, никому не пришло бы в голову, что этот человек хоть чем-то озабочен.

— А хорошие у нас ребята в пароходстве, правда, Васильич? Ведь этот Сухарев — наш ставленник. Как он, все вопросы порешал?

— Четко, оперативно, по-морфлотовски, — подтвердил Павел.

— От прогулки не отказывайтесь. А то Герасимович что-то пугливый, в театр он может поехать, только лично заплатив за билет, пива нашего не пьет, комиссию замордовал работой так, что девчонки и в магазин сбегать не могут. Нет, ребята, не обижайте, если мы что предлагаем, так это от чистого сердца. Ведь когда нам жить? — в рабочее время, потому что у нас ненормированный рабочий день. Я вот с космонавтами этими неделю дома не был — верите? Будто в командировке жил. А зачем домой ехать на два-три часа? Тут же в штабном номере перекемаришь — и с утра раньше всех на боевом посту!

— Семья и не видит совсем, — невинно поддакнул Стольников, вызывая начфо на проникновенную исповедь.

— Я, парни, все в холостяках. Горю на работе, личной жизнью заниматься некогда. Мать-старушка одна в квартире. Бывает, закрутишься-завертишься, потом спохватишься: вдруг мама там, одна-одинешенька, уже богу душу отдала? Ведь и воды подать некому, в «Скорую» позвонить... — при этом он признательно-растроганно смотрел на одного Павла, разбередившего так сладко эту бронированную душу. — Я ведь, Паша, из пролетариев, пэтуушник. С шестнадцати лет за станком. И полюбился, понимаешь ли, секретарю парткома. Одно поручение, второе, третье. Однажды к нам на завод прибыл высокий за-

рубежный гость, не буду называть имени, а то не поверите! И поручили мне его всюду сопровождать. Я ночь не спал — как с ним себя вести? Мама надоумила: а как с простым человеком вести, он же такой закалки революционер! Уж не знаю, может, простотой я ему и полюбился. Утром встает: где Витя? Витек, заходи! Потом мне вызов прислал, и я две недели был его личным гостем.

Ивашнев и Стольников переглянулись: верить ли? Слишком смело для фантазии, неужели факты?

— Секретарь видит, что я мастак на приемы и сопровождение, ну и пошло! Он секретарем райкома — я в райком, завхозом. Он в горкоме — я в управлении делами горкома...

— А сейчас он где? — поинтересовался Ивашнев, и только Павел мог заметить оттенок напряженности в этом бесхитростном вопросе.

— Наверно, вы на подведение итогов к нему и попадете. Он уже спрашивал меня, как идет ревизия.

Друзья поняли, что все это — моральное давление на них, давление авторитетами, пусть и безымянными.

Одну за другой Михайленко доставал из ящика бутылки с чешским «Пльзеньским», попутно рассказывал о пивных Праги, о гостинице с пивопроводом в номера и счетчиками на манер электросчетчиков и о том, что у жюри международных конкурсов пива есть такой показатель: пена высотой в четыре сантиметра должна держаться не меньше четырех минут, тогда это напиток высокого класса. Стольников закурил, чтобы не пить много, и неожиданно закашлялся, чем дал Михайленко новый повод проявить заботу и гостеприимство:

— Не простыл, Паша? Уже не первый раз замечаю: кашляешь нехорошо. А в сауну? Три сеанса — и как рукой. У нас на даче банька что надо. Нет, не смотрите на меня так, дача не моя — управления, для семейных работников аппарата.

Ивашнев подтвердил: да, было распоряжение о даче, так что вопросов у них нет.

— Все, решено! В субботу паримся! Работа работой, а здоровья ни за какие деньги не купишь. А какие у нас места в пригороде! Паш, я прошу: приезжай в отпуск с семьей! Только позвони — все обеспечим. Без всяких ревизий, служебных командировок, попросту, по-дружески — во отдохнешь! Нет, я прошу! Товарища Ивашнева пригласить не осмелюсь, чего доброго, он мне сейчас свои суточные за пиво отсчитывать начнет, а ты приезжай! И с детьми, у тебя ведь, Васильич, двое — мальчик и девочка?

«Значит, наводил справки,— устало подумал Павел.— Все так прозрачно... Никому еще в этой командировке я не говорил о семье». Бывало уже и такое: ревизуемые через своих земляков в Москве собирали информацию о нем.

Снова и снова сквозь наигранно-раскрепощенные слова начфо пробивался трезвый расчет: то он невзначай вспомнил о своем незаконченном высшем образовании и посетовал, что возраст уже не позволяет учиться... а вот Иру Зябликову он все-таки отпустит в аспирантуру, особенно после этих «пенки» с премиями — нет уж, подруга, поди поучись, не будешь шефов под монастырь подводить... То переключал разговор на морские темы, чтобы вспомнить снова о пароходстве, теплоходе и документах круиза. Но ни Иван, ни Павел не добавили ровным счетом никакой информации хоть о незаконных премиях, хоть о несостоявшемся круизе. Они просто пили пиво — как и призывал Михайленко. Наконец начфо понял, что ничего из них не выудить, грузно поднялся, пошел ознакомиться с «бытовым комфортом» комиссии, а вернувшись, признал его невысоким: где же бумажная полоска с надписью «Стерилизовано для вас»? И долго прощался в прихожей, пожимая руки то одному, то другому. Лицо его не выдавало, что он обескуражен.

— Ну, Пашенька, как тебе этот растроганный крокодил, которого мама в детстве тоже любила?

— Крокодил давит нас авторитетами. Как бы и прав-

да не пригласили в обком доложить о ходе ревизии. По-моему, у нас обоих такое уже бывало.

— Не раз, брат. Но ты заметил, конечно, что авторитеты у него все инкогнито. Это я так, в скобках. А в обком — что ж, это в порядке вещей. Но ни в какую баню я с ним не хожу! На одном полке с таким сидеть — да никогда в жизни! А что там у тебя в пароходстве? Начфо очень внимательно слушал — вдруг обмолвишься?

— Теплоход вернется из рейса через неделю. Акт о круизе я взял, — Павел решил повременить с полной информацией, хотя ему не терпелось поделиться сомнениями. Тут было и легкое суеверие — не рассказывать о деле раньше времени, чтобы оно, часом, не сорвалось. Он спросил у Ивана, бывал ли начфо в гостинице в первые дни командировки? Нет, Михайленко тут впервые.

— Значит, что-то есть, мы напали на след: теплее, теплее, горячее... Вань, а ты не перегнул сегодня с Ириной?

— С главбухом? Нет, брат. Ведь явное нарушение.

— Я о тоне. И не рано ли нам высвечивать свои карты?

— Думаю, я довел до нее сообщение в максимально корректной форме. Как учили...

— Но ведь все-таки наша сокурсница...

— Да хоть сестра родная! И если моя сестра совершила ошибку — скажем мягко, Паша, ошибку, а не хищение, не злоупотребление, — то я несомненно должен ей на эту ошибку указать.

— Все так, но ты же понимаешь, не для себя старалась, она бессребреница. Поговорить бы с ней — глядишь, узнали бы что-то ценное.

— Да она скорее внесет сама все шестнадцать тысяч, чем скажет хоть слово компры против Михайленко! Понимаю, для него старалась. Хуже всего, что вот такие толстомордые делают своим орудием тонких, незащищенных людей, какой была Ирочка. Если не возражаешь, Паш, я тебя покину?

- А если будут звонить?
- Отключи телефон. Салют!

5

На следующий день, когда ревизоры возвращались в гостиницу после рабочего дня, Ивашнев попросил водителя притормозить и обратился к Павлу:

— Пал Васильич, мы собирались немного прогуляться перед сном. А то никакого движения, одни машины да лифты. Девушки, спокойной ночи! На работу завтра приходите. Приходите на работу-то!

«Раф» укатил по проспекту.

— Старик, что за экспромты? Когда это мы с тобой собирались прогуляться?

— Так надо. Надо, Паша, надо,— Иван уверенно пошел к ресторану туристского центра. Следовало понимать: надо усыпить общественное мнение, отпустить автобус со всеми девушками, а потом...

— Пыль с ушей нужно стряхивать иногда, Пашенька,— шутил Иван.— Вот и тряхнем — ушами.

Через полчаса Вера и Валя вошли в полутемный зал и сели за их столик. «Да-а, если Иван вздумает что-то утаить даже от меня,— думал Павел,— ведь утаит!»

Оркестр выводил мелодию Адриано Челентано. Кроме электромузыкальных инструментов, тут были и труба, и кларнет, особенно приятные после электронного лязга и грохота.

— Стилль «ретро»,— заметил Павел.— Какое соло кларнета!

— Человечество возвращается к тому, мимо чего пронеслось на большой скорости,— поддержал Иван. Девушки тоже оценили мелодию.

Их обслуживал худощавый, очень подвижный официант, казалось, он все время находится за спиной — так порой неожиданно появлялась из-за плеча его рука и доливала шампанского в фужер или ставила новую за-

куску на стол. Качественный сервис — уж не предупреждены ли здесь об их визите? От этого начфо всего можно ожидать...

Павел взял на себя обязанности тамады и произнес тост:

— В народе говорят, если хочешь узнать человека, возьми его в дорогу. И действительно, лучше и быстрее всего человек познается в пути. Все мы командированные, все мы дорожные люди. Так выпьем за доброе пересечение наших четырех дорожек в этом мире. За то, чтобы все мы были друг другу надежными товарищами. И за покровителя путников и дорог Георгия Победоносца, изображенного, кстати, на древнем гербе Москвы.

Они разговорились, потом вышли танцевать. Танцуя с Верой, Стольников оценил ее пластичность. Говорили мало. Похоже, она боится вопросов, теряется. «Бедные женщины! Всю жизнь надо сдавать какие-то экзамены — на невесту, хорошую хозяйку. Экзамены на материнство и терпение. А то еще и испытания свободной жизнью. Есть от чего взбунтоваться и ринуться в эмансипацию!» — думал Павел.

Они весело ужинали, все вкруговую рассказали по анекдоту, а когда Стольников в очередной раз танцевал с Валею, она сказала, что он произвел впечатление на Веру. Он и сам видел это, но время от времени возвращалась прежняя мысль: Иван и эти две девушки диктуют ему, Павлу, поведение в этой командировке. И кто угодно на его месте вел бы себя примерно так же... Они перешли на «ты», танцевали все чаще друг с другом, и с каждой минутой обнаруживалось все больше мнений, в которых оба были едины: и Павел, и Вера вначале посчитали, будто идут в ресторан на «контрольную закупку», а вовсе не затем, чтобы весело провести вечер; Вера точно так же высмеивала Ивашнева за дрему в театре, тоже считала Михайленко «заевшимся ворюгой».

Вскоре им пришлось изменить первоначальное мнение об официанте: с закусками давно покончили, а горячее

все еще не было подано. «Секундочку!» — каждый раз бросал им официант, пролетая мимо, к столику, за которым сидели морские офицеры в черных мундирах. Когда же наконец он подал нарядно гарнированные антрекоты, по каждому его преувеличенно точному, старательному и тем не менее размашистому движению видно было, что он пьян.

— Зачем в ресторане нужно непременно есть? — говорила Вера, возбужденная танцами и шампанским, и лицо ее в свете разноцветных огней эстрады было теперь совсем иным, чем днем. — Я бы приходила сюда только танцевать.

Павел похвалил ее умение танцевать и видел, что эта искренняя похвала особенно по сердцу Вере. Действительно, она могла танцевать часами, причем с одинаковым упоением и мастерством и старомодные, и современные — коллективные диско-танцы. К всеобщему сожалению, руководитель ансамбля вскоре объявил последний танец.

Стольников достал бумажник — Ивашнев немедленно выложил свой кошелек.

— С вас девяносто семь рублей, — с усилием выговорил официант, останавливаясь перед их столиком.

— Ни больше, ни меньше?

— Больше — можно.

— Валюша, встретимся внизу, — моментально устранил дам из джентльменского разговора Ивашнев. Стольников попросил выписать счет. Оба, не сговариваясь, действовали синхронно. Когда официант представил счет уже на 92 рубля с копейками, Ивашнев равнодушно-усталым голосом попросил вызвать заведующего производством с утвержденным на сегодня меню ресторана. Казалось, ему скучно затевать все это. Завпроизводством — маленький толстячок в белом халате, с усами и бородкой, оказался суетливо-говорливым, он так частил словами, что большинство невозможно было разобрать. Ивашнев предложил ему сесть.

— Спасибо, я на работе,— отнекивался тот.

— А мы вас поработать и приглашаем! — парировал Иван. Затем оба предъявили темно-алые удостоверения, осведомились, как к нему обращаться, и сообщили, что ревизуют деятельность управления, к которому относится ресторан.

— Я слышал об этом,— сник Виктор Артемович, но ненадолго — тут же выпустил пулеметную очередь мало-разборчивых слов.

— Вы согласны, что официант пьян, или же нам отправить его на медэкспертизу и получить соответствующий документ? — спросил Павел.

— Вижу и подтверждаю: пьян.

— Тогда давайте разберемся с вашим меню и неожиданным повышением цен,— подхватил Иван.

Через несколько минут Виктор Артемович выписал другой счет — на 42 рубля 58 копеек. Стольников тут же оплатил ужин, а Ивашнев хладнокровно спрятал оба счета во внутренний карман.

— Нет, зачем же? — засуетился, садясь и снова вскакивая, Виктор Артемович.— Нет, позвольте... Произошла ошибка, официант пьян, но мы разобрались, и я ошибку исправил... Очень вас прошу, умоляю!..

— Виктор Артемович, просто я собираю коллекцию таких документов, это мое хобби! — без улыбки ответил Ивашнев, вставая.— Девяносто семь рублей и сорок два — в этом что-то есть.

— Он просто перепутал, то был не ваш заказ, ведь я же взял его блокнотик. То был заказ с соседнего столика! Товарищи, дорогие, ну что угодно...

— Павел Васильич, тебе что угодно сейчас?

— Мне угодно — коллег наших догнать.

Вежливо попрощавшись с Виктором Артемовичем, друзья спустились к гардеробу, где их ждали Валя и Вера.

— Как всегда? — понимающе спросила Валя.

— Нет, Валюша,— ответил Стольников.— Всегда было до пятидесяти процентов от суммы заказа, а тут все

сто тридцать. Ваня, покажи счета. Сто тридцать процентов — этот факт стоит акта!

— Несомненно стоит, Пашенька. Он рассчитывал, что присутствие девушек не позволит нам торговаться. Учет психологии! — при девушках платят широко и не берут сдачи.

6

Вернувшись пешком в гостиницу, они поздравили Павла с боевым крещением в этой командировке и с удовольствием выпили крепкого чаю, который мастерски заваривала Валя. Вскоре Иван деловито поднялся, сказав, что должен еще раз вместе с Валей посмотреть «документ», откопанный сегодня ею, — кажется, нащупал, в чем там загвоздка.

— Досрочно рабочий день начинаете? — засмеялась Вера, показывая на часы — приближалась полночь.

Она и Павел остались наедине. Ее напряженность сразу усилилась. Вера предложила еще чаю, но он отказался: иначе бессонница гарантирована. Поинтересовалась анкетированием, коль уж начали новый рабочий день. Павел рассказал, что студенты сработали четко, больше половины анкет вернулось в управление, и сегодня он начал обрабатывать данные. Предварительные результаты неожиданные: похоже, тут не привыкли премировать активистов. Он рад, что этой работы как раз хватит до возвращения теплохода — не любит вынужденных простоев в командировках.

— Полночь, а мы чай пьем, все наперекосяк, — сказала Вера. — Но я привыкла, в командировках всегда так. А мне эта ревизия напомнила институт. — Она выключила люстру и включила настольную лампу — в комнате сразу стало уютнее, — села в кресло и жестом предложила ему сесть напротив.

Слушая Верины воспоминания, Павел попытался представить ту ее дальнюю и неизвестную ему жизнь, ее

квартиру, сына, улицу, по которой она ходит в свое управление,— и не смог. Ощутил лишь тоскливую усталость: все старо, как мир, и сколько вокруг неверных жен или таких вот «соломенных вдов»... А сколько благополучных с виду семей на самом деле давно разрушены изнутри, как зуб пульпитом, или же настолько подточены изменами, непониманием, отчуждением, что готовы лопнуть, рухнуть, рассыпаться в любую минуту, только тронь. Эти семьи — одна форма, декорация, пустая оболочка.

Такая семья была у Ивашнева.

Стольниковы любили его сына Олежку — синеглазого, как Иван, белокурого мальчишку пяти лет, очень доброго и привязчивого к людям, но застенчивого — не хватало отцовского общения. В первые же семейные вечеринки, выезды на природу Стольниковы обратили внимание на частые мелкие ссоры между Иваном и его женой Ольгой. Модница, блондинка с сильно напудренным лицом, Оля решительно во всем противоречила мужу. То они не сходились во мнениях, как воспитывать ребенка, то по-разному оценивали свою жизнь в столице. Иван готов был сегодня же отказаться от всех министерских и московских благ, вернуться на Урал. Оля же доказывала, что именно здесь они начали жить полной жизнью, а на родине — духота и скукота, и кому он там теперь нужен! Фильм, спектакль, книга, обновка, отношение к соседям, к разводу друга — сколь ничтожны поводы, вызывающие вспышку! — удивлялись Стольниковы. Многие годы Павел знал Ивана как воспитанного, терпимого и добродушного человека, но диву давался тому, насколько сильно раздражает того собственная жена! Они даже просили то Павел Ивана, то Лида Ольгу хоть в чем-то уступать друг другу, нельзя же говорить «нет» только потому, что другой супруг сказал «да».

Однажды на дне рождения Ольги Стольников произнес тост за их счастливую семейную жизнь. Именинница неожиданно прослезилась и призналась: «Наш брак,

Пашенька, вовсе не по любви — по расчету. Свадьба состоялась за неделю до перевода Ивашнева в Москву...» Иван смерил ее уничтожающим взглядом — Оля высказалась, видимо, чересчур откровенно и тем самым нарушила какие-то правила их «игры». Этот факт часто вспоминался Павлу впоследствии. Через два-три года Стольниковы пришли к выводу, что семейный очаг Ивашневых давно погас и остыл, они не пара друг другу, и вполне возможно, что Оля «женила» на себе Ваню. За что и наказана теперь. Не оттого ли Иван брал командировку за командировкой, чтобы пореже бывать дома, а почаще в отъезде? Впрочем, еще неизвестно, что у него с Валей...

— Да вы не слушаете! — заметила тут Вера. — А я-то стараюсь!

Конечно, она рассказывала свою биографию.

— Прости, Вер, задумался, — оправдывался Павел, произвольно нарушив правило уделять каждому собеседнику самое полное внимание. Только ординарные люди, знал он, начинают знакомство с автобиографии. Но невнимательность к ней не прощается никем, и, сделав усилие над собой, Павел начал расспрашивать: как она стала после комсомольской работы финансистом, сколько лет заведует финансово-бюджетным отделом?

Его прервал звонок междугородной. Павел снял трубку с привычной шуткой: «Аппарат товарища Ивашнева!»

— Пашенька, здравствуй, дорогой! — закричал в мембране звонкий, с уральским произношением, голос Ольги Ивашневой. — Ты еще не спал? Как твои дела? Как приняли? Работы много?

Отвечая, он лихорадочно придумывал, что же сказать, когда она позовет к телефону Ивана. Вера беззвучно подпоясась и пошла к выходу, но у двери остановилась, не решаясь отворить ее — вдруг в трубке услышат?

— Рубашки передал? — спрашивала Ольга. Да, он передал пакет со свежими сорочками, Иван сунул их, не глядя, в шкаф, а Павел увидел там на плечиках полдю-

жины сорочек — таких же свежих, отутюженных скорее всего Валец.

— А где мой благоверный? Дай-ка ему трубу, — она переняла многие Ванины обороты речи.

— Оль, да мы с ним номерами поменялись, он тебя разве не предупредил? Чем-то ему этот не понравился, трамвай звенят, что ли... А его телефон, подожди, где-то у меня записан, сейчас найду. Нет, засунул куда-то...

— Пусть он мне завтра позвонит, ладно, Пашенька?

— Да хочешь, я его позову, не спит еще, только что расстались. Не хочешь — как хочешь, — стараясь говорить как можно естественнее, предлагал Павел. Потом посетовал, что работы очень много, положение серьезное, рассказал о театре и передал привет своему большому другу — Олежке.

— Как папочке его рисуночек? — растроганно спрашивала Ивашнева.

— Он в восторге! — бойко лгал Стольников, проклиная себя. Рисунок так и остался лежать в пакете с сорочками.

Наконец тяжкий разговор был окончен. Вера снова села в кресло. Но едва он потянулся к телефонной розетке, чтобы отключить аппарат, как снова раздался звонок.

— Алло, извините, мне бы Павла Васильевича.

— Я слушаю, добрый вечер.

— Здравствуйте, это Маша, ваш экскурсовод, помните? Вы извините, бога ради, что я так поздно звоню, но ваш руководитель обронил, что раньше двенадцати вы рабочий день не заканчиваете...

— Да, это так, Маша, не надо извинений. А как же вы меня разыскали?

— Очень просто: знала, в какой гостинице живете, слышала ваши фамилии. Справочная тут же дала ваш телефон. Так вот, мне показалось, что вы бы с удовольствием побывали еще на одной экскурсии — по литературным местам. Поймите меня правильно: в прошлый раз я

что-то не в форме была, скомкала половину. А мне не хотелось бы, чтобы вы увезли недостаточно полное впечатление о городе, который так знаете и любите...

— О городе или о вас?

— И обо мне тоже...— понизила голос Маша. Они договорились созвониться завтра, когда Павел узнает, смогут ли все члены комиссии поехать. Попрощались, он с сожалением опустил трубку и отключил телефон.

— У вас каждый вечер так? Много звонков, я имею в виду,— открывая дверь, спросила Вера.

— Пока не знаю. Прошлый вечер, кажется, мы провели в театре?

— Кажется. Спокойной ночи, Павел Васильич. Душевно мы посидели. За угощение спасибо. Не провожайте, что вы, еще увидят — в женском коллективе все такие зоркие...

На лице ее было сожалеющее выражение. «Похоже, она неправильно истолковала эти женские звонки»,— подумал Павел.

7

Утром его разбудил вежливый, но настойчивый стук в дверь. Поспешно одевшись, Павел взглянул на часы: 8.30. Ивашнев еще не возвращался. Отворив, Стольников увидел незнакомого лысоватого мужчину невысокого роста, в очках с затемненными стеклами и с импортным «кейсом» в руке.

— Иван Герасимович, приношу свои извинения за столь раннее вторжение,— начал незнакомец.— Но вынужден покорнейше просить принять меня по делу. Позвольте представиться: Самсон Ардалионович Кошкин — такая, знаете ли, несусветная фантазия была у родителей, что даже неудобно выговаривать.

— Стольников, Павел Васильевич. Я смогу заменить вам Ивана Герасимовича? Тогда входите и подождите минутку в гостиной, пока я приведу себя в порядок — вы подняли меня с постели.

— Тысяча извинений! Я бы не рискнул, но дежурная по этажу сказала, что обычно вы уезжаете в девять... боялся не застать.

«Странная речь,— отметил Павел.— Ему бы «да-с» и «что-с» говорить. И что-то лакейское проглядывает». Надев служебный костюм, он включил электросамовар — ясно было, что не успеет позавтракать в гостиничном кафе или буфете.

— Павел Васильевич, я директор ресторана «Турист», где вчера произошло досадное недоразумение,— стоя, несмотря на просьбы Стольникова присесть, начал Кошкин.— Вас и товарища Ивашнева обслуживал пьяный официант, как мне доложил Виктор Артемович. Разрешите еще раз принести вам наши извинения за испорченный вечер и доложить работникам министерства, что официант Горлов с сегодняшнего числа уволен за появление в нетрезвом виде на рабочем месте по соответствующей статье КЗОТа. Вот копия моего приказа. Сегодня же проведем собрание коллектива — обсудим ЧП.

— Да-а, товарищ Кошкин,— веско начал Павел.— Прямо сказать, вчера мы были неприятно поражены. Ведь по новому положению чаевые — пять процентов от суммы заказа — автоматически включаются в счет. Пять, но не сто тридцать же!

— Павел Васильевич, все мы единодушны: это вопиющее нарушение! Я объявил замечание и заведующему производством. Виктор Артемович вчера не совсем разобрался, уверяя, будто Горлов предъявил вам чужой счет. Что подделаешь, он у нас ветеран производства, честь мундира отстаивал. Но здесь дело принципа: мы уже не первый раз замечаем, что этот официант нечист на руку. Сожалею, что завпроизводством не догадался вызвать меня — я находился на рабочем месте до 24 часов. Работа такая, знаете ли, прихожу первым, ухожу последним...

В номер вошел Ивашнев, официально и деловито поздоровался. Директор ресторана торопливо повторил ему

все уже сказанное. Иван пристально посмотрел на него — Кошкин отвел глаза.

— Вы что-то еще хотите сказать, спросить? — поинтересовался Павел.

— Я... Мы...

— Вы готовы любой ценой сгладить наши впечатления о ресторане «Турист».

— Да! — воскликнул директор. — И просим еще раз посетить наш ресторан, не предупреждая об этом. Вы убедитесь, что коллектив состоит не из одних Горловых.

— Товарищ Кошкин, будем считать инцидент исчерпанным, — быстро заговорил Ивашнев. — Мы люди командированные, надо же иногда где-нибудь ужинать. Вот и завернули к вам. Новых визитов, не обессудьте, не обещаем. Меры вы приняли правильные, копию приказа прошу оставить. И должен официально заявить: ревизия вашего предприятия общественного питания в наши планы не входит. Вы ведь это хотели узнать?

Кошкин кивнул с облегченным вздохом.

— У нас и без того колоссальный объем работы. К тому же мне докладывали, что управление не так давно проводило у вас ревизию?

— Три месяца назад, — вытирая лысину платком, проворно ответил директор.

— Тогда правильнее реагируйте на замечания, сделанные в акте той ревизии. Мы не собираемся подрывать авторитет управления, хоть и ревизуем его.

С извинениями, поклонами и суетливыми благодарностями Кошкин, пятясь, пошел к выходу. Ивашнев затворил за ним дверь, бросился бриться: они опаздывали.

— Вчера звонила Оля, — сообщил Павел. — Пришлось придумать, что мы с тобой поменялись номерами. Скажем так: тебя сильно беспокоил гром трамваев под окном с пяти утра.

— Действительно, трамваи одолели! Одолели трамваи! Я позвоню ей, — обещал Иван. — Брат, и давно тебя осаждает этот обмылок?

Павел протянул ему стакан чаю.

— Полчаса. Ну и слово, Вань, точнее не придумаешь: обмылок! Видишь, как ты учил, я стал проще — и народ ко мне потянулся. Вчера же экскурсовод Маша звонила, звала на экскурсию по литературным местам...

— Не самые худшие места. Наверняка поручение Михайленко выполняет. Приглядишься к ней — что ли тебе девушек в номер не подсылали? Одушевленная взятка...

— Не торопись, Ваня. Важно, чтобы наша уверенность никогда не превращалась в самоуверенность.

Тут взгляд Ивана остановился на холодильнике.

— Стоп, Паша! Паша, стоп! Так мы далеко не уйдем. Эт-то еще откуда?

На белом холодильнике лежал незаметный белый блок сигарет, сквозь папиросную бумагу просвечивало! «MARLBORO». Блок закрывал собой еще одну нарядную коробку — коньяк выдержанный армянский в сувенирной упаковке.

— Ах, сволочь! — Павел был взбешен. — Это он, пока я умывался, подсунул! Ах, мышинное племя, лакей! И ведь не догнать уже...

— Да-а, так дешево нас пока не ценили: сигареты и коньяк. Да месяц назад мне «Жигули» предлагали — о чем, правда, до сих пор вспоминают с содроганием. Нет, товарищ Кошкин-Мышкин, придется взять назад свои слова: мы еще навестим твою харчевню! Еще как на-вестим!

Спустившись к «рафику», друзья ни словом не обмолвились членам комиссии о происшедшем. Они поздоровались, сели и углубились в свежие газеты.

Работа этой комиссии строилась, может быть, не совсем обычно: не все специалисты были вызваны на тридцать пять дней, многие приезжали лишь на семь-десять, ревизовали порученный участок, составляли акт, сдава-

ли руководителю и уезжали, а на смену им прибывали новые. Такой постоянно обновляющийся состав комиссии, конечно, добавлял хлопот ревизуемым: то и дело нужно было кого-то провожать, кого-то встречать, размещать в гостинице, и фактически ревизоров становилось гораздо больше, нежели вначале. Внешне это выглядело безобидным случайным совпадением, на самом же деле в такой «эскалации ревизоров», как выразился Стольников, был изощренный замысел их главного руководителя Александра Петровича Тургенева, по прозвищу Аксакал, прочно укоренившемся в аппарате. Друзья были едины в понимании этого замысла: Аксакал намеренно увеличивает число ревизоров и сокращает сроки командировки, чтобы тем самым подстегивать каждого из них, не давать расслабиться. Человек, приехавший на неделю, будет работать активнее того, у которого еще месяц впереди. Перед выездом из Москвы Ивашнев тактично задал вопрос: не упрекнул ли его, коллегия и все министерство в чересчур длительной и многолюдной ревизии? «Это я беру на себя», — ответил тогда Аксакал.

Едва начался новый рабочий день, как Тургенев позвонил Ивашневу, назвал его Ивашовым, поинтересовался ходом ревизии и сообщил, что им в помощь направляется еще один работник отдела, Калашников (в действительности — Калачев), а ночным самолетом из Донецка прибывает начфо Галина Петровна Бескаравайная. Иван поблагодарил руководство за внимание и заботу, правда, благодарность прозвучала натянуто: если Бескаравайную командировали по его предложению, то приезд Калачева не был заранее оговорен. Аксакал же ничего не делает случайно...

Иван вызвал Павла из кабинета, где тот обрабатывал анкеты и изучал документацию, пригласил в буфет и за чашкой кофе поделился новостями.

— Товарищ не доверяет? — задумчиво спросил Стольников. — Или к нему поступили какие-то сигналы? В чем дело, почему он решил усилить комиссию?

— Усилить комиссию таким ценным кадром, — насмешливо подхватил Иван. — Ты знаком с товарищем Калачевым?

— Шапочно, привет-привет.

— Это кадровый боец. Двенадцать лет сидит, как в танке, — никаких повышений, никаких перспектив. Искал себе новое место, нашел что-то в Госплане, побежал к Аксакалу. А тот ему и говорит: Виталик, разве это уровень ухода? Подожди, я сам найду тебе достойную вакансию. До сих пор ищет — лет уже семь. И рубит все инициативы Калачева.

— Типичная история, тебе не кажется? У нас с тобой она еще впереди...

— М-да. Куда же сунуть этого Виталика?

— А каков он как человек?

— Увидишь. Маленькая копия Аксакала. Сослуживцы, как и супруги, со временем становятся похожи. Аксакал ведь подгоняет работников под себя. Прокруст, я бы сказал... Калачев заиклился на карьере, любимая тема разговора — назначения, перемещения, оклады.

— Может, его на проверку гостиницы определить?

— Во! Голова! Пусть он там простыни пересчитает, полотенца, с фондом зарплаты разберется, амортизация, списание, доходы... И кто там без официального направления проживает.

Стольников спросил, знает ли Иван хоть что-то о жизни Аксакала? Нет, это закрытый со всех сторон человек. А вот Павлу удалось кое-что разведать: в одной командировке встретился с бывшим сослуживцем Тургенева, и тот рассказал, что Александр Петрович выдвинулся в молодости, за проведение Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957 году был награжден орденом. Затем быстро пошел вверх, стал начальником главка министерства. Пережил многих руководителей, давно должен был выйти на пенсию, но, хоть скоро ему и семьдесят, продолжает работать. У Аксакала мощные связи во всех инстанциях, и покинуть пост он может

только по собственному желанию, а такого желания у него пока нет...

Нынешние работники главка ничего не знают о личной жизни Тургенева — какая у него семья, есть ли дети? Ивашнев с нескрываемым любопытством слушал рассказ Павла. Когда сыграли свадьбу единственного сына Аксакала — Сергея, он поставил молодым условие: коль родится внук, непременно дать ему имя Иван, под страхом отказа в пасекаде. И вот живет теперь на свете семилетний мальчик по имени Иван Сергеевич Тургенев.

— Представляешь, каково парню в школе? — печально улыбнулся Павел.

— Сконструировал внука? Ай да Аксакал... А ведь это тщеславие, Пашенька. Тщеславие в самой маразматической стадии!

— А знаешь ахиллесову пяту Аксакала? Поговори с ним о канарейках и скажи, мол, слышал, что у вас лучшая в Москве коллекция кенарей. Все, Ваня, ты станешь его первым другом, и любая, самая фантастическая смета будет тут же подписана! Нет, ты только представь, как он сидит на даче в Софрине с Иваном Сергеевичем Тургеневым на коленях и слушает своих канареек! Ты лицо его топорное в этот момент вообрази!

— Придется нам с тобой канареек разводить, — со смехом отвечал Ивашнев. — А вот лучшим другом становиться как-то не хочется, уволь. Так же, как париться с этим начфо в одной бане. Ну, брат, традиция обязывает ехать встречать Калачева. Обоим, Пашенька, обоим, не отлынивай!

На машине Михайленко они поехали в аэропорт. Калачев — кудрявый, с залысинами, уже под пятьдесят, в отличие от Стольниково и Ивашнева начал уже обволакиваться жирком. Видно было, что он принадлежит к другому поколению. У него был высокий голос, которому Калачев пытался придавать солидность, внушительно гмыкал, покашливал и начало любой фразы произносил ниже, чем завершал ее. У тех, кто не знал его, воз-

никало впечатление, будто Виталий Степанович скрыто чем-то недоволен, и это иногда прорывается в тоне. Ивашнев и Калачев расцеловались, Стольников сдержанно пожал коллеге руку. Прежде чем заговорить, Калачев внушительно выдвинул вперед левую ногу — и открылось, что туфли у него на высоком скошенном каблуке, руку заложил за борт пиджака и поочередно вгляделся в лицо Ивашнева, затем Стольникова.

— Так вот, друзья мои, вчера состоялось заседание коллегии... — тут он сделал намеренную интригующую паузу.

— Виталик, не напрягайся, окончание вспомнишь потом, где твой портфель-то? — быстро проговорил Иван, разворачивая их к выходу из аэровокзала. Он терпеть не мог напыщенности, но прочно усвоил правило аппарата: никогда и никому не выказывать даже малейшей неприязни. Не простят. Однако у Ивана даже злые шутки выглядели необидно.

— ...коллегия освободила от занимаемой должности товарища Поршнева, — торопливо договорил Калачев.

— Туда ему и дорога. А кем он трудился, этот твой Поршнев-Шатунов-Коленвалов?

— Замзав! — с подобострастным ужасом в голосе ответил Калачев.

— И тебя утвердили на его место?

— Вопрос решается...

— Поздравляю, искренне рад. А наш Аксакал просил что-нибудь поведать?

Тут Виталий Степанович заговорщически поманил их и почти шепотом сообщил: на коллегии была и товарищ Кондратьева, руководитель здешнего управления. Она высказала резкое недовольство составом комиссии: приехали двадцать ревизоров на полтора месяца, парализовали работу ее аппарата. Она лично только в Москве узнала о ревизии, это с каких же пор министерство стало практиковать подобные внеплановые налеты? Говорят, Аксакалу сильно нагорело наверху. Но комиссию не отзывают,

а, наоборот, усиливают — чем и вызвана экстренная командировка Калачева. Видимо, тут уже соображения высшей политики...

— Виталий Степаныч, это все — трудности товарища Тургенева. Ты не переживай так сильно. Мы начали ревизию и доведем ее до победного конца, несмотря ни на какие инсинуации противника. А то нас уже и в обком приглашали на подведение итогов...

— Да вы что, ребята! — испуганно произнес Калачев, он все воспринимал всерьез. — Нет, это не наш путь, да вы что!

— Виталик, а если без шуток, обстановка тут крайне сложная. Мне сегодня звонил шеф, просил выделить для тебя наиболее ответственный участок работы. Видимо, это связано с твоим предстоящим повышением — обкапывают в деле, не знаю, суди сам.

Виталий Степанович скромно опустил глаза, будто его поздравляли с высокой наградой.

— Мы тут посоветовались, — продолжал Ивашнев, — и я решил. У нас в комиссии на сегодняшний день не оказалось специалиста по гостиничному хозяйству. Учитывая реакцию Кондратьевой, дополнительно вызвать никого не удастся. В гостинице управления за два года сменилось три директора. Из года в год не выполняется план...

— Это в наших-то условиях, когда каждая гостиница сверхрентабельна! — вставил Стольников.

— Так что, Виталий Степаныч, если не возражаешь, возглавь этот серьезный участок. Посмотри там, как учили, кто без ордеров управления проживает и сколько за это на лапу дает и кому. Какие там права царят — а нравы там чуждые, Виталик, не наши там нравы!

— Вопрос большой! — с важным вздохом сказал Калачев, привычно садясь на переднее сиденье машины.

«Как и когда выучился он так набивать себе цену, сколько позаимствовал приемов у начальства, сколько

жестов, привычек, манер унаследовал! И осталось ли у этого бедного клерка хоть что-то свое, природное?» — размышлял Павел. Он помнил, как в первые годы работы в аппарате индивидуальность Ивашнева вызывала жгучее раздражение у Тургенева. «Вот у нас тут ученые появились, — пренебрежительно говорил Аксакал на оперативках, — так пусть они нам и покажут, как надо работать по-научному». Позднее, после первых «зубодробительных» ревизий, проведенных Ивашневым, Тургенев нередко ставил его в пример, называл на планерках «светлой головой» и берег для наиболее сложных командировок, чего, понятно, многие работники-ветераны не могли простить новичку. Со временем и они поняли, что неоценимое качество Ивашнева — свежесть и смелость мышления. В своих актах ревизий Иван Герасимович применял множество эффектных «заходов», неожиданных формулировок, сопоставлений: подходил к одной и той же цифре с разных сторон, в результате чего порой даже самые благополучные показатели работы управлений становились едва ли не смехотворными. Для большинства коллег оставалось загадкой: какими методами добыты столь разительные факты? Ходили слухи, что у Ивашнева рабочие контакты с прокуратурой и комитетом партийного контроля и он пользуется этим. «Смотри сам, Ваня, тебе виднее», — стал все чаще говорить Тургенев, когда Ивашнев обращался к нему за советом, — понимал, что молодой способный работник советуется из вежливости, по правилам хорошего аппаратного тона, а значит, для проформы.

Представив Калачева руководству управления, Ивашнев надолго отделался от его присутствия. Было решено, что поскольку гостиница управления находится на окраине города, то Виталию Степановичу сподручнее там и остановиться, не добавлять транспортных хлопот раздраженным ревизией «хозяевам» и быть ближе к ревизируемым. Прodelав все это, Иван облегченным вздохом сказал Павлу: «Сбáгрили!»

Лишь спустя долгое время после завершения рабочего дня Ивашнев спохватился: а где же Валя Пустовойтова? Павел напомнил, что Валя собиралась сегодня в аэропорт, встречать свою подругу из Донецка. Был первый час ночи. Ивашнев быстро высчитал: самолет давно совершил посадку, езды из аэропорта полчаса. Где же Валя?! И вообще, зачем нужна эта самодеятельность? — поехала бы на машине управления, все равно Бескаравайную кто-то будет встречать. Павел впервые за годы их дружбы видел Ивана таким растревоженным. Сдержанный по характеру, Ивашнев обычно не позволял эмоциям выйти наружу. Сейчас же вместо добродушной безмятежной улыбки на лице Вани страх. Он суетливо перебрал на столе «карты гостя» со всякими справочными службами, кинулся к телефону и начал безостановочно накручивать номер справочной аэропорта. В трубке раздавались комариные зуммеры, он давал отбой — и набирал номер заново. Казалось, Ивашнев начисто утратил все прежние четкие реакции, организационную хватку и хладнокровие, которыми славился. Наконец Стольников подошел к нему, положил ладонь на плечо:

— Брат, возьми себя в руки. А вдруг Валя так же безуспешно набирает наш номер?

Эта трезвая мысль подействовала.

— Давай рассуждать логически, — предложил Павел. — Рейс задержался, Валя ждет...

— Да, но как она будет добираться обратно? Ночь, такси нет, полезет к какому-нибудь частнику...

— Стоп, Иван, хладнокровнее, не на работе! Она знала, что кто-то из управления едет встречать Бескаравайную? Знала. Да не хватайся ты за телефон! Как думаешь, шофер управления будет знать о задержке? Будет. И дождется прибытия рейса. Значит, у Вали есть все шансы увидеть его. Проблема решена?

— Нет: слишком много допущений. Если самолет

вадержался. Если шофер ждет. Если она его найдет. Дуреха, да хоть бы позвонила! — взмолился он, затягивая распушенный узел галстука и надевая пиджак. — Паш, я поеду. Я должен, брат, я не могу, я с ума сойду! Если с ней что-то случится, если ее кто обидит — да я убью его!

— Иван! — резко встряхнул его за плечи Павел. — А ну, без истерик! Ты поедешь — и что? Рейс благополучно прибыл, и Валя запросто проедет тебе навстречу! Ну и носись по всему аэропорту до утра...

Шел второй час ночи. Павел позвонил в депутатский зал аэропорта, представился и выяснил, что самолет из Донецка вылетел пять минут назад — по метеоусловиям Украины.

— Ивашнев, я тебя критикую! Ты битый час потерял на минутную операцию, — а если бы ты вез патроны? И не хватайся больше за телефон, молодой неврастеник. Дай ей позвонить! — убеждал Павел, всерьез теряя терпение.

— Да, Пашенька, да, знаю, понимаю, а не могу. Понимаю, что ехать туда бессмысленно, а вот рвусь! Ты сейчас в форме — будь моим автопилотом.

— Сядь, расслабься и подумай о Михайленко. Самое время сейчас о нем подумать!

Вскоре зазвонил телефон. Конечно, это была Пустовойтова.

— Я приеду к тебе? — сразу же сказал Ваня.

— Нет, приезжать не стоит, рейс прибывает, водитель управления здесь и будет ждать.

Чтобы не мешать влюбленным, Павел вышел в ванную. Когда он вернулся, Иван обнял его:

— Павлуш, ты во всем прав! Но пойми, просто это такой человек, что, если мне приснится — только приснится! — что у меня ее нет, я сойду с ума! Завтра я уже не скажу этого ни тебе, ни кому другому, но это так!

— Валя стоит такого отношения, Вань. Дай вам бог счастья!

В ту ночь Иван впервые признался другу: вот уже пять лет они с Валей вместе, хотя она и живет в Воронеже. Муж Вали — ответственный работник, сыну четырнадцать лет, но она в любую минуту готова развестись ради Ивана. А у него-то, у него не хватает духу сделать Олежку безотцовщиной! «Видишь, как банально, какой тривиальный расклад! — горько говорил Иван. — Я не могу дать ей того, что она готова дать мне. И вообще, можно ли строить счастье двоих — всего лишь двоих! — на обломках целых двух семей?! Нет, еще не все в этом мире настолько заражены эгоизмом, чтобы брать счастье силой и не думать при этом об окружающих. Валя — золотая душа, Валя все понимает и не требует жертв...»

И остаются обоим только жалкие крохи любви — встречи урывками в Москве, когда она самоотверженно и тайно приезжает к нему, да совместные командировки, и десятки, и сотни уловов, большая и малая ложь ради этих горько-сладких встреч...

Несмотря на поздний час, Иван так и не лег, пока не дождался свою Валю.

10

Обработав все анкеты, Стольников вышел в коридор, сел в дальнее кресло, закурил. Проходивший по холлу Ивашнев заметил друга и тут же подсел к нему:

— Что, Пашенька, устал?

— Да, Вань. Тебе могу признаться: устал от однообразия человеческой психологии. Этот мир обречен, если не изменит способа своего мышления, — это не я, это Эйнштейн сказал. Понимаешь, все в принципе строится по одним и тем же штампам-схемам. Вчера нас обсчитал официант — сегодня жди директора с сувенирами. Тронули историю с теплоходом — тут как тут Михайленко с пивом и воблой. Качнули восемь незаконных премий — того и гляди прибежит в номер поэтесса Зябликова читать стихи на сон грядущий. Все есть штамп.

Иван выслушал внимательно, полюбопытствовал: это анкеты навели на столь меланхолический образ мыслей?

— И анкеты тоже. Ну, как по-твоему, сколько внештатников премировалось здесь за три года?

— Уж пять-то процентов они, поди, удосужились награждать. Нижний предел — пять процентов.

— То есть каждый двадцатый активист хоть что-то да получил? А у них, судя по тысяче анкет, только каждый шестьдесят четвертый!

Ивашнев тоненько присвистнул, Разговор прервался — все остальное не было нужды произносить вслух. Опрошенные активисты называли в анкете любые формы морального поощрения, от грамот и значков до приглашения на различные мероприятия. Но ни премий, ни ценных подарков, ни льготных путевок 63 человека из 64 не указывали. И в то же время целый том документации управления свидетельствовал, что на поощрение и награждение внештатного актива из года в год тратятся, в соответствии с фондом, десятки тысяч рублей. Значит, происходит утечка средств. Можно было морализировать: как Михайленко эксплуатирует энтузиазм. Или говорить о неразвитости общественных начал. Друзья молчали. Они получили «обратную связь», и объективность социологического обследования была налицо. Вот если бы каждый второй указывал, что его поощрили рублем, тогда можно заподозрить «дирижирование» анкетированием.

— Вот что, Пашенька. Для начала высчитай, сколько рублей в год приходится на одного премированного.

— Уже прикинул: в среднем по 22 рубля.

— А теперь раскидай общую сумму на тысячу опрошенных и получишь жалкие копейки. Вот эти-то грошики мы в акте и проведем: по данным социсследования, на каждого активиста управления в среднем было израсходовано... 38 копеек в год, скажем так.

Это был один из тех ивашневских «заходов», которые снискали ему авторитет и у коллег, и у Тургенева. Стольников лишь головой покачал: ему-то казалось вполне до-

статочным привести в акте только эти нищенские цифры — премировался каждый 64-й вместо каждого 20-го, средняя сумма выплат составила 22 рубля в год. Но Ивашнев — о, Ивашнев, иезуитская его душа! — доводит статистику до абсурда: нет, товарищи Кондратьева—Михайленко—Зябликова, не 22 рубля, а всего лишь 38 копеек в год потратили вы на каждого своего добровольного помощника. По пачке сигарет им презентовали, и вовсе не сигарет «Мальборо».

Мысль обоих тем временем стремительно шла дальше.

— Как хочешь, а историю с круизом снять с тебя не могу,— говорил Иван, закуривая вторую сигарету.— Дело тонкое и зашло далеко. Калачева туда не пошлешь, все засветит. Да и премии ты копнул так, что влезай-ка в них с головой. Бери том ведомостей и кати в гостиницу.

— Как всегда?.. — понимающе спросил Павел.

— Нет, Паша, глубже, чем всегда! Проверь-ка их перекрестно. Составь списочек повторяющихся фамилий, сличи подписи и выуди тех бойцов, что пасутся из ведомости в ведомость. Потом мы с ними повстречаемся и снимем показания.

— «Снимем показания»! — важно передразнил Павел.— Ты уже в прокуратуре?

— А чем мы не прокуроры? — удивленно вскинул глаза Ваня.— Только тем, что дела в суд не передаем? Уж прости мое вторжение в твою душу, но что ты ощутил, когда просчитал результаты анкетирования?

— Усталость.

— А я — злость! В этом наша небольшая разница.

— Я против злости, Вань. Ленин писал в одном из предсмертных писем, что коммунизм можно построить только добрыми руками. Добрыми, Ваня. Я понимаю, что тот же Ленин призывал и «бить по головкам», если надо, понимаю, что доброта не может быть неразборчивой или глобальной. Но злость никуда не приводит. Самый большой тупик на свете — злость.

— По-моему, я умею и на высокие темы говорить без

высоких слов. Так вот, брат, чтоб ты лучше понимал меня: каждый раз, когда я сталкиваюсь вот с такой липой в документах управлений,— Ивашнев пощелкал ногтем по листочку с расчетами Стольниково, — я готов надеть кожаную тужурку с маузером в деревянной кобуре! Да, Паша, и хоть сейчас пойти с ревтрибуналом. И судить, и сажать, колья надо. Если хочешь, именно в этом моя главная идея, моя сверхзадача, а уж от нее — все производные мысли и действия.

— Ты ортодокс. Ты готов сажать людей из-за денег?

— Из-за народных денег, украденных ими. Народных. Вопреки всем определениям политэкономии скажу: деньги — это людская энергия, сконцентрированная в условном знаке. Деньги — всегда народные, даже когда они в руках у шаромыг и спекулянтов. Сами по себе они меня не волнуют — даже если рубля не остается перед зарплатой. А вот их суть, их принадлежность, их правильное и справедливое прохождение в обществе...

— Не знаю, Иван, не знаю. Все эти годы я отношусь к людям с уважением до тех пор, пока факты не доказывают, что они недостойны моего уважения. А ты, мне кажется, смотришь на всех без исключения как на потенциальных растратчиков и ждешь, пока тебе докажут обратное. Получается: ты никому не веришь!

— Именно так, Паша! Не ты ли сказал, прибыв сюда, такую фразу: «Там, где есть большие деньги, — ищи людей, испорченных большими деньгами»? Мудро сказал. Мы слишком много грязи раскапываем каждый месяц, отсюда и наше видение. Ну уважай Михайленко — работягу, пэтэушника, верь ему, Пашенька, он хороший! Но ты же сам видишь разницу между человеком и должностным лицом, личиной и сущностью... И сам, с первых минут общения с ним, видишь, какая это лиса и свинья одновременно!

— Лисо-свинья! — засмеялся Павел. — Да, вижу. У меня это тот редкий случай, когда априорного уважения он не дожидается. Может, тут чутье... Причем, я понимаю,

Вань, что когда-то Михайленко мог действительно быть неплохим рабочим парнем и завоевать симпатии секретаря парткома или высоких зарубежных гостей. Но все течет, все изменяется — переродился и он.

— Отлично! У меня то же самое. Значит, два субъективных мнения — порознь — означают нечто объективное. И не усложняй, старик, не надо! Уважение всегда нужно сперва заслужить. А веру твою в человечество будем укреплять. Укреплять будем!

Они закончили разговор раньше, чем хотели: к ним подошли Валя и Вера и пригласили выпить вместе кофе. Сидя за столиком в буфете управления, Ивашнев вдруг поднял палец кверху, призывая к вниманию:

— Знаешь, Павлуша, а мне сейчас пришло в голову, что зря мы так великодушно отпустили на все три стороны — в четвертую он и сам не пойдет! — директора ресторана «Турист». Слишком великодушно, обмылок того не стоит. Припоминаю, что-то взгляд его мне не понравился, косит налево. Был у меня тут телефончик бывшего начальника городского комсомольского оперативного отряда...— Иван полистал записную книжку.— Давний друг, понимаешь. А теперь он, оказывается, начальник районного ОБХСС.

Девушки засмеялись от такого неожиданного контраста: руководитель дружинников — начальник ОБХСС.

— Вот-вот,— поддержал Стольников.— Чтоб самим руки не марать. А тебе не кажется, товарищ Ивашнев, что завпроизводством сильно скостил нам счет, как только узнал, что — ревизоры?

— Была такая мысль: вдруг закамуфлированная взятка? Нет, Павлуш, я счета посмотрел и сопоставил. Наш скромный ужин соответствовал второму счету.

— А куда мы сегодня пойдем? — предвкушая очередное зрелище «культурной программы», спросила Вера.

— В гостиницу, Вера Павловна. Исключительно в гостиницу. Переходим на казарменное положение. Дело при-

нимает такой оборот, что все развлечения придется сократить.

— Уже?..— понимающе спросила Валя.

— Уже,— вздохнул Павел.— Аксакал звонит каждый день, Калачева прислал, и в воздухе определенно пахнет грозой.

— Жаль. Но раз надо...

Вернувшись в кабинет вместе с Павлом, Иван действительно набрал телефон начальника районного ОБХСС, вспомнил юность, упомянул о ревизии и попросил сегодня вечером провести рейд-проверку: в 22—23 часа вежливо и корректно досмотреть все сумки и пакеты, с какими будут выходить работники ресторана «Турист», включая директора. Потом взвесить все те продукты, которые будут обнаружены. И составить акт: во время рейда изъято продовольственных товаров общим весом столько-то килограммов. Ивашнев предложил выдать оперативникам официальное поручение провести проверку, но начальник ОБХСС Жильцов заверил, что их постоянных удостоверений для этой миссии вполне достаточно.

— Паш, я думаю, теперь нет нужды мчаться за товарищем Кошкиным-Мышкиным по проспекту и насильно вручать ему сигареты и коньяк. Завтра он сам явится в номер — там и вручим... Все есть штамп, как ты говоришь.

— А вот это ход нештампованный,— еще раз одобрил Павел.— При всей его простоте. Да, мы не ревизуем ресторана, как и было сказано. Но вот два счета, а вот вес изъятых продуктов. Выводы делайте сами.

Напоследок друзья заключили пари: сколько же килограммов продуктов изымут оперативники сегодня вечером? Ивашнев считал, что не меньше 50, Стольников уверял, что не более 15—20 килограммов. Ударили по рукам, и Павел поехал в гостиницу с ведомостями на фиктивные — в этом он уже не сомневался — премии внештатному активу.

Встречая теплоход «Зоя Космодемьянская», Павел волновался, как перед госэкзаменом. Если капитан предупрежден по радиотелеграфу, то у него уже готовы ответы на любые вопросы и ничего не стоит превратить столичного ревизора со всеми его вескими документами в мальчишку, размахивающего деревянной саблей над головой. Если же капитан ни сном ни духом не ведает о встречающем его теплоход, то почти все зависит от первых вопросов. Эффект неожиданности, самые первые слова и самая первая, непосредственная реакция на них чаще показывают истину, чем иные документы с подписями и печатями.

Белый теплоход медленно, тяжеломерно вошел в бухту. К нему шустро подвалил буксир-толкач, уперся резиновыми рогами, помог развернуться. И вот уже белые чалки-канаты полетели на берег, опоясали мощные, отлитые в другом веке чугунные тумбы. Как любил Павел в юности бывать в морском порту, слушать крикливых чаек, гул порталных кранов, похожих на крабов, наблюдать швартовку лайнеров, вдыхать запах моря! Нынешний день был влажно-пасмурным, хотя дождя с утра не было, и вот теперь, впервые за все дни командировки, заморосил дождь-невидимка, дождь-туман.

Матросы опустили трапы, но раньше, чем первый пассажир ступил на них, Стольников предъявил удостоверение: «Мне к капитану Радову. Ревизия из Москвы». Матрос, белобрысый парень лет двадцати, не ответил, растерялся, лишь рукой указал: проходите! Поиски капитана заняли немало времени — Стольников запутался в переходах, гулких металлических трапах. Наконец он нашел рубку, вахтенный матрос доложил о госте.

Капитан Сергей Сергеевич Радов встретил ревизора устало-спокойным взглядом и жестом пригласил: прошу, слушаю вас. Китель висел на спинке вращающегося кресла, привинченного к полу. Лицо капитана показалось

Павлу примечательным: крупный мясистый нос, грубые, словно скульптором тесанные скулы и подбородок говорили о том, что это действительно «морской волк». А спокойные умные глаза человека с высокой культурой, образованием и интеллектом были как бы перенесены в этот портрет с другого лица. Павел, переволновавшись заранее, на набережной, стал теперь абсолютно спокоен и хладнокровен.

Он представился, сообщил, что ревизию заинтересовал круиз для участников симпозиума, а документы управления неполны.

— Судовой журнал,— тихо-устало произнес Радов, и это прозвучало по-домашнему, вовсе не командой. Ему подали судовой журнал, раскрытый на нужной странице. Стольников открыл кожаную папку с документами, вырезками из газет, освещавших симпозиум,— приготовился предъявить их, приготовился атаковать.

— «Круиз отменен в связи с изменением программы симпозиума. Теплоход поставлен на санобработку»,— ровным голосом зачитал Радов.

— Будьте добры распорядиться, чтобы мне сняли копию выписки.

— Извольте,— произнес Радов почти старомодное теперь слово.

— Могу я видеть заведующего производством вашего ресторана?

— Сергеев, оповестите их.

Слышно было, как в судовых громкоговорителях раздалось: «Работникам ресторана оставаться на местах».

Капитан не проявлял любопытства: почему ревизоры заинтересовались круизом? По всему его внешнему облику, манерам видно было, что совесть его чиста. Ему нечего скрывать, незачем лукавить и суетиться, а ты-то приготовился прижимать его к стенке тем, что ни одна газета не упомянула о морской прогулке! Стольников, словно продолжая спор с Иваном, с радостью представил себе, как расскажет Ивашеву о капитане: вот человек,

который делает свое дело, прямо ходит по земле и еще увереннее по морям — он, если угодно, кристально чист!

Капитан внимательно перечитал выписку из судового журнала, подписал ее и протянул Стольникову. Даже в жестах между капитаном Радовым и заместителем начальника морского пароходства Сухаревым видна была разница — Сухарев вел себя щеголевато, будто смотрелся в некое зеркало, Радов же был естествен. Подумалось: вот крестьянский сын Радов возит по морям интуристов-миллионеров...

— Могу еще чем-то быть полезен? — осведомился Сергей Сергеевич, и Павел с сожалением ответил: «Нет, благодарю вас», — ему было приятно просто находиться рядом с этим человеком, от которого исходили доброта и сила, спокойствие и уверенность, как от отца.

— А я знал, что вы заинтересуетесь этим круизом, — сказал на прощание Радов.

— Почему же? — с улыбкой и без всякого удивления в голосе спросил Стольников.

— Не люблю, когда судно превращают в лавку. Желаю удачи!

Матрос сопровождал его в ресторан. Павел ожидал увидеть такого бравого кока в белом колпаке грибом, но жизнь оказалась разнообразнее устоявшихся штампов-представлений. Прямо в зале ресторана за столиком сидел джентльмен в костюме добротной шерсти и изящного покроя. Усики. Внимательный, даже чересчур внимательный взгляд. Золотой перстень на пальце. Стольников представился и начал без обиняков: его интересует, какие продукты получал ресторан в июле и их списание. Завпроизводством попросил удостоверение, внимательно изучил, переводя взгляд с фотографии на Павла, и ушел за документами. Он назвался, но Стольников не запомнил витиеватой фамилии, а переспрашивать было неудобно.

— Здесь работы не на один час,— обронил зав, выкладывая пачки сброшюрованных накладных.

— Гораздо меньше, но вам придется задержаться,— ответил Павел. Быстро пролистал накладные июля, они были подшиты строго по числам — флотский порядок в документах. Судя по накладным, ресторан снабжался по высшему разряду. Огромное количество килограммов красной и черной икры, севрюги, крабов, тонны ананасов, бананов, вагоны ящиков кока- и пепси-колы, а уж напитки! — целую карту вин можно было составить лишь из иностранных названий! Накладные Стольников пролистал быстро и небрежно, сделал лишь бумажную закладку на датах 5—7 июля. Завпроизводством изумился: так быстро? Павел теперь не сомневался в успехе. Реплика капитана Радова о том, что теплоход превращают в лавочку, дала ему слишком крупный козырь. И вот перед ним акт на списание пяти ящиков финского ликера «Лаппони», десяти ящиков водки «Московской» высшей очистки, восьми коробок колбасы салями, а также икры, консервов, балыков...

— Кому были переданы эти продукты с борта теплохода?

— «Интуристу». По распоряжению морского пароходства.

— Где это распоряжение?

— В отдельном накопителе.

— Будьте добры...

Через несколько минут Павел прочел документ с грифом морского пароходства:

«В порядке компенсаций за несостоявшийся фрахт теплохода отгрузить принятые на борт продовольственные товары по накладной № 73—615 представителю ВАО «Интурист» тов. Дольникову С. Т.

Зам. начальника морского пароходства — СУХАРЕВ».

Копия этого распоряжения вскоре легла в кожаную папку Стольникова рядом с выпиской из судового журнала.

В шестом часу вечера в кабинет Ивашнева осторожно постучали.

— Входите! — закричал Иван. — И, пожалуйста, без стука!

— Иван Герасимович, я пришел с заявлением, — начал мужчина средних лет с бледно-серым лицом, видимо, от сидячего образа службы. По заведенной в последнее время аппаратной привычке Ивашнев любого посетителя встречал у двери и прямо-таки вводил в кабинет. В отличие от министерского, обыкновенного стола здесь, в управлении, стоял Т-образный, составленный из двух-тумбового письменного и примыкающего к нему меньшего столика. Ивашнев усадил нежданного посетителя за этот малый стол и сам расположился за ним же.

— Я заведу группой ремонтно-строительных работ, Карасев Юрий Иванович. Я знаю, что устных заявлений вы не принимаете, но документов на этот раз представить не могу. Руководство финансового отдела погрязло в махинациях... Можно закурить?

— Я и сам охотно покурю, — Ивашнев протянул Карасеву пачку «Явы» из московских запасов.

Карасев медленно и веско продолжал:

— Скажем, поступает к нам вагон пиломатериалов — брус, доска отделочная, паркетная шашка, столярка. Вызывает меня Михайленко и говорит, что этот вагон мы обязаны заимообразно передать ОКСу Жилстройремонта, а они нам — тоже заимообразно — поставят плитку облицовочную, унитазы, раковины и прочее саноборудование. Я приходяю по его приказанию вагон, которого в глаза не видел, и тут же оформляем его передачу ОКСу. Но сантехника к нам тоже не поступает, а уходит — опять заимообразно.

— А почему вы говорите, что не можете представить документы?

— Дело в том, что они переданы в прокуратуру. Как

ваша ревизор Зоя Ивановна их затребовала, так я — к вам. Наша партийная организация обсуждала этот вопрос на собрании и решила, как говорится, «вызвать огонь на себя». Примите к сведению.

— Вопрос снят, благодарю, Юрий Иванович.

Когда Павел вернулся из пароходства, Иван рассказал о визите Карасева. Любое расследование заимообразных расчетов организаций отнимает недели времени и стоит адских усилий — знали они по опыту. И вагон пиломатериалов мог перекочевать через склады доброго десятка организаций и ведомств, а в итоге все могло оказаться вполне законным. Значит, благодаря инициативе партийной организации управления вся эта работа ведется силами прокуратуры.

— У нас Товарищ Зося сидит на межведомственных расчетах? Надо ее подключить к товарищам из прокуратуры, — заключил Иван. — К слову, Пашенька, о людях и вере в них. А ведь ты проиграл, брат! Помнишь наше пари? Читай!

За подписью начальника районного ОБХСС Жильцова на желтоватой газетной бумаге было напечатано неровным прыгающим шрифтом:

АКТ

Во время рейда-проверки ресторана «Турист» работники райотдела БХСС изъяли у сотрудников ресторана продовольственных товаров общим весом 62 килограмма 800 граммов на сумму 252 рубля 50 копеек.

— С меня причитается, — признал проигрыш Павел.

Ваня оживленно рассказывал подробности: как за производством Виктор Артемович верещал не своим голосом о праве на обыск и отказывался открыть багажник «Жигулей», где лежали припасенные заранее, с вечера, балыки, батоны колбасы и всякая мелочь. И как директор Кошкин растерялся, наткнувшись на рейдовую бригаду, — взмахнул руками, будто сдавался, а из-под

мышек посыпались свертки. И как беспрепятственно ушла одна официантка, неестественно толстая в талии — Жильцов не догадался откомандировать в рейд девушек.

— Обрати внимание: голодных нет. Воруют не мясо — воруют деликатесы по средней стоимости четыре рубля с копейками, — поделился наблюдением Иван.

Одна из любимых поговорок Ивашнева была «проза жизни», он повторял эти два слова так часто, по поводу и без повода, что у окружающих его людей создавалось впечатление, будто он прожженный скептик, который одинаково насмешливо относится и к тем ревизуемым, что попали в сложное положение, и к людям, переживающим семейную трагедию, и к снятым в ходе перестройки крупным руководителям — казалось, все на свете для него проза жизни, почти что мелочи жизни, се ля ви. В зависимости от ситуации, «проза жизни» могла иметь самые разные оттенки значения — извиняющие, понимающие, сочувственные, пренебрежительные, уничтожительные. Мол, люди есть люди, деньги только испортили их, а значит, испортили все без исключения свойственные людям отношения, от служебных до родительских, от любовных до производственных. И чем чаще повторял Иван свои крылатые слова, тем сильнее казалось, что имеет он в виду уже не «мелочи жизни», не простую полунасмешливую идиому, а некую величественную и непознаваемую истину самой жизни, во всем ее неохватном масштабе.

— Можно вывести еще одно правило, — сказал, соглашаясь, Павел. — Воруют больше всего сразу после ревизии, понимая, что вторая проверка не придет через неделю или месяц после предыдущей.

— Как просто и как верно! — оценил Иван. — А Кошкин-Мышкин уже звонил. И, наверное, залег под дверь твоего номера.

— Вань, а ты никогда не задумывался, почему люди деньги воруют? И не только деньги — колбасу, запчасты, бензин, лампочки и даже туалетную бумагу.

— Так сразу не ответишь, слишком много составных...

— А ты подумай, кандидат экономических наук. Ведь уже столько ревизий было... А без понимания корней грош цена нашей с тобой работе. Ну, посмотрим, брат, с какой скоростью распространяется здесь информация, — перевел разговор Стольников. — И какой будет ответная реакция Михайленко.

— Это так легко прогнозируется, — усмехнулся Ивашнев.

Последние три дня они редко виделись с начфо — здоровались с ним по утрам, начиная рабочий день, да мельком встречались в коридорах управления. При беглых встречах Виктор Михайлович ничем особенно не интересовался и был почему-то более внимателен к Стольникову, чем к Ивашневу, — расспрашивал о здоровье, семье, впечатлениях о городе. На мясистом лице его отражалось выжидание. Теперь, когда капитан Радов вооружил Павла неопровержимыми документами, и оставалось делом техники довести историю с круизом до сокрушающего удара по начфо, и когда анкетирование из модного приема превратилось в мощное подспорье и дало весомые факты, а обращение парторганизации в прокуратуру обещало дать еще более весомые, Павла особенно интересовало, какой же будет ответная реакция Михайленко? Но пари с Ивашневым заключать уже не хотелось... В предвкушении близкой встречи с начфо «у барьера» Иван попросил Павла задержаться. На полированной поверхности его стола не было ни одной бумаги. Друзья молча курили, размышляли.

Вскоре раздался телефонный звонок, и Ваня оживленно заговорил с Жильцовым — оперативники приглашали членов комиссии сыграть вечером в волейбол. В студенческие годы, да и позднее, оба не чурались спорта. Они дали Жильцову свое согласие. К окончанию этого разговора в кабинет вошел начфо.

— Все трудитесь? Все роете? Ройте, ройте... экскаваторы вы роторные! — пошутил он и первым засмеялся. — Вань Герасимович, зачем девушек обижаешь?

— А что, сигналы поступают? — с обворожительной улыбкой спросил Иван.

— Да культурную программу начисто срезал...

— Пусть повышают качество и производительность своего труда. И лучше используют резервы. Резервов слишком много, Витя.

— Ну, глядите, вам виднее, как организовать их работу. А сами не отказывайтесь.

— А себе не отказывайте ни в чем! — засмеялся Ивашнев. — Как в том анекдоте: жена дает мужу рубль и просит не отказывать себе ни в чем!

— Что ж ты, Паша, в сауну-то?.. Такая суббота пропадает! — но в голосе Михайленко уже не было того бравого оптимизма, с каким он чистил рыбу в номере, хохотал и таскал пиво из ящика. Хотя не было и никаких признаков беспокойства. — Ну, братцы, бросайте свои сигареты, щеки от них только втягиваются. Поедем-ка посидим, есть тут одно малоизвестное местечко. Тишина! Сервис! Музыка! Как у тещи посидим.

— Нет, сидеть вместе не будем — только порознь! — обыграл это слово Ивашнев. — Витя, а сигналы, ты прав, поступают. На тебя, Витя.

— Наверное, о том, что я вчера зарплату получил? Точно, получил. А что, ведомость была поддельная или купюры фальшивые?

Они посмеялись этой шутке, такой неожиданной от пачфо.

— Ты куда вагон бревен дел? На штакетник пустил? Дачу огородил? Признавайся, чистосердечное признание смягчает вину! — шутливо говорил Ивашнев, но зорко наблюдал за реакцией Михайленко.

— Слушай-ка, значит, и правда стучат на меня? — фальшиво обрадовался тот. — Значит, работаю! Стучат только на тех, кто работает!

— А если серьезно, Виктор Михалыч, то нам не представляли документов на стройматериалы. Как прикажешь в акте писать?

— Напишите, что эти документы находятся в распоряжении органов прокуратуры. Там история долгая, года на два, так что вашей командировки не хватит...

— Я вижу, этот факт тебя сильно развеселил?

— Ребята, а печалиться рано. Если мы сами обратились в прокуратуру, это еще не означает, что у нас тут серьезные провалы. Вам опыта не занимать, сами знаете, как нынче между организациями принято: ты — мне, я — тебе. По документам все наши взаиморасчеты сходятся до копейки. И мы, руководство, оставляем за собой право дать потом оценку этой инициативе трудящихся. Так что не спешите с выводами!

— А мы и не спешим,— парировал Стольников.

Михайленко как ни в чем не бывало настойчиво звал их ужинать. Павел сдержанно ответил, что нынешний вечер занят, такова спортивная жизнь, и пригласил начфо сыграть с ними в волейбол в расчете на отказ. Но Михайленко неожиданно согласился, и они поехали в гостиницу переодеться. По дороге Иван вспомнил о Калачеве, спросил о нем у начфо. Михайленко захохотал: кажется, министерство готовит выездное заседание коллегии, скоро весь главк соберется, половина уже прибыла. Несомненно, он был в курсе разговора Кондратьевой с Тургеневым о количестве членов комиссии и сроках ревизии.

— А Калачев там бурную деятельность развил: длину полотенец меряет, и оказывается, все полотенца на десять сантиметров короче нормы! Серьезное нарушение... А ваш Тургенев всегда так? Если ему говорят, что народу в комиссии мало, так он еще убавляет? А если много — еще прибавляет? — спросил начфо.

— В общем, да. Товарищ Тургенев большой диалектик и на каждое действие отвечает противодействием.

В номере Виктор Михайлович первым делом заглянул в холодильник и опять сделал им замечание: не подают товарищи ревизоры всего, что им предназначе-

но, ай-й-й! Зато стоящую на холодильнике бутылку коньяка и блок сигарет оценил удовлетворенно: вот это уровень приема!

Ивашнев резко обернулся на эти слова:

— А в волейбол мы можем начать уже сейчас, без мяча. Моя подача — принимай, Витя! Ты пошел в ресторан, поужинал, и тебе выписали не один, а два счета. В два счета! — скаламбурил он и припечатал к столу сначала один, затем второй счет ресторана «Турист». — Ваши действия, Михайленко?

— Ну, официант, конечно, шкура, — улыбаясь, ответил начфо. И видно было, что доволен: наконец-то ревизоры начали приоткрывать карты.

— Правильно. И вот официант Горлов уволен... — Иван выложил копию приказа директора. — Инцидент исчерпан. Но товарищ Кошкин разволновался, в рассеянности оставил тут сувениры, которые вез кому-то другому, даме сердца, например. Лови мяч, Витя!

— А может, зря вы так? — помолчав, начал Михайленко. — Это же торговля, люди простые, без высших образований. Хирург сделал операцию — ему несут всякий ширпотреб, по традиции. Кошкин отреагировал, официанта снял, перед вами повинился... Не знаю, для взятки слишком мелко. Так, подарок...

— Значит, ты бы принял? Как хирург? И много тебе таких «подарков» несут? А теперь смотри, что мы предприняли! — Иван выложил на стол четвертый документ, акт рейда-проверки. И заговорил тоном Михайленко: — «Ах, несуны-крохоборы! Да мы же их три месяца назад чихвостили!» — ты это хотел сказать? И заметь, Михалыч, Кошкину по-джентльменски было сказано: не будем мы вас ревизовать, работайте по замечаниям управления. Нет, не прислушался товарищ...

Заторможенно, изучая документы, начфо заговорил о том, что акт можно оспорить. А вдруг эти продукты были оплачены через бухгалтерию ресторана?

— Витя, не надо! Мы не первый год замужем. Никто

в этот день никаких паличных в кассу не вносил. Если появятся некие кассовые ордера — будем рассматривать как подлог. Гол, Витя?

— Гол. Кошкина мы уже сняли,— признался Михайленко.— С кем только работать буду к концу вашей ревизии?

— С резервом, товарищ Михайленко. С резервом кадров.

Они вышли к машине, но едва сели в нее, как водитель, безуспешно погоняв стартер, полез в мотор. Через пять минут ожидания Михайленко — живот вперед, солидный начальник — раздраженно выговорил: «Ну, братец, тебе бы на кобыле ездить!» И начал голосовать. Такси проходили мимо, все занятые.

— А на троллейбусе! — предложил Иван.— В нашем городе всегда был прекрасно организован общественный транспорт. Проверим!

Вскоре Михайленко сдался, они сели в полупустой троллейбус, и начфо начал искать мелочь. Ему передали абонементные талончики — начфо недоуменно крутил их в руках, не зная, куда деть. Иван выразительно глянул на Павла:

— Ну, ты даешь, Михалыч! Ты когда в последний раз в троллейбусе ездил, пролетарий?

— А что, недавно ввели? — растерянно спрашивал начфо.

— Да, недавно, лет пятнадцать назад!

После волейбольного матча, омоложенные, раскрепостившиеся физически, оба сказали Михайленко, сидевшему на скамейке запасных: вот это мы понимаем, культурная программа! Любых твоих «уютных местечек» стоит!

— Пал Васильич, доброе утро! Не разбудил? Надо бы нам повидаться накоротке,— жизнерадостно частил Ми-

хайленко сочным голосом только что с аппетитом позавтракавшего человека.

— Да-да, приезжай, конечно, Михалыч, нет вопросов,— отреагировал Павел как можно спокойнее на этот, до неприличия ранний звонок.

— Но повидаться с глазу на глаз, дело тонкое,— задушевно произнес начфо.

— Не гарантирую: товарищ Ивашнев уже на боевом посту, руководит. Да и у меня от него нет секретов.

— Будут, Васильич! — со смехом ответил Михайленко и опустил трубку. «А вот это уже наглость, надо ему врезать»,— автоматически отметил Стольников. Едва он включил самовар, чтобы хоть крепким чаем вернуть собранность, четкость мысли и действия, как в номер вошел Ивашнев.

— Звоню — занято! Что, уже с утра одолевают?

— Сейчас приедет Михайленко для конфиденциальной беседы со мной лично.

Иван многозначительным взглядом оценил эти слова. Павел попросил его сесть. Быстро рассказал об истории с теплоходом. Ивашнев прочел документы — и брови его удивленно поползли вверх:

— Пашенька! Да ты здоров ли, друже? Сидишь на золотой жиле и куксишься? То-то я думал, почему это Паша о теплоходе помалкивает? Да это можно в областной газете публиковать или в учебнике, как классический образец работы ревизора.

Павел остудил восторги: не надо, ведь предупрежденный «Интурист» запросто спрячет концы в воду, тем более что сегодня суббота и туда не съездишь.

— Спрячет?! — воскликнул Иван.— Как, хотел бы я знать? Ты же повязал их одной веревочкой — веди теперь куда хочешь. Вот Михайленко и мчится узнать: куда ты их поведешь?

— Спрячет, и ты знаешь как: в понедельник «Интурист» предъявит нам бумажку о том, что деньги, перечисленные организациями за круиз, честно-благородно,

хоть и задним числом, возвращены этим организациям. И все сразу потеряет смысл. И привет тебе горячий от товарища Михайленко!

— Чуть помедленнее, кони! — Иван процитировал песенную строчку. — Не так быстро, Паша. А продукты? А акт о том, что круиз состоялся? Да за эту роспись товарища Сухарева мы тебе памятник воздвигнем. И ты завибрировал?! Нет, на встречу с начфо определенно надо идти, а уж тет-а-тет я вам обеспечу!

Он бросился к «дипломату», достал портативный диктофон. У ревизоров бывают ситуации, когда только он может послужить единственным свидетелем. Проинструктировал: как только начнется настоящий разговор, надо незаметно включить вот эту кнопку. Иван забрал с собой все документы круиза и обещал позаботиться об их сохранности. Павел предупредил, что в сейфе управления им не место.

— А в сейф мы положим копию вот этого сухаревского акта. У Товарища Зоси с собой пишмашинка — снимем копию!

И Ивашнев стремительно покинул номер. Разговор занял считанные минуты. Павел перевел дух. Заварил чаю, приготовил бутерброды. Михайленко застал его спокойно завтракающим.

— Приятного аппетита! Это вот так вот министерские товарищи гробят драгоценное здоровье? А ведь твое здоровье, Васильич, принадлежит народу!

— Скромность украшает министерских товарищей.

— Пал Васильич, а может, распорядиться сухариков черных для комиссии подбросить? Трудно, конечно, найти их по нынешним временам... А где товарищ Ивашнев?

— Печатает там что-то... Виктор Михалыч, какие еще сложности есть в жизни, кроме моего здоровья? — укоротил гостя Стольников.

— Насчет баньки-то не передумал? А то в сауне и поговорим.

— Работа, Вить, работа. Товарищ Тургенев с нас уже сейчас спрашивает, не дожидается, когда вернемся. Сегодня в комиссии объявлен рабочий день. Субботник, я бы сказал.

Михайленко, стоявший посреди гостиной, наконец сел за стол.

— Может, пивка с утра? — предложил Павел и пошел к холодильнику включить надежно прикрытый диктофон. — Пиво — жидкий хлеб...

— Нет, пиво с утра расслабляет. А пароходство что же, прогулку на катере зажилило? Не похоже на моряков. Позвонить Сухареву?

— Михалыч, я серьезно: субботник у нас. И от прогулки мы сами отказались. Или ты по нашим командировкам не ездил, не знаешь? Все члены комиссии вчера взяли с собой в гостиницу данные, выписки — и работают.

— Паш, а ты давно в министерстве? И все ревизором-контролером? А перспективы? Ты гляди, как бы в положении Калачева не оказался. Кстати, в Москве полно наших земляков, неплохо ушли. Хочешь, наведу через них справки: может, какая хорошая вакансия обнаружится?

— Виктор Михалыч, на ближайшую пятилетку мои перспективы четко определены.

— Товарищем Тургеневым? Ну, расти можно и в аппарате. Вот у вас только что Поршнева освободили...

— Я не совсем понимаю, почему мы в такую рань обсуждаем мои личные перспективы.

— Васильич, мы ведь тоже с глазами, видим, кто как работает, у кого какой почерк. Кондратьева тебя давно оценила — с моей подачи, конечно. Я ей сразу сказал: со Стольниковым можно иметь дело.

— Смотря какое дело. И что, она предлагает мне место главного бухгалтера в вашем управлении?

— Нет, кое-что посерьезнее. Причем с гарантией. Через две недели после твоего возвращения из этой коман-

дировки мы поздравим тебя — горячо и сердечно — с новым качеством. Замзав в тридцать пять лет — это не кисло, а?

— Смотря по тому, чем я буду обязан такой заботе, — ответил Павел и подумал, что чересчур изысканно говорит с начфо.

— Одной услугой. Мы же понимаем: в акте ревизии вам надо что-то писать. Лирика для актов не годится, поэтому ревизуйте на здоровье, пишите хоть о полотенцах, хоть о снятом в ходе проверки директоре Кошкине. Но Кондратьева хочет попросить тебя лично об одной услуге.

— Какой же?

— Документы по теплоходу.

Оба обменялись выразительными взглядами во время долгой паузы.

— Кстати, где они сейчас? — ничуть не смущаясь, продолжил начфо.

— У Ивашнева. Не то в сейфе, не то в «кейсе».

Михайленко признался, что у него нет никакой охоты читать эти бумаги — наизусть знает, что там написано. У него контакты четкие, не успел ревизор уехать, как ему сигнализируют, где был, чем интересовался, какую бумажку взял. Павлу сильно хотелось задать один вопрос, но включенный диктофон удерживал от этого: почему Михайленко позвонил и приехал к нему сегодня, а не вчера и не завтра? Но поинтересовался только, почему круизу придается такое значение.

— Васильич, там, где наши грехи, мы и ответим. Сами ответим. А тут впутаны всякие смежники. Пароходство, «Интурист»... Ивашневу все равно, он сам сгорит, но других подожжет. А нам с этими инстанциями еще много каши сварить надо.

— Понятно. Когда Кондратьева ждет моего ответа?

— Старина, такие дела или делаются сразу, или не делаются вообще.

— Но мне надо подумать.

— С Ивашневым посоветоваться? — осклабился Михайленко.

Павел понимал, что впервые видит его настоящее лицо вместо привычной маски. Михайленко обложен красными флажками со всех сторон, и терять ему нечего. Но все поведение его сегодня было сверхуверенным, он шел на цель как торпеда, ни секунды не сомневаясь в успехе своей грязной миссии. Видно, дополнительную уверенность, граничащую порой с наглостью, ему придали какие-то весьма влиятельные силы. Гораздо более влиятельные, чем одна только член коллегии Кондратьева.

— Нет, советоваться не собираюсь, а подумать есть над чем. Эта игра стоит головы, так пусть голова сначала поработает.

— Вот за это ценю! Золотые слова, надо запомнить. Время терпит, Паша, но в понедельник уж будь добр, дай знать. Не тяни, ладно? А то ведь тебя и отозвать могут из командировки... — многозначительно добавил начфо, вставая. — Кстати, Василийч, шофер так опростоловолосился перед вами вчера, что добровольно предлагает свои услуги на весь день. Может, ты поехать куда хочешь?

Сдерживаясь, ровным голосом Павел повторил: в самом деле надо работать, вон какая гора документов на столе.

— Изучай, изучай. Значит, Василийч, если раньше надумаешь — звони, вот мои телефоны. Не первый, так второй точно ответит, — и начфо прищелкнул визитной карточкой по столу. Он колебался, протянуть ли руку, и Стольников, рассеивая его сомнения, подавил брезгливость — протянул свою. Это было так же необходимо, как выиграть время с ответом.

— Смотри, Василийч, — в дверях остерег Михайленко. — Дело серьезнее, чем тебе кажется. Ответь прямо, не вздумай двоить.

— Двурушничеством никогда не занимался.

Стольников остался один. Он ощущал себя разбитым

от недосыпания, сильной утренней тревоги и грязным от этого грязного предложения. Выключил диктофон. Выплеснул в раковину недопитый чай. Начал мыть руки — и остро захотелось сию же минуту принять душ. Действительно, он разделся, включил душ и с ожесточением принялся оттирать руки мочалкой. «Но почему, почему, — размышлял горько Павел, — этот свинья Михайленко посчитал возможным предложить мне такую сделку? Я дал какой-то повод? Ивашневу не предложил. Как сильно об Ивашневе сказал — «сам сгорит, но других подожжет!». Это же высший комплимент, если о тебе так отзовется враг».

Он слышал, как зазвонил телефон — наверняка Ивашнев проверяет осторожно, завершены ли переговоры. Затем отворилась входная дверь, и он услышал Ивана: «Полощешься, Пашенька?»

«А ведь я сегодня был на грани провала, на самом обрыве», — подумал Павел и никогда еще, наверное, не благодарил Ивана так горячо и признательно вслух, как сейчас благодарил его мысленно. Если бы не Ивашнев, которому пришла в голову спасительная идея о диктофоне, если бы не давний друг Ваня, талантливо схватывающий на лету сложные ситуации, то Павел мог быть сегодня уничтожен как ревизор, работник министерства, человек. Михайленко терять нечего, он приперт к стене и огрызается, он не посчитается ни с чем, не остановится даже перед провокацией, перед шантажом. И не так уж много нужно, чтобы опорочить честного человека, приписать ему свои же слова...

— Я послушаю пока запись? — заглянул в ванную Ивашнев.

— Да, послушай, как меня покупали. Вань, а ведь если бы не ты...

— Сочтемся. На том свете угольками, — ласково пресек его благодарности Иван.

Когда Стольников, так и не отделавшись от чувства гадливости, вышел из ванной, голос Михайленко четко

говорил с пленки: «Васильич, там, где наши грехи, мы и ответим. Сами ответим. А тут впутаны всякие смежники. Пароходство, «Интурист»... Ивашневу все равно, он сам сгорит, но других подожжет...»

— Высоко ценят, — улыбнулся Иван. — Мелочи, а приятно.

Прослушав запись до конца, они решили беречь эту пленку так же, как документы круиза. Конечно, она не может являться юридическим документом — и все же это мощный факт! Да, но в понедельник нужно давать ответ... Не в понедельник — сегодня же, и четкий ответ! Конечно, двух мнений тут быть не может. Но сперва нужно определиться, как действовать дальше. Ехать в «Интурист», вести расследование до победного конца! Судя по всему, у Сухарева и Михайленко что-то где-то не срабатывает. Может, капитан Радов ослушался, проявил принципиальность? Но у капитана не могло оказаться двух судовых журналов — один для себя, другой для ревизоров!

— Пашенька, а ведь ты сработал в этом дельце на очень высоком уровне!

— На уровне «замзава», — съязвил Павел, останавливая Ивашнева: не надо поднимать его дух, вода уже сделала свое дело.

А главное, размышляли они дальше, если бы управление и пароходство могли спрятать концы, то зачем предлагать Павлу кресло замзава? Значит, не могут, что-то у них сорвалось, и остался единственный способ — подкупить ревизора. А раз так, в понедельник нужно ехать в «Интурист» и разматывать историю дальше. Собаки лают — караван идет. Скорее всего ехать не Павлу — подменить его кем-то. Тут Стольников вспомнил о намеке начфо в конце разговора: «А то и отозвать тебя могут из командировки...» Это что, угроза? И еще одна деталь: держался Михайленко хладнокровно и уверенно, несомненно, за ним мощная поддержка. Но вот чья именно?

Зазвонил телефон. Ивашнев снял трубку:

— А, Товарищ Зося! Можно попозже? У нас тут горячо. Зося, а Бескаравайная не появлялась? Как явится — сразу ко мне!

И пояснил Павлу: после прилета из Донецка Галина Петровна исчезла из поля зрения комиссии. В номере ее нет, в управлении не появлялась. Двое суток никакой информации! Зося уже наводила справки в милиции, «Скорой помощи». Кажется, зреет ЧП.

— Пожалуй, тоже освежусь,— поднялся Иван. Он мыл голову шампунем, когда Павел зашел поделиться еще одной мыслью: Михайленко открытым текстом упоминал имя Кондратьевой. Следовательно, их работа вышла уже на номенклатуру «член коллегии». Не превышают ли они своих полномочий?

— Ничего не бойся и ни о чем не жалей,— вытирая голову полотенцем, отвечал Ивашнев давней их студенческой поговоркой.— Работать, Паша, надо весело — хмурые люди снижают производительность и качество своего труда! Эта ревизия может вывести нас и на более высокий уровень — наше дело вести ее, не допуская ошибок. Чтобы никаких упреков не было в адрес комиссии! Никаких!

— Я к тому, что наших служебных мандатов на определенном этапе может оказаться маловато, чтобы довести это дело до конца.

— Там, где окажется мало наших удостоверений, поможет партбилет. Не в качестве пропуска, конечно!

— Агитировать друг друга за Советскую власть мы не будем, но я хочу, чтоб ты, Ваня, знал: я эту ревизию теперь просто обязан довести до победного!

— Я тоже!

Иван начал причесываться. Сквозь влажные волосы как никогда раньше просвечивала белая кожа. На расческе оставались целые прядки, Павел обратил на них внимание друга.

— Знаю, брат. Что делать? Особенно как поволнуюсь, горстями вылезают.

И Павлу стало ясно, что сегодняшнее утро дорого стоило не только ему одному. Он грустно заметил:

— А ведь ты, Вань, жжешь свою свечу с двух концов...

14

— Звали, Иван Герасимович? — спросила, войдя в номер, эффектная блондинка. Стольников давно не встречал такой броской красоты — на улице на эту женщину будут оглядываться все подряд. Миловидное овальное лицо без косметики, с нежно-смуглой кожей, большие серые глаза, великолепные волосы, грациозные походка и движения. Модельеры и портные нашли бы ее фигуру неправильной, но как привлекательны все эти неправильности! Такова была Галина Петровна Бескаравайная.

— Не то слово — и с к а л и! Здравствуйте, Галина Петровна! — с нажимом начал Ивашнев и осведомился у Стольникова, не помешает ли ему их разговор.

— Нет, если мое присутствие не помешает вам.

— Я бы хотел, чтоб ты остался. Галина Петровна, а где ваше командировочное удостоверение?

Бескаравайная открыла сумочку, висевшую через плечо, и протянула бланк. Она держалась так, будто знала, что ею любуются. Павел оторвался от документов, услышав ее непередаваемо жалобный молящий возглас, нечто среднее между «нет!» и «не надо!». И увидел, как Ивашнев пишет что-то в удостоверении.

— Я отметил вам выбытие отсюда завтрашним числом. А вот бронь на обратный билет.

— Я прошу вас!.. — почти шепотом произнесла Бескаравайная. — Я была у родственников...

— Это вы можете рассказать в Москве товарищу Тургеневу, если захотите обжаловать мое решение. Вы ехали сюда в командировку или родственников навестить?

Вы отсутствовали на работе двое суток — у кого отпрашивались?

— Извините, я не успела поставить вас в известность.

— Да, в этом городе так мало телефонов...

— Иван Герасимович!

— Передайте наши извинения родственникам и непременно приезжайте к ним еще, в отпуск, например. А скажите, кто уполномочил вас ревизовать дачу управления? Я так полагаю, это не дача ваших родственников, а вас там видели, — Ивашнев передвинул по столу командировочное удостоверение и белый квадратик брони. Бескаравайная оцепенело постояла еще минуту, резким движением взяла документы и вышла из номера.

— Что скажешь, брат? — Ивашнев стремительно подсел к Павлу.

— Ты, конечно, справедлив, но суров до жестокости.

— Паша, меня вырастили коллективистом. Ладно, плевать ей на Ивашнева, но ведь она приехала к коллективу, который здесь не в бирюльки играет!

— Ее вина бесспорна, Вань. Но знаешь, если тебе дать полную власть...

— Я что, судилище устроил? Обсуждение морального облика на собрании комиссии? Дарью Степановну общественным обвинителем выдвинул?

— А ты точно знаешь, что она была на даче?

— Шофер «рафика» видел ее там и описал безошибочно. Да и она, кажется, не оспаривала этого сейчас?

— Вань, давай подумаем, чего ты добился, закрыв ей командировку? — спокойно говорил Стольников. — Допускаю, что интересы дела, ревизии от такого решения пострадали — она уже не сделает того, что могла бы для нас сделать. Жаловаться Бескаравайная, конечно, не пойдет. Но зачем нам чьи-то вопросы: что случилось в комиссии?

— Знаешь, однажды в детстве я с пионерским отрядом плыл на катере по реке, — закурив, начал рассказы-

вать Ивашнев.— После турпохода отчаянно хотелось есть, а все кончилось. Я наскреб какую-то медь, пошел в буфет, купил полбуханки черного хлеба и начал есть в одиночку, на корме. Украдкой от всех, понимаешь ли. Ко мне подошел наш пионервожатый, взял эту краюху и выбросил за борт чайкам. За борт! Хлеб... Сейчас мне тридцать шестой год, я помню эту историю лет двадцать пять, буду помнить до конца дней, как говорится, и еще Олежке расскажу.

— Ты хочешь сказать, что поступил сегодня так в воспитательных целях?

— А по-твоему, я не имел права — морального права судить Бескаравайную?

— Из моих слов этого не следовало.

— Паша, ну мы же умеем перепрыгнуть через два-три звена в любом силлогизме... Да, ты этого не сказал, и прямо из твоих слов этого не следует, но ведь подумал!

— Брат, не зря веками говорится: каким судом судите, таким и судимы будете. Ты ведь даже не выслушал ее. А вдруг там какая-нибудь драматическая история? Ведь не школьница — два прогула в министерской командировке!

В номер постучали, и, увидев, что вошла Валя Пустовойтова, Павел хотел было уйти якобы в буфет, но Ивашнев опять попросил его остаться.

— Иван Герасимович, ну я все понимаю, — звонким голосом, с улыбкой начала Валя. — Ну, загуляла девушка, она и не отпирается. Но зачем так уж сразу ее отсылать?

— Она куда ехала? На экскурсию? Повидать друзей детства? — атакующе спрашивал Ивашнев.

— Да никто не спорит, но зачем командировку-то закрывать? Иван Герасимович, а ее работу я буду делать? Нет уж, подруга, раз провинилась — делом и оправдайся! Отработай...

Павел оценил, что Валя вовсе не собиралась обелять,

покрывать свою подругу — осуждает ее, хотя не столь категорично и непримиримо, как Иван.

— Вот и Паша говорит примерно так же, вас двое, и оба вы друзья мне. Но я не могу иначе, Валенька, не могу! Уверен — ее нужно отправить. Почему мы трое пашем без передышки, почему бы нам не отдохнуть? Потому что совесть есть. А вдруг ее Михайленко купил этой дачей и теперь всю комиссию хочет скомпрометировать? Да, может, ее там сфотографировали в разных видах и завтра снимочки в Москву отправят?

— Ну уж, — оторопела Валя.

Павел поддержал Ивана: от этого начфо можно и не таких гадостей ждать. Ободренный Иван продолжал:

— У нас в основном женская команда. И я не уверен, что завтра кто-то не поставит вопрос так: значит, Бескаравайной можно, а мне почему нельзя? Поймите вы оба: если Галя не уедет немедленно, то вопросы к ней автоматически станут вопросами к нам, ко всей комиссии. Я не хочу этих вопросов, хватает и других, похлеще. Ты просто не все знаешь, Валюша.

— А, так вы вопросов боитесь...

— Валь, я тоже спрашивал Ивана: стоит ли отсылать Бескаравайную? — заговорил Павел. — И вызывать тем самым вопросы и у местного, и у нашего руководства: что случилось в комиссии? А нам бы не хотелось доказывать товарищу Тургеневу, что мы все-таки знаем, кого рекомендуем в свои командировки.

— Эх, вы, мужчины!.. — в сердцах воскликнула Валя.

— Не надо! — словно пресекая ее дальнейшие слова, резко возразил Иван. — Я не за свою личную репутацию переживаю. А уронить престиж комиссии, скомпрометировать всех не позволю ни себе, ни тебе, ни Паше!

Несмотря на инцидент с Бескаравайной и жаркое обсуждение принятого решения, Ивашнев и Стольников ни секунды не переставали думать о том главном, что произошло в нынешнюю субботу. Оба отдавали себе отчет, что вслед за попыткой подкупить ревизора последует и

давление на этого ревизора или на всю комиссию. Проступок Бескаравайной лишь усугублял положение, Михайленко действительно не побрезгует шантажом. Легче всего было сделать первый ход — позвонить начфо и резко отказаться от сделки. Но прежде чем пойти на этот очевидный шаг, следовало, подобно хорошим шахматистам, взвесить все последующие ходы с обеих сторон. Друзья перебрали множество вариантов, от радикальных — обратиться в партийные органы — до внешне конформистских: вести себя и в дальнейшем так, словно ничего не произошло, а запись беседы оставить про запас как самый сильный факт.

После ужина Иван признался: как же хорошо, что в этой командировке Павел вместе с ним! Вместе гораздо увереннее и легче. Перед тем как позвонить Михайленко, друзья еще раз с карандашом в руке просчитали все возможные, ближние и дальние последствия этого шага.

— А не блеф ли все это — кресло замзава предлагать или грозить отзывом из командировки?.. — усомнился вдруг Стольников. — Разве могут быть у какого-то рядового начфо реальные рычаги в нашем аппарате?

— Могут. В том-то и трагедия, что еще как могут! — мрачно подтвердил Ивашнев. Резко скрутил в жгут пустую пачку «Явы», поискал новую — и не нашел. Павел с улыбкой указал ему на блок «Мальборо», мол, вон у тебя сколько сигарет! Но Иван резко ответил: — Скорее курить брошу, чем дотронусь до этих!

Павел протянул ему свою пачку и набрал телефон Михайленко.

— Виктор Михайлович, это Стольников. Я думаю, мы оба можем считать, что утреннего разговора просто не было. Предложения принять не могу.

— Вам виднее. Есть, Павел Васильевич, будем считать, что разговора не было.

— И продолжать ревизию, как она шла.

— Успехов.

— До свидания.

Несмотря на стремительно возросший объем работы и информации, Павел Стольников не забывал таких мелочей, как обещание экскурсовода Маши позвонить ему. Но прошел и один, и другой вечер — она не звонила. Не то чтобы она так уж сильно заинтересовала его собой или экскурсией, но просто это был, пожалуй, единственный канал связи с внешним миром. Круг общения ревизоров был замкнутым, хотя и расширялся день ото дня — все больше становилось лиц, причастных к той или иной ревизуемой «позиции», и память уже не удерживала всех фамилий. Но это был один и тот же круг общения, предписанный командировкой и обусловленный ревизией.

В воскресенье вечером Ивашнев решил провести собрание комиссии. Павел отговаривал его: не надо уподобляться Аксакалу, вызывать у «девушек» подозрение, что таким образом руководство контролирует их, ведь могут они хотя бы в воскресенье распоряжаться собой? Но Иван стоял на своем: после ЧП с Бескаравайной, после общего осложнения обстановки нужно повысить бдительность всех работников. К удивлению Стольникова, комиссия собралась быстро, без опозданий, и никто не роптал — наоборот, резервы как бы предвкушали веселый вечер, словно соскучились по общению.

Ивашнев деловито сообщил, что их работа выходит на финишную прямую, некоторые акты проверки у него уже на руках, но вторая половина командировки обещает быть сложнее: предстоит согласовать с руководством управления каждый факт, аргументировать его, а если потребуется — перепроверить, чтобы в итоговый документ вошли лишь бесспорные для обеих сторон, апробированные материалы. Сообщил и о том, что Кондратьева высказала на коллегии недовольство числом ревизоров и сроками командировки. По возможности хотелось бы завершить работу досрочно, выбив этим козырь у ревизуемых. Нужно быть готовыми и к тому, что в последние

дни придется оперативно переключаться на смежные участки, перепроверять уже добытые другими работниками факты. Ничего нового Ивашнев не сказал, но, слушая его, Стольников удивлялся тому, как обстоятельно, четко и солидно говорит Иван, как весомо, убедительно звучат в его устах самые простые, очевидные вещи.

— В этой обстановке,— продолжал Иван,— мы с Павлом Васильевичем и Виталием Степановичем вынуждены были отказаться от всяческих культурных мероприятий для комиссии. Думаю, нет нужды комментировать это решение. Теперь, когда управление всеми силами постарается смягчить или оспорить итоговый акт, любое наше послабление самим себе они могут подать как компрометирующую информацию. Подобные попытки уже были,— многозначительно добавил он, и эта многозначительность, заменявшая доказательства, почему-то особенно подействовала на всех. Ивашнев попросил каждого участника ревизии вкратце доложить об обстановке на своем участке, удовлетворенно кивал и записывал, похвалил плодотворную работу Дарьи Степановны и Товарища Зоси и призвал всех к большей осмотрительности — возможны провокации.

В конце совещания Стольникову из рук в руки передали листок бумаги. Там напротив каждой фамилии ревизора значились: сапоги австрийские зимние, женские, колбаса с/копченая, кроссовки «Адидас», плащ импортный женский, туфли женские импортные, куртка синтетическая, конфеты шоколадные ассорти, диски западных ансамблей... Это был тот самый «список дефицита», который лукаво предложил составить Михайленко. До конца страницы перечислялись спортивные костюмы, складные велосипеды и особенно много продовольственных товаров. Стольников положил список перед Ивашневым.

— Дарья Степановна, вы хотели бы кроссовки «Адидас» и спортивный костюм «Олимпийский»? Вы что, по утрам бегаєте? — спросил Иван.

— Сыну...

— Это вы говорили, что вскрыли вчера факт списания сорока спортивных костюмов вместо тридцати пяти положенных? И хотите, чтобы управление списало теперь не сорок, а сорок один костюм? — с этими словами Ивашнев безжалостно вычеркнул и костюм, и кроссовки. — А у вас в Нечерноземье что, по-прежнему с колбасой перебой? Продовольственную программу выполняйте лучше. И почему пять килограммов, а не пятнадцать, не двадцать? Брали бы уж на все свое управление сразу.

Через несколько минут от списка не осталось ни строки. Вера, заказавшая плащ, напомнила Ивашневу, что начались дожди и плащ не роскошь, а необходимость. Но Иван насмешливо осведомился: почему от сырости предохраняют только импортные плащи? Все приняли отказ вполне спокойно, нет так нет, на нет и суда нет. Павел знал, что умение отказывать убедительно и необходимо — профессиональная черта аппарата, за такой отказ больше уважают. Ивашнев пользовался этим правилом умело.

Видно было, что никому, кроме Калачева, не хочется расходиться. Виталий Степанович церемонно пожал всем руки, каждый раз высоко поднимая свой правый локоть, и уехал первым. Ивашнев поблагодарил за участие в совещании, но несколько «девушек» тем не менее остались. Вера пригласила оставшихся к себе послушать музыку, она взяла в командировку кассетник.

— Назначаем Веру Павловну министром культуры! — весело провозгласил Иван. — Будешь, Вера, поднимать дух комиссии во время отсутствия культурной программы.

Как и следовало ожидать, «девушки» приготовили легкое угощение: яблоки, конфеты, чай. Хозяйка внимательно взглянула на Павла, включила магнитофон — печально-горький голос Вахтанга Кикабидзе с акцентом запел:

Просто встретились два одиночества,
Развели у дороги костер...

Ивашнев попросил понять его правильно: он знает, что дефицит — следствие провалов экономики, ну не развита у нас группа «Б»... Но отовариваться по такому списку здесь — нет, лучше воздержаться. И привел пример, как в одной командировке начфо управления сделал широкий жест: сообщил всем ревизорам пароль и счет на междугородные переговоры. А на подведении итогов огласил, что комиссия на личные разговоры с семьями, родственниками, друзьями и министерством истратила 600 рублей за счет управления. Злоупотребление служебным положением можно «пришить» комиссии и за дефицит, купленный на кровные наличные.

Появились карты, но играть никому не хотелось, а Павел рассказал историю возникновения карт: в Древнем Египте у жрецов были священные Дощечки Судьбы под названием «карот» — отсюда и «карты». Когда крестоносцы покорили Египет, они приспособили дощечки для азартных игр, упростили обращение с ними, сократили их количество — и весь мир получил игральные карты. Стольников давно заметил, что внимательнее всего его слушают, когда он рассказывает о таких вот исторических фактах, а знал он их огромное количество. «Может, стоило заняться историей? — думал иногда Павел. — Учил бы ребятишек в школе». Валя попросила рассказать что-нибудь связанное с деньгами, и Павел вспомнил, что впервые в мире девальвацию денежной единицы произвел древнеримский император Септимий Север: в золотые деньги распорядился добавлять серебро, а в серебро — медь. Поразительно чутье рынка на изменение покупательной способности валюты! — даже безграмотные германцы, селившиеся по границам империи, быстро утратили доверие к обесцененным монетам. Это было, если не изменяет память, в VI веке до нашей эры, стало быть, человечество уже 2500 лет занимается обесцениванием своих валют... Все старо, как мир.

Хозяйке вечера хотелось танцевать, но ее призыв не нашел поддержки: Ивашнев казался сонным и задумчи-

вым, у Павла на душе кошки скребли — не выходило из головы наглое предложение Михайленко. Когда Ивашнев поблагодарил за угощение и поднялся, Павел тоже попрощался.

— Торóпитесь уходить, — укоризненно заметила Вера ему одному, Павел лишь развел руками.

В коридоре Иван сказал:

— Кажется, Вера не в твоём вкусе. Эти манеры, эти карты, эти песни...

— Ты прав, я как будто дома у нее побывал, и такая НЕ МОЯ жизнь! Я не ханжа, но считаю, что заводить шашни в командировках бессмысленно — всем ясно, что это не любовь, а нечто вынужденное, случайное и потому поддельное. Говорят, женщина на корабле к несчастью, я бы всерьез заметил: так и женщина в командировке. А подобная женская активность только жалость вызывает. Но всех не пожалеешь.

— А вот на эти слова обращаю твое внимание. Не ты ли призывал быть добрее к Ирине Зябликовой? Не ты ли говорил о суровости к Бескаравайной? А сегодня пусть и не высказал вслух, но подумал же, что я жестоко лишил мадам-с столь милого сердцу ширпотреба? Думал! Нет, Паш, всех не пожалеешь!

В номере Иван, вовсе уже не сонный, решил смотреть футбольное обозрение, но события последних дней не давали покоя, и оба снова и снова возвращались к ним. Иван отметил, что Валя надулась на него из-за отъезда Бескаравайной. И вообще обстановка настолько осложнилась...

— Да, о повышенной безопасности позаботиться не грех. Ведь ты, Ваня, рискуешь семьей, репутацией, карьерой...

— А что? — прервал его Ивашнев. — Это вызывало у кого-то осложнения? В инстанцию пришла жалоба? Ты последовательно проводишь эту мысль, начиная с намека, что у меня не было морального права судить Бескаравайную. Давай объяснимся. В последние десятилетия на этот

вопрос стали смотреть значительно правильнее — как на личное дело каждого. А вдруг это любовь? Я не хочу разрушать семью, ни Валину, ни свою. Все мы свободные взрослые люди и, вступая в брак, не подписывали обязательства отныне не смотреть ни на одну женщину. Пусть мне сначала докажут, что я не люблю ее или Валя не любит меня, а тогда уж судят.

— Да, в последнее время никто публично, скажем, на месткоме, не судит, не обвиняет. Все проще. Кто-то где-то шепнет Аксакалу: да у Ивашнева с семьей там что-то... И твоя кандидатура безапелляционно снята. А ты даже не узнаешь, на какой арбузной корочке поскользнулся и кто тебе ее подложил.

И снова они заговорили о ревизии.

Павел считал, что все эти люксы в командировках, машины к подъезду, культурные программы, «уровень приема», таблички на дверях кабинетов, бесплатное пиво в холодильнике и свежая пресса в номер — не что иное, как прозрачная попытка — не подкупить, нет! — расслабить ревизоров мелкими благами и удобствами.

— Сейчас у нас еще хватает силы воли отказаться и от дефицита, и от кресла замзава, сейчас мы платим за пиво и за билет в театр. А ведь воля, как и физические силы, с годами может ослабеть... Что, если часть той грязи, какую мы раскапываем, невольно и, самое главное, незаметно въестся в поры души?! — спрашивал Павел. Но Иван возражал:

— У нас документальная ревизия, Пашенька, документальная! Никто не сможет проверить соответствие каждой бумажки вещественно, как наличие каждого стула при инвентаризации. Мы проверяем только документы, но какой бы уровень приема мне ни оказали — извините, что касается дела, тут я не Ваня Ивашнев. Меня можно критиковать, осуждать мои личные недостатки, но тут за моими действиями стоят миллионы народных рублей. И если я буду сомневаться, жалеть, раздумывать или вспоминать, сколько на мою командировку

ревизуемые денег потратили, причем не своих денег! — то всякие глисты общества сожрут эти миллионы и потянутся к миллиардам. Они ненасытны. Они не сомневаются. Да, боятся, потеют по ночам, давятся куском краденым, сны им кошмарные снятся — но это не мешает им хапать! Но ты прав, Пашенька, кое-кто из наших работников, может, и клюнул на их приманки. Вот тебе два штриха из жизни Виталика Калачева, чтоб ты лучше представлял себе, с кем в одной командировке трудишься. Штрих первый. Позавчера он приезжает в управление с единственной целью: позвонить домой бесплатно, с моего телефона, за счет управления, потому что Михайленко при всем при том выделил нам для переговоров лишь один телефон, с остальных просто не принимают заказов на АТС. А теперь штрих второй. Паша, реши простую задачку: наш сотрудник купил белую «Волгу» ГАЗ-24, поездил годик и продал, а сейчас у него оранжевые «Жигули». Вопрос: сколько у него денег па сберкнижке?

— Не меньше десяти тысяч. А при чем тут Калачев?

— Не меньше двадцати тысяч, во-первых. А во-вторых, белая «Волга» принадлежала именно Калачеву. Так что я не удивлюсь, если вся наша предварительная информация о гостинице управления вдруг окажется не соответствующей действительности и Виталий отрапортует в своем акте, что навел там просто идеальный порядок. Такой идеальный, что ни одного серьезного критического факта не окажется. Я не удивлюсь. Ведь он едет через весь город, чтобы сэкономить рубль командировочных на звонке жене и сыну!

— А знаешь, Вань, испорченные мы люди. Из года в год видим только негатив, нарушения, недочеты, недостатки. Но наше зрение ведь только и пацелено на негатив. Если мы с тобой привезем обобщение опыта работы, то вместо нас пошлют другую комиссию, которая уж сыщет недостатки!

— Вот именно. Наша работа тем и отличается, что

положительное в деятельности управлений нас мало интересует. Два абзаца преамбулы о том, какие статьи бюджета исполнялись правильно, ну, сверхплановый рост доходов отметим, а потом двадцать страниц нарушений. Отдельных, конечно, но нарушений. Надо задуматься и о другом: ведь, чтобы вскрыть нарушение, сделанное опытным начфо, разнюхать искусно замеченные следы, мы с тобой должны влезть в шкуру этого начфо, как милиционер или следователь влезает в шкуру преступника. Мы должны играть по правилам Михайленко и мыслить по его логике. И неизбежно, Паша, у некоторых блюстителей законности вырабатывается мышление преступника. Не потому ли начинается кое у кого перерождение изнутри? И вот уже ревизор грамотно проделывает такие операции, как «Волга» — «Жигули».

— Ну, насчет мышления преступника и блюстителя ты упрощаешь, — усомнился Павел. — Тут связи сложнее.

— Почему же «упрощаю»? С мышлением учительницы музыкальной школы ты преступника за руку нехватишь и в тупик не загонишь. А разве не нужно владеть обманными приемами, чтобы его разоружить? Посмотри-ка на наши с тобой совместные действия с точки зрения общей, а не профессиональной этики и морали: мы снимаем копию сухаревского акта, ставим на нем очень похожую визу — да мы же занимаемся подделкой документа, Паша! Дальше кладем этот акт в выделенный нам сейф управления и выжидаем, а может, и толкаем товарища начфо на должностное преступление, соблазняем его украсть у нас поддельный документ! Так что мы не ангелы, ведь это наши с тобой методы. Ты заверяешь Михайленко, что вы беседуете тет-а-тет, — и включаешь диктофон. Дьявольские методы, Пашенька! Но если ты придешь к нему и честно-благородно спросишь, куда ты, гад такой, девал продукты с борта теплохода, он тебе предъявит липу похлеще нашей! Да, мы раскапываем из года в год много дряни, и часть этой дряни, ты прав, прили-

пает к нам невольно. Не как у Калачева, но хотя бы в методах работы, мышлении, в отношении к людям, в психологии.

Из года в год ездят по стране многочисленные комиссии,— продолжал он задумчиво,— месяцами ревизуют, вскрывают, возвращают государству миллионы. Тургенев считает эти поездки рентабельными: израсходовали 20 тысяч командировочных, зато вернули 200 тысяч. Но никто не задумался над простым вопросом: почему, скажем, 249 управлений страны более или менее точно копируют вскрытые нами ошибки одного-единственного управления? Значит, эти ошибки типичны? Из года в год я ловлю многих на трех-четырех «позициях», которые выявил эмпирически. И что? Пресек в одном, другом, ну, в десятом управлении. Паша, нам не хватит жизни объехать их все и всюду навести порядок!

— А ты не думал, почему Аксакал даже не попытается пресечь подобные нарушения по всей стране или почему нам не поручит их проанализировать? И почему ты, Иван, как принципиальный боец перестройки, занимаешься «ловлей блох», вместо того чтобы обсыпать их всех дустом одним махом?

— Да, можно ставить вопрос об эффективности наших командировок, как ставит его Аксакал, с его морально устаревшим мышлением. Ведь он мыслит так: сколько человеко-дней его работники провели в командировках? Почему Ивашнев ездил не 220, а только 180 дней? Это же формализм, Пашенька! А можно и нужно ставить вопрос иначе: об эффективности наших законов. У нас же приняты очень правильные законы, приказы, инструкции, постановления, распоряжения... Работники на местах теперь не колхозные счетоводы, щелкающие костяшками, а финансисты с высшим образованием. Аксакалу просто не нужно это, ему бы еще посидеть лет пять, получая такой оклад вместо пенсии! А я — если мне поручат — охотно подготовил бы записку о том, почему вообще возможны в нашем ведомстве разнообразные финансовые

злоупотребления. За документальным материалом ездить не придется — достаточно десятка наших ревизий.

Некоторое время они молча смотрели любимый Ивашевым футбол, и Павел порадовался внутренне, что их разговор не преследует никакой конкретной цели — уже устал от преднамеренных бесед, и радовало, что просто можно обменяться мнениями, не поглядывая на часы.

— Значит, ты бы охотно выполнил поручение,— продолжал размышлять Стольников,— ответить на тот самый вопрос: а почему же люди деньги воруют?

— Такие «детские» вопросы — самые сложные. Вот одна сотая ответа: да потому, что их оклады не приведены в соответствие с ценами. У проклятого капиталиста не воруют потому, что, имея высокий прожиточный уровень и видя армию безработных, любой дорожит первым и страшится второго. Но это не наш путь. Еще одна сотая ответа: мы слишком гуманны в применении законов. Мы применяем исключительную меру наказания, лишь когда сумма, скажем, взяток, перевалила за миллион. А если 999 тысяч, то будет жить. Слесарь-сантехник волочет домой душевую установку, его задерживают — и что? У капиталиста он тут же получит расчет, без всяких профсоюзов, КЗОТа и производственных характеристик. Мы же должны воспитывать. И почему-то стесняемся назвать вором рабочего. Как знать, может, для воспитательных целей гораздо полезнее уволить этого слесаря и в трудовой книжке написать: за воровство! Впредь не потащит!

— Ты ортодокс,— возразил Павел.— Опять тебя тянет на санкции. А как же быть с лозунгом «Все во имя человека»?

— Какой гол! — закричал тут Иван, подскакивая к телевизору. Но и гол не отвлек его от мысли: — Во имя человека, брат, а не во имя жулика! Я однажды подсчитал, что за годы своей работы здесь добился привлечения к уголовной ответственности семнадцати человек. Семнадцать — это много или мало? Ты скажешь: много. А я

ответу: мало! Ну, перевоспитывай миллионера-спекулянта! Этого господина Корейко расстреливать надо, это враг, потому что при наших общественных законах, при распределении по труду честно заработать миллион на производстве невозможно. А мы дали ему возможность легализовать нетрудовые доходы, вкладывать их в кооперативы... Нет, для блага народа надо изъять деньги у хапуг и вернуть их тем, кому они по праву принадлежат,— народу. Жалости у меня нет и не может быть еще и потому, что каждое, пусть мелкое финансовое нарушение я воспринимаю как прямую идеологическую диверсию. Дело не в деньгах — на ревизии даже наличные не воспринимаются как деньги — это условный знак, сальдо, просроченные взаиморасчеты. Если исходить из высоких принципов, то любое финансовое нарушение — это отток полноценной крови из большого народнохозяйственного организма, отток энергии народа! И так же, как твои германцы не могли схватить за руку императора Севера, подделавшего монеты, но поняли, догадались по законам стихийного рынка, что валюта обесценена, точно так же и рабочий любого завода понимает, что огромные суммы, которыми некий начфо распоряжается от имени народа и на благо народа, в действительности окольными путями уходят на личные нужды этих самых начфо...

16

Всю следующую неделю сохранялась напряженная обстановка. Стольников и Ивашнев ожидали новых подвохов или давления на комиссию, работники управления с опаской ждали очередных действий ревизоров. Встречаясь с Михайленко, Павел и Иван держались точно так же, как и раньше,— приветливо улыбались, шутили, решали текущие вопросы. Бескаравайная уехала, передав напоследок, что решение Ивашнева останется на его совести. Вопросы о ее столь экстренном отъезде все же раздались. Сначала главный бухгалтер Зябликова пони-

тересовалась, кому передать запрошенные для Бескаравайной документы, затем бдительная Дарья Степановна спрашивала руководителя, почему же нет Галины Петровны. В обоих случаях Ивашнев справился с ролью. Он умел, особенно когда говорил быстро, сказать мало, но намекнуть о многом, и собеседник обычно лишь догадывался: ему поведали нечто конфиденциальное, но вот что же именно? Валя проводила подругу и заметно дулась на Ивана.

Все эти дни комиссия форсировала ревизию по всем «позициям», стараясь, чтобы это было как можно менее заметно для работников управления. Ивашнев перераспределил обязанности: вместо Павла «Интуристом» занялась Товарищ Зося, хотя никто из членов комиссии не знал об этом. Ивашнев предупредил Зосю, чтобы она не пользовалась служебными машинами — в этом городе действительно хорошо налажен общественный транспорт.

В ведомостях на выплату премий внештатному активу Павел обнаружил 18 повторяющихся фамилий, напротив которых в графе «Роспись в получении» стояли неидентичные подписи. Именно эти активисты получали несколько большие суммы, чем остальные, по 50—60 рублей вместо 20—30. Казалось бы, невелик доход, но когда за три года «подснежники» получили по восемь-десять, а некоторые и по двенадцать премий, то общая сумма стала составлять около десяти тысяч рублей. Стольников скрупулезно собрал данные на этих «внештатников» — среди них были рабочие, матрос, водитель трамвая, медсестра, продавец. Отыскал их адреса и телефоны. Чтобы работники управления не смогли оказать нажим на своих помощников, решили выезжать к ним на рабочие места, а не вызывать к себе в управление или гостиницу. Предстояла деликатная процедура: важно было, не бросая тень на самое управление, получить письменные доказательства того, что премии не попали в руки тех, чьи фамилии указаны в ведомостях. Как справедливо отметил

Павел, это была уже не документальная ревизия, но именно такая, фактическая проверка могла вооружить ревизоров неопровержимыми данными.

По счастливой случайности Стольников вскрыл первый факт еще до начала встреч с активистами. Один из них, инженер с запоминающейся фамилией Селиханов, вспомнилось Павлу, отвечал на вопросы анкеты. Просмотрев заново всю тысячу, Павел в самом деле нашел анкету Селиханова, где тот указывал, что за три года получил одну премию в размере 25 рублей. Сличил с ведомостями — в девяти из них Селиханову причиталось 480 рублей, но ни разу не начислялось 25. Было очевидно: управление использует его как почтальона, получил — сдай, а вот тебе за это четвертная на мелкие расходы.

Другая тонкость заключалась в том, что ревизор встретится скорее всего с невиновными людьми, и важно не обидеть их подозрениями. Судя по росписям, поставить их в ведомости мог любой доверенный работник Михайленко. Но коль скоро эти 18 активистов так систематически премируются, они могли хотя бы знать об этом, — что тоже следовало тактично проверить.

Стольников приехал в больницу, к медсестре Виолетте Никитиной. Она выглядела встревоженно, еще по телефону задавала множество вопросов, и Павел начал беседу с нею с того, что пояснил: лично к вам, Виолетта, нет никаких претензий, речь идет только о некоторых небрежностях в оформлении документов управления, просто формальность. Такое объяснение обычно удовлетворяло всех. Никитиной было выписано 12 премий на сумму 600 рублей. Павел сначала расспросил ее о жизни, общественной работе, пошутил и, когда увидел, что напряженность снята, начал задавать простые вопросы. Он знал, что именно элементарные вопросы, дружеский или шутливый тон чаще всего приносят лучшие результаты. Вета сообщила, что получила две премии — за подготовку слета передовиков и за участие в конкурсе «А ну-ка, девушки!» на местной студии телевидения. Стольников

польстил ей — предположил, что она стала лауреатом, терпеливо выслушал воспоминания об этом событии и уточнил, в каком месяце ее премировали. На отдельном листе у него были заранее выписаны все суммы и сроки — чтобы не пугать активистов гроссбухом ведомостей. Обе премии Никитина указала точно. О других вознаграждениях не слышала, ничего больше не получала, и никто денег ей не передавал. Удивляясь, что все это имеет для ревизора значение, Виолетта написала на его имя небольшую записку: получила от управления две премии в таких-то размерах, о других суммах ничего не знает. Она и простилась с удивлением на лице: и это все, за чем к ней приезжали? Павел сохранил пока в тайне остальные десять причитавшихся ей премий.

К среде у Стольниково собралось 14 подобных объяснительных записок. Никто из активистов не подозревал о подлинном количестве своих премий, значит, управление пошло на прямую подделку финансовых документов. Это был сильный козырь для ревизоров. Даже если и не удастся найти того, кто ставил фиктивные подписи, налицо главное: большинство премий снова оказалось в руках управления, и средства эти использованы явно не по назначению. Выяснилось и другое: чаще всего Михайленко не затруднял себя дипломатическими процедурами — сообщать, что на ваше имя, мол, выписана премия, но для дела нужно передать ее другому, так что напишите-ка нам доверенность. Гораздо быстрее и проще расписаться в ведомости за этого премированного, и огласки меньше. Это была наглость, рассчитанная на полную безнаказанность и на штампы документальной ревизии. Какому ревизору пришло бы в голову опрашивать активистов, коль скоро суммы в ведомостях полностью соответствуют приказам по управлению и выделенному фонду премиальных?!

Тем временем Ивашнев взял на себя очередную «беспрюгryшную позицию» — командировки. Чтобы не вызывать вопросов, чем интересовался руководитель ко-

миссии, он поручил тихой, незаметной работнице из Смоленской области Кате Мещаниновой подобрать все те отчеты о командировках, при которых не было проездных документов и квитанций об оплате за гостиницу. За три года почти каждый работник управления выезжал в подобные командировки по 15—20 раз, многие поездки были групповыми. Ивашнев выписал на разграфленный лист фамилии, дни и месяцы, названия городов, а затем по плану работы управления проанализировал мероприятия, на которые командировались эти сотрудники. Подготовившись таким образом, Иван Герасимович приступил к любимому занятию — «встречам с народом».

— Это кто к нам пришел? — шутливым тоном спрашивал он вызванного сотрудника управления. — Это боец Герасимук пришел. Здравствуйте, товарищ Герасимук. Ну, рассказывайте, какие жизненные планы и как дошли до жизни такой?

— До какой? — переспрашивал, боязливо улыбаясь, Герасимук.

— Да вот, говорят, на личном транспорте в Киев ездите. У вас что, самолет личный? Нету самолета, так я и думал. А в Новгород на чем, на «Жигулях»? И в Ростов тоже? Ну ладно, в Пензу зайцем смотался, а вот в столицу нашей Родины? Берите ручку, пишите, — и на всякий случай придвигал красную книжечку, которая всегда лежала на его столе во время ревизий, с заранее обведенным абзацем, где говорилось: ревизоры вправе требовать с любого работника управлений письменные объяснения по существу дела.

— Что писать?

— Не заявление — заявлений не принимаем. Пока объяснительную записку: я, такой-то, полученные командировочные средства по командировкам в пункты такие-то передал такому-то по распоряжению начфо Михайленко.

В большинстве случаев этот шутливо-небрежный, но уверенный тон срабатывал лучше бесспорных фактов. По

собственному опыту работы в уральском управлении Ивашнев знал, что порой, особенно к концу года, когда намечалась экономия фонда командировочных, а управлению требовались наличные средства, выписывалось несколько таких командировок, по которым выплачивались лишь суточные. По договоренности на местах удостоверения отмечались в графах «прибыль-убыль», а отчет по командировке с самыми обтекаемыми формулировками визирует любой руководитель управления. Знал и другое: человек, действительно ездивший в командировку, будет и через два года помнить, куда и зачем ездил, с кем встречался, какие вопросы решал. А вот сдавший суточные руководству и «начирикавший» липовый отчет, уже через месяц не вспомнит, что писал в нем. «Всякая ложь живет короткую жизнь», — любил повторять Ивашнев.

— Ну хорошо, в Пензе вы плодотворно потрудились, товарищ Герасимук, охотно верю. А вот что вам понадобилось в Москве, когда там сидел целый ваш коллектив — шесть человек сразу? При чем у них и билеты, и квитанции гостиницы в порядке, а вы, бедолага, и от поезда отстали, и спали на вокзале?

И когда очередной такой работник сознавал, что его уличили, ему оставалось лишь признаться: да, не ездил я в ту командировку, потому и задания и отчета по ней не помню, а суточные сдал на сувениры для каких-то высоких гостей...

— Пишите! — придвигал бумагу Ивашнев.

На первый взгляд жалкие гроши — 13, 18, 26 рублей — складывались в сотни и тысячи, и когда объяснительные записки составили объемистую рукопись, Иван попросил Катю Мещанинову «пробить» на микрокалькуляторе итоговую сумму и заготовить начет на ту же сумму — незаконно выплаченные деньги должны быть возвращены в кассу!

В то же самое время другие ревизоры высчитывали излишний пробег автотранспорта управления, перерасход бензина, незаконно потраченные средства на ремонт авто-

машин у частных лиц, а не на государственной станции технического обслуживания; одновременно с этим вскрывались все новые факты неправильного списания мебели, инвентаря; перерасходы на прием иностранных делегаций и прочие, крупные и мелкие прегрешения финансового отдела, узаконенные руководством управления.

Валя Пустовойтова сняла остаток кассы и пришла к Ивашневу с новым фактом: за кассиром управления числится пять тысяч рублей, взятых под отчет в начале года и не возвращенных до сих пор. Два года назад эта же кассир брала тысячу, но внесла, год назад — полторы, но тоже внесла, теперь уже пять... «А какая разница между кассой и сберкассой?» — иронично спросил Ивашнев. Дарья Степановна, лучась морщинистым лицом, подтвердила документами свое сообщение о том, что управление, снарядив спортивную делегацию на международные соревнования, списало 40 спортивных костюмов вместо 35 по количеству выезжавших спортсменов. Вера зашла к руководителю с наивным вопросом: может ли группа из десяти иностранцев, принимаемая управлением, съедать ежедневно по 260 пирожных? А по документам, они не только уписывали по 26 пирожных на брата, но и записывали их таким же количеством бутылок пепси-колы...

Конечно, деятельность этого управления состояла не только из ошибок, нарушений, злоупотреблений. Большинство финансовых операций, платежей, взаиморасчетов, исполнение годового бюджета велись здесь правильно. Но ревизию в первую очередь интересовали, понятно, нарушения, крупные и мелкие, тщательно замаскированные и смехотворно глупые, как в случае с этими злосчастными пирожными. И в других областях страны работники главка вылавливали порой анекдотичные факты, которые невозможно было объяснить ничем, кроме спешки и небрежности. Никто из работников управления, от простого бухгалтера до начфо, просто не удосужился разделить 260 пирожных на 10 туристов. В другое время, в иной комиссии Ивашнев посмеялся бы вместе с ревизуемыми

над этим казусом, и все. Теперь же, после наглой попытки Михайленко «повысить» Стольникову, любой факт, даже самый мелкий в денежном исчислении, брался на учет. А в сейфе кабинета лежал, ожидая своего часа, такой правдоподобный акт о проведении круиза с визой Сухарева, что и сам Сухарев, вероятно, не отличил бы эту копию от подлинника.

17

Через три дня произошли два события одновременно: утром, открыв сейф своим ключом, Ивашнев увидел, что акт о круизе исчез. Причем сейф, как и вчера, был безупречно опечатан красной восковой печатью. Иван Герасимович тщательно перебрал все бумаги, убедился, что этот лист не мог подколоться под скрепку другого документа, и вызвал Стольникову. Друзья обменялись красноречивыми взглядами. Эксперимент удался, Михайленко клюнул на обманку. Ясно стало, что с самого начала ревизии у начфо был второй ключ от этого сейфа. Вот почему Ивашнев клал туда только третьестепенные бумаги, а всю ценную информацию возил ежедневно из гостиницы и в гостиницу в «дипломате». Еще одно подозрение Ивана подтвердилось, еще один упрек Павла в подозрительности оказался несостоятельным. Михайленко не побрезгует ничем, даже кражей документов.

И тут раздался звонок междугородной. Звонил Тургенев. Как обычно, он поинтересовался ходом ревизии, и, как обычно, Ивашнев ответил сдержанно: «Эта позиция приближается к завершению, Калачев тоже заканчивает работу, обнаружены некоторые нарушения». Он опасался говорить подробнее по этому телефону, как знать, может, в соседнем кабинете установлен параллельный аппарат?

— А чем занимается Бескаравайная?

— Бескаравайную пришлось экстренно отпустить. Подробности я расскажу при встрече.

— А чем занимается Стольников? Мне тут докладывают, что вы там далеко вышли за пределы деятельности управления — уже и пароходство ревизуете, и «Интурист»...

— Стольников занимался совместным мероприятием управления и морского пароходства, другие организации принимали долевое участие. Теперь он заканчивает анализ премий внештатному активу.

— Пускай быстрее заканчивает и возвращается — от нас требуется работник в составе бригады народного контроля в Чувашию.

— Но, Александр Петрович, за ним столько позиций!

— Передайте их Калачеву. Нам справедливо указывают, что три наших ответственных работника для такой ревизии — это много.

— Я не настаивал на усилении нашей комиссии товарищем Калачевым. Кроме того, Стольников не сможет выехать раньше, чем через неделю: ему еще нужно написать справку и обговорить ее с руководством управления.

— Даю на все три дня! — Аксакал был неумолим.

Павел догадывался о сути разговора по одним только репликам Ивашнева. Значит?.. Значит, угроза начфо: «А то и отозвать тебя могут» — не была пустой, не была гиперболой. Что же, выходит, и первое предложение — о повышении — было столь же реальным? Но чего же стоит тогда вся их работа, если местный начфо действительно способен повлиять и на сроки командировки, и на «перспективы»?

Иван в точности пересказал Павлу разговор с Тургеевым. Лицо его было необыкновенно выразительно в эти минуты: какой удар в спину!

— Придется сворачивать работу и ехать, — удрученно произнес Павел. Он ощутил себя почему-то провинившимся и уже отрезанным от этой комиссии. Решения руководства в аппарате не обсуждались, и не было ни

малейшей надежды уговорить Аксакала или оттянуть срок возвращения.

— Да, придется. Видно, ты для Кондратьевых-Михайленко как кость в горле, вот и приложили усилия... Ну что же, значит, хорошо поработал, Пашенька! Давай-ка мы с тобой в ближайшие дни напряжемся так, чтобы этот начфо никогда уже не всплыл, ни с чьей помощью! Продырявим ему понтоны!

«А все-таки мы по-разному воспринимаем этот звонок,— устало подумал Павел.— Я где-то допустил ошибку? Что-то сделал не так? Я недооценил реальную власть Михайленко, его угрозы и слова о том, что все у него друзья и снять его невозможно. Оказалось, это не похвальба. Нужно было вести ревизию втройне осторожно, не поддаваться азарту».

— Не казись,— решительно заявил Иван, словно угадав его мысли.— Твоей вины или недоработки не вижу.

Они решили прямо сейчас вместе подвести итоги проделанной Павлом работы, написать небольшой, но убийственный акт и завтра обговорить его с руководством управления. Чего доброго, Аксакал еще попросит Стольников задержаться в этой командировке, пока не будут сняты вопросы по его акту... Тургенев просто перестраховался, не владеет полной информацией, опирается лишь на слова Кондратьевой и не хочет осложнять отношения с ней. Скорее всего он понимает, что к Стольникову не может быть никаких претензий.

Павел писал, Иван подсказывал отдельные формулировки. Завершив раздел об анкетировании и премировании внештатного актива, Стольников поразился тому, насколько мощно все это звучит: «Фактически на каждого активиста было израсходовано по 38 копеек в год, вместо 18 активистов систематически получают премии подставные лица, ставя в ведомостях фиктивные подписи. Беседы с указанными товарищами показали, что о большинстве выписанных на их имя премий никто не был поставлен в известность (объяснительные записки при-

лагаются). Сумма нанесенного ущерба составила 9800 рублей».

— Вверни-ка туда фразочку: «Сложилась порочная практика использования нецелевых средств не по назначению», — надиктовывал Иван. Они обобщили всю практику премирования, и хоть восемь незаконно выплаченных премий аппарату управления раскопал сам Ивашнев, теперь и этот факт лег в документ Стольникова.

Оба ощутили то особое вдохновение, какое известно каждому, кто составлял ответственные служебные документы, — желание как можно короче, яснее и убедительнее изложить многочисленные и вроде бы не поддающиеся описанию факты, желание оттачивать и шлифовать каждую формулировку, резать страницы, переклеивать, менять абзацы местами. Это привело к тому, что вместо отдельного акта ревизии от лица Стольникова, записки, похожей больше на отчет о командировке, под пером все четче вырисовывался общий итоговый документ комиссии. Когда первые десять страниц были готовы, Иван, не доверяя машинисткам управления, которые наверняка заложили бы дополнительный экземпляр для руководства, пригласил в кабинет Валию, она села за портативную пишущую машину и медленно, но аккуратно стала перепечатывать акт. «Ого! Ничего себе! Ну, Пал Васильич!» — время от времени одобрительно восклицала Валя. Описав вкратце эпизод с рестораном «Турист» (копии счетов, приказа директора, приказа о снятии директора и акта о проверке ресторана силами ОБХСС прилагаются), друзья перешли к истории с круизом.

На следующий день был готов черновой вариант акта. В финале истории с теплоходом оставался прочерк, который успешно заполнила Товарищ Зося — она привезла из «Интуриста» документ, неумолимо подтверждающий, что продовольственные товары, полученные с борта теплохода, были переданы материально ответственному лицу, работнику управления П. Г. Огородникову

по доверенности, подписанной В. М. Михайленко. Начфо и тут не утруждал себя процедурами: продукты были получены напрямую, без «перевалочных баз». Чтобы поставить последнюю точку в этом деле, Ивашнев вызвал утром на беседу Павла Георгиевича Огородникова. Они уже не раз видели этого пожилого работника, не по летам модно одетого: на нем был элегантный импортный костюм с искрой, мягкие туфли, он был сильно надушен и так безупречно выбрит, словно забота о своем внешнем виде составляла главную цель его жизни. Иван припомнил, что, знакомя комиссию с работниками управления, начфо представил Огородникова как ветерана войны и труда.

Когда Павел Георгиевич вошел, воздух кабинета наполнился специфическим ароматом одеколона «Диор».

— Вызывали? Слушаю,— важно произнес Огородников.

— Здравствуйте, Павел Георгиевич, мы пригласили вас выяснить историю одного документа, присаживайтесь.

Ивашнев зачитал справку «Интуриста», не выпуская ее из рук, и осведомился, с каких это пор «Интурист» стал вдруг снабжать управление продуктами питания? И на какие такие мероприятия они использованы?

— А вы, молодые люди, поставили в известность товарища Михайленко о том, что вызываете меня? — спокойно начал Огородников, настолько спокойно, что ни Ивашнев, ни Стольников не заметили в его тоне никаких встревоженных нот.— Я выполнял его распоряжение, и прежде чем вызывать... Это что, следствие? Допрос? А вы имеете право на допрос? А вы видели, как расстреливали? А вы лежали без кислорода на грунте, в подлодке, на которую сбрасывают пятьдесят тонн глубинных бомб в час?! По четкому немецкому графику?!

Друзья изумленно переглянулись. Тирана Огородникова, начатая так обманчиво-спокойно, завершилась на крике. Похоже, он провоцирует скандалчик, чтобы уп-

рекнуть потом ревизоров в неэтичном обращении с ветераном.

— Одну минуту, Павел Георгиевич. Здесь не следствие и не допрос — здесь ревизия. Для вас это новость? Министерство обязало нас проревизовать всю деятельность управления за три года, так что никаких согласий или несогласий Михайленко ни нам, ни вам не требуется, — тихо и быстро разъяснил Ивашнев.

— Я отказываюсь говорить в его отсутствие! — закричал Огородников.

— Давайте условимся не перебивать друг друга, мы внимательно вас выслушали. Во-вторых, я хотел сказать следующее: мы с уважением относимся к вашей боевой молодости и к вашей памяти. У нас есть и своя память. Но сейчас мы с вами люди должностные. Давайте-ка вернемся к делу и поговорим вот об этих документах.

— Я как подчиненный без приказа начальства ни о чем говорить с вами не буду, — тоскливым голосом отвечал Павел Георгиевич.

— Павел Васильич, будь добр, кликни сюда начфо. Пусть займется производственной дисциплиной и соблюдением субординации. А то товарищ заведующий хозяйством, кажется, не понимает, товарищу надо объяснить.

Вскоре вошел Михайленко, пожал всем руки, бодро осведомился, какие возникли трудности. Иван Герасимович ввел его в курс дела.

— Герасимович, а ведь эта история яйца выеденного не стоит, — беспечно начал начфо. — Пароходство сорвало нам круиз и компенсировало перечисленные средства таким образом. Разве есть документ о том, что круиз состоялся?

— Есть. За подписью Сухарева.

— Я о таком документе впервые слышу! Хотелось бы взглянуть.

Ивашнев давно предвкушал этот момент. Он медленно раскрыл «дипломат» и вынул оттуда акт морского пароходства. Пояснил, что копия этого документа таинст-

венно исчезла из выделенного для комиссии сейфа. Но лишь копия, а подлинник у него в руках. Михайленко не смутился, признавая то, что минутой раньше отрицал:

— Сухарева неправильно информировали, и он прислал на мое имя просьбу считать этот акт недействительным. Я вам ее покажу. Так что это уже наше дело, как рассчитываться с паромом: возвратом перечисленных средств, продуктами или услугами.

— А как вы думаете рассчитываться с теми двумя организациями, которые оплатили этот круиз? — осведомился Павел. — Пока что вы им, судя по документам, ничего не возвращали. А уж скоро год исполнится...

— Что, кто-то в обиде, настаивает на платеже? — поднял брови Михайленко, явно копируя ивашневские обороты и манеры.

— Ты извини, Михалыч, мою неопытность, — подхватил Иван, — но я что-то впервые слышу о таком виде взаиморасчета, как оплата натурой. Может, вы тут уже на трудодни перешли и отовариваете их, как когда-то в колхозах? Но, видимо, эти ликеро-водочные изделия оприходованы на вашем складе? Пусть мне принесут карточки складского учета... — ласково язвил Ивашнев.

— Я отказываюсь давать показаниям этим... этим... молодым людям! — закричал тут Огородников.

— Выбирайте выражения! — предостерег Ивашнев. — Мы руководители этой комиссии, а «молодых людей» пошлите на улице.

— Ну, дело тут уголовное, — как можно спокойнее продолжал Стольников. — Так что мы передаем его в прокуратуру.

Ивашнев тут же подхватил его слова:

— Да, если карточек складского учета вы предъявить не можете, то состав должностного преступления налицо. Так что, Павел Георгиевич, приберегите свои демонстрации протеста для следователей. Там вам и расскажут, что такое допрос, а что — ревизия министерства. Мы вас больше не задерживаем.

— Э, Георгиевич, — выдавил тут Михайленко. — Напиши им объяснительную, как все было...

— А Виктору Михалычу мы бы предложили ознакомиться с проектом заключительного акта.

— Досрочно? Ай, молодцы, — фальшиво засмеялся Михайленко.

Все эти дни и недели он, конечно, только и думал об итоговом документе, но увидеть его сейчас было для него самой большой неожиданностью. Пригласил в свой кабинет, который мог сравниться разве что с апартаментами начальника управления. Замаскированная дверь в комнату отдыха, кондиционер, селектор, пять телефонных аппаратов, ковер, мебельная стенка, телевизор, вентилятор, сувениры на полках — все говорило о том, что роль начальника финансового отдела здесь непомерно раздута.

Читая, Михайленко ставил на полях точки красным карандашом.

— Да-а! — воскликнул он, откидываясь в кресле. — Да, ребята, впервые за двадцать лет читаю такой шедевр. Или я чего не понимаю, или у вас смена кадров вызвала такие перемены? Могу, к слову, показать акт предыдущей ревизии. Что вы! Наш опыт обобщать надо по тому акту!

— Он у нас имеется. И мы отметили все те позиции предыдущей ревизии, которые не выполнены вами и сегодня. Кстати, ваши махинации с премиями и командировками за три года не стали тоньше.

— Нет, Герасимович, серьезно: тут у вас только одно светлое слово — «Акт». Как мы о вас ни заботились, а все же не углядели. И где вы достали столько черной краски, ума не приложу!

— А ты приложи, Михалыч. И быстро поймешь, что, несмотря на твои ахи-охи, ни одна позиция смягчена нами не будет.

— Но я не подпишу такой акт...

— А ты и не уполномочен его подписывать — ты его только визируешь. Разве было так, чтоб ты не завизировал то, что подписала Кондратьева? А на отдельной бу-

мажке — бога ради! — все свои соображения и возражения парисуй, мы их коллегии и представим. Я популярно излагаю?

— Популярно. Но здесь не приложены документы. Где эти объяснительные внештатников? Выписка из судебного журнала?..

— Да, их пока нет, и появятся они в самый последний момент, в день подведения итогов работы комиссии. А то, Михалыч, работники у нас какие-то небрежные подобрались — из опечатанных сейфов бумажки улетают! — добивал Ивашнев. Михайленко смолчал. Снова вчитывался в машинописные строчки, поинтересовался: где же печатали? Машбюро, насколько он знает, такого документа не получало... Осведомился, можно ли показывать акт Кондратьевой или же это «болванка», пробный черновик?

— Можно показать, — взглянув на Павла, разрешил Ивашнев. — Пометка «проект» и отсутствие — пока — наших подписей не делают акт официальным документом. Пусть ознакомится в предварительном порядке, чтобы знать перспективы.

— Ну, спасибо, ребята, славно потрудились, на весь Союз ославили! Но ведь и Кондратьева не подпишет такого акта!

— Правильно, Витя! Сначала она должна принять меры, а уж потом подписывать. Это уж как водится... Когда мы ей подадим не проект, а документ со всеми приложениями и подписями — тогда и завизирует, — в интонации Ивашнева, внешне предельно дружелюбной, недвусмысленно проскальзывала угроза.

— Не со всеми приложениями, — поправил Стольников. — Два документа мы передаем в прокуратуру.

В гостинице, перечитывая акт, Иван восхищенно цокал языком. Какие золотые факты! Какой шедевр из в а я л и! Как формулировки о т л у д и л и!

— Эх, эту бы нашу энергию — да в мирных целях! — заметил Павел. — Тебе не кажется, что мы только тем и занимаемся, что мечем бисер?..

— Вообще-то, я бы нашел себе в этой жизни более эффективное применение, чем мерить длину полотенца, — отвечал Ивашнев.

— Да, мы об этом говорили: в прокуратуре тебе надо работать. Но знаешь, Ваня, ты просидишь в аппарате дольше Калачева. Правда, совсем по иной причине.

— По какой же?

— Ты представь, как Тургенев подает руководству добытые нами материалы. Несет наверх в клюве факт Ивашнева, но вовсе не называет там фамилии Ивашнева. И стрижет лавры. Аксакал питается нашим интеллектом, и ты ему нужен как донор интеллекта, понимаешь?

— Никогда не настаивал на своем авторстве, но звучит обидно: донор интеллекта!

Они редактировали документ до позднего вечера, когда вдруг, без предварительного звонка, в гостиницу приехали Михайленко и Зябликова. Лицо начфо впервые за все дни ревизии было растерянным, глаза бегали, он то и дело ежился, словно под одежду попала стеклянная вата. Ирина Николаевна была бледна, глаза заплаканные. Оба представляли собой жалкое зрелище.

— Чем обязаны?.. — начал было Иван, но Михайленко оборвал всякие вежливые формулы:

— В общем, так, ребята! Кондратьева такой акт не подпишет. Только что прочитала и послала нас к вам: делайте что хотите, но акт должен быть смягчен.

— И что же вы хотите с нами сделать? — усмехнулся Иван.

— Не знаю, — признался Михайленко, и обнаружилось, что он уже выпил.

— Нам было сказано, чтобы без другого акта на работу не возвращались, — добавила Зябликова, не догадываясь, что этими словами выдаст себя и Михайленко с головой.

Ивашнев развел руками:

— Трудоустройством вашим не нам заниматься.

— То есть нам предлагают умолчать о каких-то фактах, я правильно понимаю? — холодно спросил Стольников.

— В работе управления много положительного, это отмечала и предыдущая ваша ревизия! — решительно заявила Зябликова.

— Управления или же финансового отдела? — осадил ее Ивашнев. — К тому же мы тщательно перечислили все недостатки, которые отмечались три года назад и не исправлены вами до сих пор.

— И тем не менее констатирующая часть должна быть расширена. Кроме того, акт чересчур эмоционален... Такие приговоры на каждом шагу!

— Хорошо, эмоции мы можем снять, пусть факты сами говорят за себя. Но предупредите Кондратьеву, что от этого их звучание только усилится.

— И вообще, это не документальная ревизия! Это...

— Да! Это была ревизия по существу. Или вы считаете, если в документах управления нет акта о проведении круиза, то мы так и должны писать в записке: нет самого главного документа?! Нет уж, голубчики, для нас это повод раскрутить всю историю — уж так нас учили. А учили — хорошо! И вообще, сколько лет можно делать вид, что мы верим вашим филькиным грамотам?

«Вот оно! — уверился Павел. — Вот секрет, которого до сих пор не поймут в аппарате: Иван не просто анализирует документы управлений. Всякий свой «жареный факт» Ивашнев выуживает из сопоставления документа с жизнью. Можно просчитать ведомости на выплату премий. А можно устроить перекрестную проверку и «найти» десять тысяч».

— По существу изложенных фактов у Кондратьевой есть возражения? — спросил Стольников.

— Нет, если факты будут подтверждены документально. Но много мелочей...

— Это нам судить, что мелочь, а что не мелочь,— вступил Иван.— Мы можем пойти вам навстречу в одном — смягчим акт тем, что добавим: в ходе ревизии в кассу управления было внесено столько-то тысяч рублей. За незаконные премии штатным работникам, за командировки, незаконно присвоенные премии активистам, и те пять тысяч рублей, что взяла под отчет ваш кассир. Можем смягчить и звучание истории с круизом.

— Да, но...— мялся начфо,— это потребует времени. Это же больше пятидесяти тысяч!

— А я не тороплюсь, я подожду,— улыбнулся Ивашнев недоброй улыбкой.— Меня из командировки пока не отзывают. Но это смягчение формулировок зависит полностью от вас. Правка будет внесена только тогда, когда мне предъявят финансовые документы о том, что суммы внесены полностью и оприходованы.

— Но никто не присваивал этих средств! Может, мы ошиблись, может, нарушили оформление или инструкцию министерства, но никто не украл! — восстала тут Зябликова. Друзья удивленно заметили, что она занимает даже более жесткую позицию, чем Михайленко.— И вообще, я против того, чтобы...

— Ирина Николавна, позвольте вам не позволить! Как это «не украли»?! А где продукты с борта теплохода? А почти десять тысяч премий нештатникам? А командировки? Ничего себе, ошибочки!

Стольников поддержал Ивашпева:

— В противном случае акт вообще не будет нами редактироваться. Более того, мы решили поставить в известность партийные органы об итогах ревизии. Поясню, почему. Вы ведь не просто финансовую махинацию провернули, например, с премиями активистам, а подорвали в их глазах авторитет управления. Эти рабочие и служащие прекрасно понимают, что их премии не в Фонд мира перечислены, а пошли на сувениры для высоких гостей Михайленко.

— Да вы серьезно? — закричал тут начфо.— Да кто

вас уполномочивал?! Нет уж, вы, как говорится, знайте, где меня утверждали — здесь, в местных органах, а где только согласовывали утверждение — у вас, в Москве!

— Вот поэтому мы здесь, в партийных органах, и поставим вопрос о твоей персональной ответственности, — тихо ответил на его крик Ивашнев. — Тогда и посмотрим, все ли у тебя такие уж друзья?

Зябликова села за стол и разрыдалась, Михайленко побагровел так, будто его сию минуту хватит апоплексический удар. Одутловатое лицо показывало сейчас, что тучность его идет от нездоровья, а не от избытка здоровья, как казалось раньше. Он ушел в ванную.

Вскоре жаркий спор разгорелся заново. Из чувства протеста против преждевременного отъезда, продиктованного ему, Павел заговорил резче, чем собирался:

— Иван Герасимович, я не понимаю, у нас что тут происходит? Торговля формулировками?

— Не бери в голову, Пал Васильич, формулировки я беру на себя. Спасибо, брат, мы хорошо поработали. А до отправления твоего поезда остается двадцать минут.

— Да уж, лучше некуда! — вздыхал начфо. — Как танком прошли.

— Мы еще вернемся за подснежниками. Помнишь, Павлуша, этот пароль нашей юности?

— Счастливо тебе тут оставаться и довести это дело...

— Как договорились: до победного!

— Как все неладно, ребята, какая встреча вышла... — причитала Зябликова.

— Что ж, пора и сувениры вручать, — с этими словами Иван снял с холодильника бутылку коньяку и блок «Мальборо». — Прими, Михалыч, в качестве последнего подарка: скоро тебе отвыкать от них придется.

Он всунул «сувениры» Кошкина в объемистый портфель Михайленко. Сухо простившись с «хозяевами», ревизоры отправились на вокзал, к ночному экспресу.

РАССКАЗЫ



УЖИН ВДВОЕМ С ДОЧЕРЬЮ

Среди ста пятидесяти звонков за день этот для меня — самый важный. Должна позвонить дочь. Я стараюсь как можно реже отлучаться, чтобы не пропустить ее звонка. Сослуживцы шутят о «дистанционном управлении детьми», «воспитании по телефону», сетуют на бабушек, которые живут теперь далеко от внуков, — и тоже звонят домой.

Гляжу на телефонный аппарат и думаю, как быстро наши дети освоили все те вещи, что были когда-то нове для родителей: телефон, телевизор, лифт, самолет... Они воспринимают их так, будто все это создано природой и существует веками. А свой городской образ жизни — как единственно возможный.

Ей восемь лет, она живет вполне самостоятельной жизнью, сама, то с классом, то с соседками-подружками ездит в театры, в плавательный бассейн, в спортивную школу, одна уходит и приходит и тщательно выполняет все, что запланировано на день. «Ната,— говорим мы ей утром,— сразу после школы зайдешь в поликлинику, к ортодонту, на обратном пути купишь хлеба, вернешься домой, погуляешь с собакой — и на секцию». Днем она звонит из поликлиники или спортшколы и докладывает, что все выполнено в точности. Меня немного пугает эта ее серьезность и запрограммированность; кажется, будто Натка сидит на уроках, только и думая о том, как бы не перепутать, что, когда и как ей предстоит сделать. По моим подсчетам, мы видимся с ней сорок пять минут в сутки...

А вот и она. Я говорю с ней по телефону и вспоминаю ее фотографию: напряженный лоб, без складок, но напряженный, тревожный, сосредоточенный взгляд, — и мне жаль мою дочь, которой выпало жить в нашем мире, перегруженном хлопотами. Освободить бы ее от всех забот, кроме школы, — жизнь сложна, и трудностей впереди будет много, стоит ли уже сейчас взваливать их на

детей? Стоит. Ведь нельзя держать золотую рыбку в аквариуме, если ей предстоит жить в океане.

— Пап,— говорит она просительно после своего рапорта.

— Да, дока?

— Ты встретишь меня?

— После тренировки? Постараюсь.

— Нет, ты скажи точно, а то меня девочки спросят, с ними я иду или одна?

— Хорошо, Натка, я встречу тебя.

Она издает особый звук радости и вешает трубку. У нее звонкий голосок по телефону, очень родные интонации и легкое грассирование от пластинки, поставленной ортодонтом: новые зубы начали расти криво, натываясь друг на друга, и теперь их выправляют. Представляю, как идет она от поликлиники к дому — в черных модных брюках, шубейке, мохнатой меховой шапке, в которую ее личико вправлено, как в медальон,— идет живо и радостно, по привычке загребая ногами снег то слева, то справа, и все мысли теперь о том часе, когда она увидит вечером, что ее встречает отец.

Я рассчитываю остаток дня так, чтобы не опоздать, не заставлять ее ждать меня в пустом вестибюле. Сколько времени моего детства было потрачено у окна на ожидание родителей, на созерцание ужасающе подробных мелочей — как вода, например, стекает со стекол по тряпичным веревочкам в подвешенную к подоконнику бутылку, или какими зигзагами бродит бездомная собака по улице, а из бумажного репродуктора несется голос диктора, передающего кому-то по слогам: «Шах-те-ры об-лас-ти...» Но, может, и хорошо, думаю я, что в самом раннем детстве время у наших детей не тратится зря. И вообще для понимания своих детей родителям очень важно помнить собственное детство.

И тут же многочисленные дела уносят меня от Натки, забирают всецело, до той минуты, когда увижу ее сбегающей по ступеням из гимнастического зала, в чер-

ном трико и белых чешках. Она кажется тростиночкой, ее стрижка точь-в-точь, как у мамы, и резко выделяется среди косичек и бантов, а ее подруги кажутся мне рыхлыми и неповоротливыми, этакими зыблущимися медузами, хоть я и стараюсь смотреть на дочь критически.

Я подаю ей шубку, беру спортивную сумку, привычно сгибаю локоть — ей ужасно правится идти с отцом под руку, по-взрослому, тогда как другие идут с семенящими рядом бабушками и мамами, у которых в руках авоськи или полиэтиленовые пакеты. Натка немного манерничает, но я даю ей пофорсить перед девчонками.

— Пап, я почти сделала правый шпагат, — радостно докладывает она. — А левый не удастся, я стерла ногу чуть повыше пальцев, и левый пока не удастся.

— Я немного задержался, док, ты извини.

— Ничего. Я ведь знала, что ты придешь. Ты всегда выполняешь обещания.

Подходит переполненный автобус, мы пропускаем его и садимся в троллейбус, поговорить и там не удастся, час «пик», дочь смотрит в окно, суммирует номера билетов — нет ли счастливого? — и по привычке считает остановки, чтобы не пропустить своей. Пассажиров она никогда не разглядывает, по-моему, эта черта взрослых москвичей передалась и детям. Неделю назад Натка сказала мне: а знаешь, почему в метро все читают? — чтобы не смотреть друг на друга.

— Пап, наша следующая! — теребит она меня, и это грустно: даже со мной она как бы одна и боится расслабиться и пропустить остановку.

— А давай проедем дальше! — говорю я, но она не понимает: зачем? И мы запрограммированно выходим на нашей остановке.

— Что мама? — копирует она меня своим вопросом.

— Маму обещают выписать через неделю.

— У...

Пошел снег. Дочь говорит мне: смотри какой снег идет пушистый, правда, хорошо? Дальше мы говорим о

школе, оценках, отношениях с Юлей, которые вчера были прохладными, а сегодня, похоже, вполне нормальной температуры.

— А не купить ли нам печенья к чаю? — теперь уже с маминой интонацией предлагает Натка, и мне нравится такой порядок слов и такая интонация. Я знаю, ей приятно делать покупки, и соглашаюсь, чтобы доставить ей удовольствие. В магазине широкие и просторные окна, и мне видно, как Натка раскованно и независимо держится — покупательница, у которой достаточно денег на торт, но сегодня ей хочется овсяного печенья, — она рассматривает витрину-холодильник, о чем-то спрашивает продавца и уходит к кассе. Кажется, она прекрасно чувствует, что за ней наблюдают, и немного играет, кокетка.

Восемь лет, восемь лет... Одеваясь, она уже говорит: «Папа, отвернись».

Через пять шагов дочь спрашивает, кусая печенье:

— Пап, что такое время?

— Время?

— Да, время.

— Нат, ну ты уже большая для таких вопросов. Вот часы, на них стрелки, в сутках двадцать четыре часа...

— Это я все знаю! — нетерпеливо перебивает она. — Часы измеряют время. А вот откуда оно берется и куда девается?

— Время... Как бы это понятнее сказать тебе?

У нас в семье твердый закон: нет запретных тем, не должно быть вопросов без ответов. Мы хотим быть не только родителями своих детей — их друзьями. Нам страшно от мысли, что к ее восемнадцати годам мы не сумеем найти в себе энергии, такта и собственной ценности для того, чтобы стать друзьями ее друзьям. Что нас будут просить пойти в кино, пока они устраивают вечеринку. Или за глаза звать нас «стариками».

— Время — это очень сложное понятие, док, — говорю я, тоже хрумкая овсяным печеньем, которое вкуснее,

если ешь его, вопреки правилам, на улице.— Все вещи в мире появляются и исчезают.¹ Но не как попало, а в строгом порядке. На смену одним приходят другие...

— И люди так же?

— Да, и люди. Время, как вода в реке — ее не разрежешь на куски и не поменяешь местами. Каждая частичка воды, каждый ее метр идут строго вслед за другими.

— Значит, время — это очередь?

Мы оба смеемся такому неожиданному повороту. Дочь поясняет, что однажды в длинной очереди за молоком ей стало жаль времени, которое пропадает зря, и она подумала тогда, что время и есть очередь.

— Не только,— продолжаю я.— Ведь все, что происходит в мире, имеет начало и конец. Урок, дождь, кинофильм, лето, жизнь... Все имеет начало и конец. Это и есть время, поняла?

— Это я поняла. А насчет очереди...

— Наверное, лучше всего ты поняла насчет очереди?

— Нет, и про начало и конец — тоже. Но вот откуда оно берется и куда уходит?

— Ниоткуда не берется и никуда не уходит. Время — вечно. Всегда было, есть и будет.

— А вы с мамой говорите: нет времени, нет времени.

— Это о том, что мы заняты.

— Пап, если все имеет начало и конец, тогда почему у времени нет конца?

Я пытаюсь объяснить ей и это. Мы входим в подъезд, в лифте Натка расстегивает шубку, снимает шапку, достает ключи от квартиры. На мой вопросительный взгляд поясняет: это чтобы не тратить времени зря. Она отпирает дверь своим ключом. Мне кажется, будто я пришел к ней в гости.

Пока закипал старый чайник и весело шкворчали на сковороде котлеты, я ответил на вопросы: как пекут печенье и хлеб, как устроен телефон и почему собеседника не перепутать по голосу, почему зимой день короче; уз-

нал, что сегодня некто Мельников подрался с девочкой, вызывали его маму и его очень сильно накажут, может, даже исключат из школы. Ната получила две пятерки и одну четверку, и на ее парте стояла «звездочка» — это у них такой переходящий вымпел.

В кухне мы включили настольную лампу, с ней уютнее, шумит, потрескивает чайник, дочь расставляет чайный сервиз и, отрываясь от этого любимого ею занятия (она еще не умеет одновременно делать что-нибудь и разговаривать), говорит:

— Вот мама пришла бы и удивилась: по какому случаю сервиз? А мы ей скажем: по поводу хорошей учебы. Может, самовар, пап? Нет, самовар для двоих — слишком много.

Дома в оранжевом свитере и тех же черных брюках она кажется совсем взрослой, вовсе не той тростиночкой-гимнасткой, и я не устаю удивляться: она уже по плечо матери!

Стол сервирован красиво, с женской аккуратностью, хоть мы и поругиваем дочь за неряшливость. Я помню неуютные сиротские дни, когда болела моя мать, и стараюсь, чтобы Натка не замечала отсутствия своей матери, чтобы были уют и чистота, и все приготовлено так же вкусно, как будто руками женщины. Да, очень важно помнить свое детство.

— Пап, какой у тебя был день? — спрашивает она, и я говорю, какие были дела и люди, и звонки. Но разве это ей интересно?

— Интересно. Я давно не была на твоей работе.

Она любит слушать и часто просит рассказать что-нибудь, хотя знает, что таких просьб «что-нибудь» я не люблю. Но сейчас она молчит, смотрит на блестящую шишечку самоварного крана, жует, явно не замечая вкуса.

— Эй, ты где?

— Здесь, — встрепенулась она. — Как это — где? Разве я могу быть где-то еще?

— Хоть вон на той звезде, — показываю я за окно,

но там снег и ни одной звезды.— Мыслями. О чем ты сейчас думала?

В такие минуты, когда она «на звезде», мне кажется, что я уже сейчас теряю ее — она словно пускается в безвозвратное странствие, медленно уходит вдаль, медленно, но так удручающе навсегда, в свое недоступное нам будущее, что мы пронзительно и беспощадно понимаем: ей жить совсем в другое время, без нас. Мои слова вернули ее, задержали, она молчит немного и, перезав на стуле, отвечает:

— Вот я думала... вот. Что умрет человек, похоронят его, но он не весь умрет, а...

Стараюсь не показывать удивления.

— А через много-много лет снова родится. Он сам забудет, что уже жил когда-то, и другие этого не будут знать, и назовут его по-другому. Так бывает?

— Скажи, а тебе кажется, что ты уже жила когда-то? — спрашиваю я совершенно серьезно. Мне-то, помню, казалось.

— Не кажется. Но ведь я же говорю: он забудет, что жил. И имя у него станет новое... Он совсем другой будет.

— Каким же это образом?

— Не зна-а-аю.

Восемь лет, восемь лет...

— Что это у тебя сегодня вопросы такие странные? Время, смерть...

— Не странные. Когда мама в больнице, я всегда о таком думаю и еще о многом.

Я ворошу ее соломенную взрослую стрижку над высоким белым лбом. Натка неожиданно улыбается, она всегда улыбается неожиданно, как-то вдруг, — я беру лист бумаги, карандаш и за чаем показываю, какой это непростой в нашем мире вопрос — о жизни и смерти.

— Вот, гляди, Нат, — я рисую яблочное семечко. — Яблоко съели, а семечко посадили, и оно проросло. Корешки появились, вверх потянулся росток. Теперь, смот-

ри, второй рисунок: уже не стебелек, а саженец. Третий: яблоня цветет. Вся вот в таких цветах, как этот, Цветок отцвел — что будет?

— Яблоко.

— А в яблоке?

— Семечко, — шепчет Натка, пораженная неясной догадкой.

— Семечко. И вот оно снова попадает в землю, ага?

— Ага.

— А теперь смотри. Куда делось первое семечко? Нет, росток и семечко — не одно и то же, а совсем разные вещи. Оно не погибло, ведь погибшие семена не дают всходов. Оно изменилось, стало совсем другим. Росток превратился в саженец, а саженец — в деревце. Теперь цветок. Вот он, смотри. Распустился, солнышку радовался, пчелам, росе — раз! И облетели лепестки. Где цветок? Нету.

Она прищуривается, думает, активно думает, следит за рисунками, за ходом моей мысли.

— И вместо него — новое яблочко и новые семена! — энергично говорит дочь.

— Погоди-погоди, не так быстро. Представь себе, что цветок умеет думать, чувствовать, что он как человек. Распустился — хорошо, жизнь, солнце — прекрасно! А облетел — это что?

— Смерть.

— Смерть, — повторяю я спокойно. — Но смерть цветка, видишь, какая интересная — она одновременно начало новой жизни. Одновременно. Значит, нет больше семечка — есть росток. Нет ростка — есть саженец. Нет саженца — есть яблоня с цветами. Нет цветка...

На мгновение мне кажется, что я жестоко обманываю ее, давая такую надежду на бессмертие. Но сколько детских слез пролито в мире при мысли, что наступит она, смерть, никуда не денешься, и закопают...

— Нет цветка — есть завязь, нет завязи — есть яблоко, и нет яблока — снова семена! — бойко вторит мне

она, вполне соглашаясь с такой смертью и даже радуясь ей.

— Кто знает,— заключаю я этот философский разговор за ужином,— может быть, и с человеком так же? В таком случае его смерть — и не смерть вовсе, а переход во что-то другое, новое. Но мы не знаем, чем станем, как цветок не знал, что будет яблоком.

— И ведь семечки опять будут расти! — Ната продолжает открытие мира уже самостоятельно.

— Цепочка замкнулась. Семечко снова вернулось в землю, но...

— Но уже другое, новое! Значит, я права. Человек опять будет жить, но не будет об этом помнить!

Да, вот это логика.

Мы еще размышляем с ней, почему из все новых семечек антоновки, которые посажены в разных частях страны, вырастают те же антоновские яблоки, а не «китайка» и не «белый налив». Даже цвет и величина будущего яблока за несколько лет до его появления на свет были заложены в такой малости — семечке!

Представляю, как теперь пытливо будет смотреть она на этот непростой мир, где даже ничтожно малое оказывается неизмеримо сложным и где в самом обычном заключена великая тайна.

А я думаю о том, насколько же сложнее все у людей. Как трудно найти в этом мире свою половинку души, как порой случайно складывается семья — так ли уж случайно? И что дети наши наследуют не только наши добродетели и слабости, а мельчайшие привычки — трогать мочку уха, засыпая. Ох уж эта генетика... Жена в больнице, у нее плохо с давлением и слабое сердце. Чтобы у дочери не повторилось то же, врачи отправили Натку сначала в кардиологический санаторий, а потом предписали художественную гимнастику и плавание — и сердце пока здорово.

— Спасибо, папа,— дочь встает из-за стола, шутливо делает книксен, которому обучилась в секции, и мы

вдвоем убираем со стола и моем посуду. Для нее это самое ненавистное занятие, и я знаю, почему. Ей не нравится мыть посуду в одиночку, а со мной она делает это с тем же удовольствием, с каким расставляла сервиз.

...Перед сном дока читает в постели по-немецки — внеклассное чтение, я курю на кухне и слушаю долгий тихий блюз по транзисторному приемнику. Вспоминаю, что мы видимся с Наткой сорок пять минут в сутки. И вызываюсь почитать ей вслух «Маленького принца» Экзюпери.

— На астероидах не живут! — категорически заявляет вскоре она.

А когда желтая змейка-молния помогает принцу избавиться от тяжелого тела, Натка остается спокойна, хотя прекрасно понимает сказанное между строк. Не знаю, не знаю, я не был так спокоен, когда впервые прочел это...

Мы укладываемся голова к голове на кроватях, специально поставленных под прямым углом, и Натка просит дать ей руку. Так и засыпаем — ее ладошка в моей руке.

Завтра я снова буду ждать ее звонка.

ГОРСТЬ ПРОСА

Родители семиклассника Николая Мотовилова уехали работать в Монголию как крупные специалисты сельского хозяйства. Едва лишь Колька обрадовался самостоятельной жизни, полной свободе, когда гуляй — не хочу и в просторной квартире сколь угодно друзей, слушай «маг» хоть до утра, едва вошел во вкус таких необычных каникул, как вскоре, дня через три, вырос на пороге брат отца, Виталий Михайлович Мотовилов, председатель алтайского колхоза, и объявил, что все лето племяш проведет у него в гостях. Так и отец наказал перед отъездом. Уж и билеты на вечерний поезд взяты...

Первым делом Виталий Михайлович осведомился, ког-

да в последний раз «юный холостяк» ел горячее, затем деловито, по-хозяйски прошелся взглядом по полкам, изучил холодильник — и принялся распаковывать свою необъятную сетку. Он был человек примечательный — худой, смуглолицый от беспрестанных разъездов по полям, горбоносый. Сухие узловатые пальцы его были железными, это Колька ощутил сразу же, при рукопожатии. Да и любому при первом взгляде на старшего из Мотовиловых становилось ясно: железный, волевой, с характером мужчина. Колька знал, что этот дядька, как и отец, окончил сельхозинститут, стал главным агрономом хозяйства, «горел на работе» и до бессонницы переживал чужое нерадение к ней. Виталий Михайлович наотрез отказывался от любых повышений, от перевода в город, который ему так настойчиво предлагал младший брат, и лишь пять лет назад дал согласие стать председателем. Читал Николай Мотовилов и Указ в газете о награждении родича орденом Трудового Красного Знамени...

Колька безропотно начистил картошки, вымыл стопку грязных тарелок, скопившихся за эти дни, и по требованию гостя расставил шахматы. Дядька был заядлый шахматист, и, пока варился борщ, они сыграли две партии. То ли из вежливости, то ли от внушенного с детства уважения к старшим или же от внутреннего безотчетного почтения к жизни этого человека — жизни, о которой он пока мало знал, — Колька нехотя, но, стараясь не показывать этого, подчинялся его энергии и напору, только успев подумать: навернулась, брат, твоя короткая свобода!

Обед проходил в молчании. Виталий Михайлович ел, будто делал очень важное дело, на котором непременно надо полностью сосредоточиться. Чтобы прервать тяготившее молчание, племянник спросил о здоровье — когда-то у Виталия Михайловича была язва желудка, но он успешно, без врачей, вылечил ее облепихой. Спросил и о детях, но услышал лишь, что своих двоюродных бра-

тьев-сестер сам увидит. Покончив с борщом, который сильно отличался от того, что готовила мать, Колька отодвинул от себя тарелку с пшенной кашей и отправил в рот сразу пару жвачек.

— А вот это зря! — осудил дядька. — Пшенка ему, видишь ли, не по нраву! Да если хочешь знать, я бы пшену памятник поставил. А было так, слушай сюда. Алтай от фронта далеко, а войну держал. Село без мужиков. Бабы и ребятишки пахали на коровах — лошадей тогда всех на фронт мобилизовали. Хлеба не хватало. Земле сила нужна, тогда она родит, а какая сила у мальчишек, стариков да баб... По воскресеньям, можно сказать, хлебушек и видели. Я после отца и старшего брата Николая оставался в семье за главного кормильца.

— Так это меня в честь того Николая назвали? — спросил тут Колька.

— А ты думал, в честь Николы-угодника? — съязвил Виталий Михайлович. — Н-да, шестеро нас было, мал-мала меньше. Мать — твоя бабушка — все хворала. С хозяйством в одиночку управлялся.

Как-то раз шли по нашим Озеркам цыгане, одна цыганка к нам и заверни. Худая, лицом черная и в шали черной, в сениях стоит, как привидение, глазищи сверкают. Я ее потом несколько лет в снах видел... Да. Ну, говорю ей, входи, раз зашла, гляди, как живем. Вот только угощать тебя нечем. А жили мы так: стол, две лавки, печь. Под печкой куры, на печке — дети. Да с полатей головенки свесились. Ты, поди, полатей-то и не видел... Мать пластом лежит, руки на одеяле — две коричневые палки. Глянула цыганка, гадать не стала и просить не стала. Развязала тряпицу, в тряпице просо. Много, говорит, у людей брала, теперь пришло время отдавать. И ушла.

Хотел было я то просо курам отдать, там варить нечего, столовая ложка, смех. Тут мать голос подала: не смей! Велела посеять.

Весны мы кое-как дождались, перемогли. Пошел в

огород, вскопал гряду трехметровую и каждое зернышко в отдельности посадил. В сорок втором это было, да.

С весной полегче стало: в лес ходили сок березовый пить, саранку копать, пúчку — это корешки такие сладкие. Из крапивы щи варили, потом ягоды пошли, грибы. Горсть ягод, боровик, корешок — вот тебе и завтрак. На Змеиной горе ягод было — пропасть! Но змеи кишмя кишат. Так я единственные сапоги дратвой прошил — и на Змеиную гору ходил, в змеином царстве ягоду брал и малышей кормил. Да еще на курганах. Курганы много было, поставлены хитро. Мы мальчишками в них копались, наконечники стрел, мечи, подковы находили. Курганы древние, со времен нашествия стоят. Через горы путь кочевникам был самый короткий. Я так думаю, курганы эти им как путевые вехи служили. А может, складами. Очень уж они симметрично поставлены...

Колхоз тогда с землей уж не справлялся, и каждой семье нарежали от пашни по десять соток. На новой земле посадили мы с Вовкой, отцом твоим, картошку. Он после меня старший, лет девять ему было. Но картошка в тот год не уродила. Летом как-никак ели, а осенью копать ее — она вся прелая, пустая, медведкой поеденная. Обидно! Ведь чтоб ее, пустотелую, достать — столько пришлось земли перевернуть, и все зря!

А вот просо тот год сильное уродилось. Мать как в воду глядела. Взял я серп, сжал, снопы во двор принес и вручную то просо обрушили. Набрали килограммов пять. Но маманя наша опять не дала каши сварить, всю зиму берегла и перебирала, чтоб не отсырело, не задохнулось зерно. Сказала, опять сеять будем.

Жили мы в ту зиму в основном рыбой да зайчатиной. Речки у нас все зарыбленные, ну, я вентери вязал из ивовых прутьев, брал рыбу-то. Жарил, солил, даже к поезду продавать носил, на станцию. Раз в день поезд останавливался... Осенью и зимой ставил в ельниках петли проволочные на зайцев, ружья не имели. Так что перепало и зайчатинки. Капусты засолил, груздей бочку.

Кормилицы не было, только теленка держали, так я сена ему двадцать копен накосил, с сеном хорошо было, да-ром что человек его есть не может.

Но хуже всего с хлебом. Пшеницу посеял — не уродила, одним пайком и жили. Паек выдавали, если семья без кормильца. Чем дальше — тем хуже и туже с хлебом становилось. Дошли до того, что сушеные грибы толкли в ступе — рыжики — и из той «муки» хлеб пекли. Рыжиковый. А без хлеба, известно, и с мясом сыт не будешь. Я к матери: давай просо съедем!

— Нет! — кричит в голос. — Не дам просо. Не-е да-а-ам!

Озлился я на нее, с голоду помереть можно, дрожа над этим просом.

Стала тут косить народ страшная болезнь — септическая ангина. Отравление от лежалого под снегом зерна. По всему телу шли черные пятна, и в три дня человек умирал. Мать и Вовка угодили в больницу — подозревали ту самую, «черную» ангину. Соседи сказали: для поправки нужно свежее мясо. Пришлось телка зарезать. Вдоволь телятины нажарил и малышню накормил. Все деньги, какие мы на станции за рыбу, грибы, ягоды выручили, я на соль потратил, соль была дорогая. Пятнадцать стаканов купил и засолил тушу. Принес матери свежатинок, а она мне одно заладила:

— Просо-то посей... Посей просо, Виталя...

А сама слабая, смертынька, да и только. Думаю, глядишь, последняя мамкина воля, грех не выполнить. Пошел сеять на дальний нарез, что нам за лесом отвели. Мешок наперед повесил, правой рукой набираю горсть — и поперед себя веером сыплю.

Тут ангина проклятая свалила сестру Лиду. Лида мне хоть малость помогала по хозяйству, а без нее совсем сладу нет с малышами. Я по дрова — за мной хвост. Пришлось соседям оставлять под надзор.

В то лето я совсем озлился. Худой, чернуший, голодный... И в наше время всю крестьянскую работу не пере-

делать, а тогда — один-одинешенек, штаны с голодухи сползают, все детям отдавал да в больницу носил.

А тут еще похоронка на Николая пришла. Скрипишь зубами, хоть в петлю! — да смотрят на тебя усталые от голода глазенки, идешь и всю злость на фашиста, недород, на ангину эту чертову — в работу, в работу вбиваешь! На той злости весь народ и держался.

Приду к матери — она свое:

— Виталя, а Виталя... Просо не посмотрел, как там оно?

Пошел, посмотрел. До него ходу семь верст, за лесом. А просо-то наше закустилось, отводки дало и низкорослое-низкорослое. Пошел в следующий раз в больницу, говорю:

— Не быть зерну, закустилось просо начисто!

Мать даже прослезилась, хоть давно все слезы выплакала.

В то лето картошка уродила богато, я груздей насолил тридцать ведер, дров запас — на себе возил, впряжешься в тележку и тянешь... А вот пшеницы взяли всего мешок. Что посеял, то и сжал. Сызнова без хлеба зимовать, на рыжиках.

Тут, слава богу, мать из больницы выписали. Веду ее домой, она опять:

— Давай, Виталя, свернем, просо посмотрим.

— Да нечего там смотреть! — отвечаю. — Закустилось все.

— Ну пойдем, Виталя, ну пойдем, — просит, как ребенок, а сама известно, какой ходок, все лето пластом пролежала.

Дошли кое-как. Глядим — чудеса! Просо наше в полметра ростом вымахало, золотое стоит, да зерно тяжелое, частое, так стебель и клонит.

Мать прилегла, отдохнула маленько, от радости не отдышится никак. Послала меня за серпами, тележкой да мешками. Жали мы в два серпа до самого вечера, нагрузили тележку, везем по тракту. И радоваться боимся.

В старые времена по этому екатерининскому тракту с демидовских рудников золото да серебро возили. Бабка моя рассказывала: выезжают зимой раным-ранё на тяжелых лошадях, в подсанках вроде легко везут, да кони в мыле. И с охраной — кругом верховые так и вертятся. Демидов-четвертый был сам себе указ, выплавлял что казне, что себе — вровень, по тысяче пудов и более. Вот мы по этому тракту и везем свое золото — просо.

Да-а, идем мы, значит, вечереет, и тут с опушки выходит черный мужик, на лешего похож. Мы так и вросли, как вкопанные. Не то бросить просо и бежать, не то вперед идти? В ту пору озерковский лес начал пошаливать, ходили слухи, будто облюбовали его дезертиры.

— Что,— спрашивает,— тяжело везти?

— Тяжело.

— А что в мешках?

— Травы накосили.

— А сами откуда?

— С Озерок.

И тут из леса к тому бородатому еще двое выходят.

— А откуда везете?

— Из-за станции,— отвечаю, а сам прикидываю, что два серпа у меня под мешками подоткнуты и задешево я это просо никому не отдам. Спокойный и злой был в ту минуту.

— А мужиков-то, что ж, не осталось совсем?

Тут мать голос обрела, запричитала, что сам воюет, старшего убило, двое в больнице, а остальные по лавкам сидят, есть просят. Разжалобила. Пошли себе лешаки по тракту, а мы стоим: то ли за ними вперед идти, то ли назад бежать?

На повороте тракта как сгнули. Ни на дороге их, ни в лесу не видать. Мы тележку тянем, а спиной чувствуем: тут они, на опушке. Глядят в спину. Бывает такое жуткое чутье, будто в тебя целятся. Рад бы бегом, да не уйдешь. И бросить жалко — золото. До сих пор у меня холод по спине: может, мы через то просо чуть жиз-

ни не решились? Э, да и ты, Николка, гляжу, ежишься?

Ну, миновали кое-как тот заклятый поворот. Довезли просо. Мать лежит, охает, с перепугу и от слабости. А я — к старику Селиванову, что крупорушку держал. Тогда вся деревня из трех фамилий состояла: Волобуевы, Селивановы и Мотовиловы. Все в прошлом переселенцы. Откуда переселенцы, спрашиваешь? Столыпин Сибирь заселял — отправлял курских, воронежских, украинских крестьян. Так что мы с тобой родом из Центральной России, знай. Сейчас уж все смешалось, не разберешь, кто откуда происходит.

А тот Селиванов по голодным-то временам цену заломил лихую: с пяти мешков проса ему за крупорушку — мешок пшена. Ах ты, кулачина нераскулаченный! Так не видать же тебе и горсти того проса!

Наутро срубил я раму из бревен, посреди крестовину сделал и на крестовине — пестик. В бревне рамы выдолбил лунку. Встал на крестовину, наклонился влево — пестик вверх, наклонился вправо — пестик клюнул в лунку. Для пробы насыпал я в лунку проса, покачался, «поклевал» минут пятнадцать — есть килограмм крупы! Тогда поставил малышей на моей крупорушке качаться — им занятие на игру похожее, а мне польза. Сам серпы взял, пошел просо дожинать. Привез еще полную тележку. До конца дня обрушили, и набралось чистых восемь мешков пшена. И на сев оставили.

Вот когда мать впервые за два года притронулась к цыганскому просу. Сварила ведерный чугун пшенной каши, и не было нам еды слаще! Потом толкла в ступе и пополам с настоящей мукой пекла лепешки. Чем не хлеб!

Мать будто предчувствовала, что та горсть проса всех нас спасет. Два года мы потом пшено ели, два года просо сеяли. Спаслись и от голода, и от ангины, которая по-прежнему лютовала. Отец с фронта вернулся и меня с победой поздравил. Мы бы, сказал, без вас не выстояли... А ты говоришь: «пшешка»!

...Колька слушал рассказ, забыв и о каше, и о шахма-

тах, и, как это изредка бывает, когда человек не совсем тебе известный вдруг проявляется на глазах и становится знакомым, он увидел вдруг в этом своем дядьке какие-то неуловимые черты отца. Никогда бы не сказал, что похожи, а вот теперь при всем внешнем несхождении уловил родство. Братья!.. Колька пока не задумывался о своей родословной, жили себе Мотовиловы на свете, ну и жили, но теперь, слушая, что происходило так недавно, не в древние века, а сорок лет назад, он ощутил, что в истории их рода были, оказывается, такие моменты, когда жизнь могла прерваться и совсем иссякнуть, и не было бы на свете его самого — Кольки Мотовилова. Сколько было войн, эпидемий, стихийных бедствий, сколько тысяч и миллионов живших не оставили наследников, прервали вечную связь времен! А он — Колька Мотовилов — жив сейчас, в эти дни, и значит, значит... ему не четырнадцать лет, а сорок тысяч и четырнадцать, и он древнее тех древних курганов... И значит, все люди — тоже как зерна. Как зерна в горсти проса.

— Однако айда, — улыбнулся Виталий Михайлович, видя его странную задумчивость. — Айда, брат, на поезд пора. На родину тебя повезу.

АТОС

Среди множества виденных мною собак одна запала в память; это был пес, исполненный глубокого достоинства и самосознания, он словно понимал, насколько талантлив и одарен, снисходительно смотрел на людей с их суетой и бестолковостью и не замечал ничего вокруг, не относящегося к работе. Он был равнодушен к хозяину, к чужим людям, к другим собакам, и это собачье высокомерие поразило больше всего. Впрочем, талант Атоса, его безукоризненная работа как бы уравновешивали его самоуверенность.

Впрочем, все по порядку.

В начале декабря мы ехали на лосиную охоту в Ка-

лининскую область; поземка белым пламенем переметала дорогу поперек, в некоторых местах уже образовались пушистые заносы, такие красивые, если глядеть на них сквозь теплое лобовое стекло, и такие коварные, если угодить в них всеми четырьмя колесами. Охотники подобрались в большинстве своем незнакомые, их объединяла пока только добытая кем-то лицензия, и в долгом пути, после первого неловкого молчания постепенно разговорились. Особенно речист был Володя Маликов, он словно демонстрировал остальным свой опыт, эрудицию, юмор и частыми обращениями ко мне и Валерию Прокопинскому будто хотел подчеркнуть, что в нашем случайном охотничьем коллективе есть давно сложившийся маленький, но проверенный микроколлектив, где отношения искренни и имеют свою историю. Меня всегда поражала его говорливость, отнимающая столько энергии, но сам облик добродушного толстяка Володи — впрочем, тренированного и необычайно выносливого — говорил о том, что энергии ему не занимать. И все-таки было непонятно, зачем ему непременно нужно завоевать расположение и симпатию незнакомых людей, с которыми вряд ли доведется еще когда-нибудь встретиться. Он не честолюбив и на роль старшего в этой охоте вовсе не претендует... Мы с Прокопинским экономили силы, отделивались шутливыми репликами или короткими анекдотами, понимая, что выехали позднее, чем планировали, ночь наверняка будет бессонной, а охота по глубокому снегу потребует всех сил без остатка.

Мы уже подъезжали к Кимрам, когда увидели засевший в кювете УАЗ и голосующего водителя. Остановились. УАЗ снесло по гололеду на повороте в заснеженный кювет и, несмотря на преимущество, которого не было у нашего «пазика» — передний мост, машина пропахала по кювету добрых полкилометра, но так и не выбралась на шоссе. Предложили взять ее на буксир, но водитель оказался пьян и упрям, он почему-то непременно хотел, чтобы мы вытолкнули его «тачку» руками. Двенадцати

дюзим парням ничего не стоило вынести ее и на руках, но его упрямство подействовало на всех раздражающе. Маленький, смуглолицый водитель «уазика» Эдик раздражал уже одним своим видом, даже папироской, смятой в мундштуке наподобие голенища сапога у сельского щеголя прошлых лет; он так безбожно газовал, что ясно стало: угробит машину, и очень скоро, если уже не угробил. Мы толкали, Эдик упрямо брал откос в лоб, все было без толку. Но мы почему-то не могли бросить этого беспечного бедолагу посреди черной, снежной, по-волчьи завывающей ночи, и было легче бездумно толкать его зеленую коробку, чем доказывать, что он не прав. Досаднее всего было увидеть в УАЗе целый охотколлектив — шестерых беспомощных иззябших мужиков. Застрававшие ехали в то же самое охотхозяйство, что и мы. Выяснилось, что УАЗ — личная собственность Эдика, и это еще сильнее восстановило нас. Машину вытащили. У нее оказались проколоты оба задних колеса. Эдик заверил, что запросто перемонтирует их, нашей помощи не требуется. Мы уехали, оглядываясь на одинокий УАЗ, стоящий на зеркальном гололеде, но было чувство, будто бросили товарища в беде.

Вскоре мы нашли дом начальника охотничьего хозяйства Валентина Сорокина. Как только переступили порог, нас встретили две собаки. Щенок ирландского сеттера заискивающе вертел хвостом и задом, и от такого подхалимского вилянья обычно обаятельный сеттер выглядел как провинившийся школьник, который спер хозяйский обед со стола и теперь заискивает.

Другая собака подняла голову с подстилки и беззвучно обнажила зубы, но не зарычала, а внимательно-настороженно оглядывала вошедших. У лайки был высокий взгляд — в глаза.

— Атос, поздоровайся с гостями, — обронил хозяин.

Кобель недовольно поднялся, обошел приезжих и обнюхал наши торбаса и сапоги. Раздались похвалы знатоков: хвалили сухую кость рычагов, подтянутый живот,

прижатые острые уши лайки. Обычно собаки прекрасно понимают по интонации, о чем говорят люди, и уж вовсе не равнодушны к комплиментам. Но Атос ничем не выказал того же дружелюбия, какое старательно показывали мы. Он улегся на подстилке и отвернулся носом к стене.

— Что, обидел собаку? На охоту не берешь? — спрашивали хозяина.

Нет, Сорокин как раз берет Атоса с собой, а как же иначе? Впервые я видел, чтобы охотничья собака не радовалась предстоящей охоте.

Мы застряли у Валентина, так как оказались невольно связанными с теми незадачливыми охотниками, которых буксировали из кювета. Валентин решил направить нас вместе к одному и тому же егерю. Прождав около двух часов, решили отправиться за УАЗом и прибуксировать его. Даже у Володи добродушие и говорливость сменились досадой. Но если ехать назад, на трассу, то значит, монтировать колесо этому самоуверенному упряму, который к тому же невоздержан с алкоголем. Строгие правила лосиной охоты четко ставили таких охотников на самую последнюю ступень. Наиболее здравомыслящие из нашей группы заявили, что не станут на номера рядом с ними.

Сорокин был хладнокровен. Лет сорока пяти, рослый, крепкий, он выделялся резкими чертами лица, особенно — рубленным подбородком с темной впадинкой под нижней губой. Он ничего не предпринимал, не суетился и молчал потому, что был уверен: все и так образуется, придет время — и мороз выбьет хмель из чернявого Эдика, колесо будет перемонтировано, придет время — и мы тронемся в назначенный егерский участок и возьмем лося — а как же не взять, коль выправлены лицензии? Не вслушиваясь в наши нервные разговоры, но и не отгораживаясь молчанием, Валентин как ни в чем не бывало готовился к охоте: на спортивный костюм надел ватные штаны и куртку и походя похвалил этот костюм же-

лезнодорожников под названием «Гудок»: однажды охотник в таком облачении угодил с берега в незамерзающее озеро возле плотины и полчаса плавал, как пробка, но вода так и не пропитала одежды. Надел широкий армейский ремень с ножнами из камуса, принес из другой комнаты огромный и острейший охотничий нож, приготовил сапоги.

Атос перестал дремать, наострил уши, встал, но снова лег.

— Сейчас будут, — улыбнулся Валентин, и все заметили эту незримую связь между собакой и хозяином.

Действительно, вскоре явились те, кого мы так ждали. А через полчаса оба охотколлектива были уже за городом, в белой кутерьме метели. Ехали по сплошной снежной целине. Валентин сидел с нами в головной машине; указывал водителю заметенную дорогу, ориентируясь по просекам. УАЗ тащился следом, старательно попадая колесами в нашу колею. На рассвете поземка прекратилась, как и предсказывал Сорокин. Лес был похож теперь на новогоднюю открытку: на неподвижных лапах елей — огромные пушистые шапки снега. Неясно было, каким чудом снег удержался на ветру да еще на склоненных к земле ветвях. На рассвете лес выглядел степенно-молчаливым, полным непостижимого достоинства и отчужденно-равнодушным к нам, чужакам. Прокопинский зябко поежился, вероятно, испытывая то же самое чувство отрыва от цивилизации.

Лишь у егерской избы кто-то спохватился: а где же Атос? Никто не заметил, как лайка заняла место среди наших рюкзаков, сваленных возле задней дверцы «пазика». Атос проснулся, когда мы прибыли и стали разбирать ружья и рюкзаки. Недовольно глянул на нас, мол, шляются тут всякие, поспать не дадут! С ворчанием встал, потянулся и неохотно прыгнул на снег.

— Атос! Атос хороший!

— Атос, ко мне!

— Атос-Атос-Атос-Атос!

— Порто́с и Ара́мис! — заигрывали мы на все лады, но собака не удостоивала нас вниманием. Кобель по-хозяйски прошелся по хорошо знакомому ему егерскому двору, понюхал окровавленный снег в том месте, где вчера свеживали кабана, и с брезгливым видом помочился на этот красный снег.

Подъехал УАЗ, без нужды завывая двигателем, с резкими перегазовками, и из него с радостным визгом и лаем высыпали три лайки. Но всем показалось, что это целая свора, столько было вокруг ушей, лап, хвостов, так носились они по двору, так рвалась из них энергия в предвкушении близкой охоты!

Атос не подошел к ним знакомиться, хотя среди городских собак были и суки. Он встал на крыльце и терпеливо ждал, когда отворят дверь, не глядя ни на охотников, ни на городских собачек, ни даже на хозяина и всем своим видом показывая, как обрыдла ему всяческая человеческая и собачья суeta.

Мы уже немало узнали об этой элитной племенной собаке: на ее счету было несколько охотничьих дипломов первой степени, несколько триумфальных выставок, множество золотых медалей, а на днях Атос уезжал в Лейпциг на европейскую выставку охотничьих собак. Посмеиваясь, Сорокин сказал, что Атос не берет с собой хозяина, — Валентин промедлил с оформлением документов, и демонстрировать его лайку будет руководитель поездки. Однако все поведение Атоса пока не подтверждало лестных характеристик: он выглядел не боевой рабочей собакой, а этаким устало-безразличным, даже недружелюбно настроенным псом. Хотя, судя по всем статьям, лайка была еще молода, полна сил и не утомлена охотами. Хозяин вроде бы вовсе не обращал внимания на свою заслуженную собачку и ее настроение.

Как только к нам вышли егеря, Атос исчез в избе.

Мы посоветовали Сорокину не брать сейчас охотников из УАЗа: пусть проспятся.

— Но у них же целых три лицензии! Через пару дней лицензии пропадут, придется их закрывать, — возразил Валентин и отправил хмельных первыми, вместе с молодым егерем. Конечно, он рассчитывал на то, что протопают горемыки десяток километров по сугробам пешочком и станут свежи как огурчики. Горе-водитель Эдик, уходя с ружьем, положенным на плечо, как носят грабли, бросил нашему шоферу Саше проколотый скат и попросил перемонтировать, уверенный, что ему не откажут.

О, русский характер! Валентин печется о деньгах, уплаченных за три лицензии, хотя эти, с позволения сказать, охотники способны купить в личное пользование УАЗ за восемнадцать тысяч рублей. А Саша, намаявшись с ночной ездой и буксировкой, так легко согласился перемонтировать колесо, словно у него попросили пару сигарет.

Мы позавтракали, выпили крепкого чаю и, когда выходили в холодную кухню за чайником, видели там Атоса: свернувшись калачиком, он спал на засаленном черном матрасе, будто берег силы.

Вскоре на другом берегу полузамерзшего озерца появился грузовик с брезентовым верхом и посигналил. Мы стали собираться, Валентин позвал Атоса.

— Впервые вижу, что собаку надо звать на охоту, — удивился Володя.

Сорокин услышал, усмехнулся и сказал неопределенно: «А он такой». Мы обогнули озерцо по целине, ступая след в след за пожилым егерем, и образовалась синяя тропинка: под снегом стояла вода. Все смешалось в нашей природе!

Перед закрытым задним бортом грузовика Валентин скомандовал: «Атос, вперед!» Видно, хотел поразить прыгучестью лайки, без разбега — через борт! Но Атос так выразительно глянул на хозяина, что все грохнуло смехом:

— Хозяин, вперед!

— Валентин, а куда это он тебя послал, а?

— Валентин, барьер!

— Прыгай-ка ты сам, хозяин, а я — в Лейпциг! — на все лады шутили мы. Атос не улыбнулся. Он вел себя так, будто не мы его, а он нас взял на охоту. Тогда Валентин бережно поднял собаку и опустил за борт.

— Атос шутит, — сказал он, ничуть не смутившись. Но видно было, что сам не ожидал такой «собачьей шутки».

Пока ехали, Атос не проявил ни волнения, ни радости, хотя отлично понимал, куда и зачем мы едем. Он сосредоточенно смотрел на убегающую назад дорогу и, проходя, морщился: нельзя ли без таких грубых толчков? Напряженно стоя в кузове и сохраняя равновесие, он напоминал тех северных лаек, которые молча, сосредоточенно и неподвижно, словно скульптуры, стоят на носу каждой лодки, вглядываясь в речную даль и проплывающие берега.

По жребию идти в загон выпало Атосу, егерю и мне. Нас высадили на окраине сонной деревеньки, уютно укрытой снежным одеялом. Атос выпрыгнул первым, без команды и помощи Валентина. Я поинтересовался, будет ли собака работать без хозяина?

— Еще как будет! — улыбнулся егерь, добродушный, вовсе не старый, искушавшийся по свежим людям. Мы ушли от деревни в лес, присели на поваленном дереве и закурили. Атос лег у ног егеря в снег, как всегда покрутившись перед тем, как улечься. Егерь сказал, что, сидя рядом с водителем, заметил свежий лосиный след, лоси перешли дорогу и ушли на зоревую кормежку вот в эту южную «клетку» леса. Валентин наперерез им расставит стрелков, а когда те доедут и встанут на номера, мы двинемся в загон. Затем он посетовал: вот была добрая деревенька на берегу Волги, да теперь вся городская, дачная. В эти выюжные дни деревня просто нежилая, а не сонная, как мне показалось. Вскоре егерь поднялся:

— Однако айда. Атос, вперед!

Дремавший Атос тут же сорвался с места и крупными прыжками, ничуть не заботясь о своих тонких лапах, исчез в лесу. Больше мы его не видели. Через минуту из лесной «клетки» послышался его заливистый лай.

— Поднял! — удовлетворенно крикнул невидимый за деревьями егерь. — По зрячему идет! Что за собака — чудо...

Действительно, я не ожидал, что все произойдет так быстро. Но вот лай пошел кругами, стал удаляться — и впереди, на юге от нас, раздались два выстрела. Пауза. Молчит Атос. И еще два выстрела. Все. Наша охота окончена.

Увязая в снегу, мы пошли к номерам, ожидая теперь одного — рога. Валентин должен протрубить отбой, как только дело будет кончено. Но рог молчал.

— Вот псина! — радостно сказал егерь, так и не приближаясь ко мне. — Второго гонит! Ай да Атос...

Мы продолжали загон. Вскоре стало понятно поведение и Валентина, и Атоса, вернее, наоборот: Атоса и Валентина. Вся лесная делянка, образованная четырьмя просеками, то тут, то там была испещрена глубокими, до метра, лосиными следами, в глубине которых чернела вода. Но лосиные следы были двух видов: одного лося повсюду сопровождали мелкие и частые собачьи следы, а вот другой ушел один. Я пошел по этим следам, в пяту, сняв ружье с предохранителя. И тут что-то серое, расплывчатое с треском пронеслось метрах в тридцати справа, мелькая между стволами и ветками. Раздался лай Атоса. Собака подает голос, когда уже гонит зверя, а не причуивает его, идет по зрячему. В азарте, в предвкушении довольно редкой удачи, когда лося бьет загонщик, я изо всех сил заспешил по горячим следам. И зря: Атос, который вовсе не уговаривался с Валентином, как уговаривались егерь и я, отлично знал, где в данную минуту находимся мы, загонщики, а где — хозяин и стрелки. И заворачивал лося по часовой стрелке на юг, отрезая от деревни и дороги, чтобы наверняка вывести на номера.

Вопистину, «ай да Атос!». Ведь он самостоятельно, один ведет охоту, на которую взял нас, снизошел.

Убедился я и в двух других его достоинствах: скорости бега и неутомимости поиска. Местами снег был глубок и всюду пропитан водой у земли; невысокой лайке работать по такому снегу невероятно трудно, лось с его широким и легким махом должен был непременно уйти от преследования. Но сколько ни кружил я в этой лесной делянке, столько видел одно и то же: сжатую пружину следов. Всюду они шли по спирали: это верный Атос неутомимо заворачивал и заворачивал лося на стрелков, на хозяина, а лось все пытался вырваться за пределы этого кольца. Борьба тут шла не на жизнь, а на смерть, не отсюда ли и характер Атоса?

Время от времени лайка подавала голос — значит, настигала сохатого, видела и гнала его — и снова умолкала. Я потерял егеря, потерял счет времени. То казалось, что загон начался пять минут назад, а то — что он длится уже несколько часов. Круговорот следов сбивал ориентировку, я тоже ходил по делянке концентрическими окружностями, а убедился в этом, обронив коробок спичек и вновь найдя его. Классическая форма жизни — спираль.

Но вот уж долго не слышать лая, не слышно и рога Валентина, все следы похожи друг на друга, не различить, где прошел первый, а где второй лось. Сориентировавшись по солнцу, я вышел на номера. Это всегда жутковато — выходить из загона на стрелков, зная, какая сила сосредоточена в каждом патроне, если пуля порой прошивает быка навылет, из ребра в ребро. Поэтому загонщики идут с «гаем» — кричат, стучат палкой по деревьям, поют, бьют в трещотки. И непременно прикрепляют к шапке что-нибудь красное — помпон, шарф. Ведь, стоя на номере, стрелок напряжен до предела, его чувства обострены настолько, что иной нетерпеливый способен выстрелить по любой движущейся цели или на шум. А значит, по загонщику. Я вышел «с голосом» на левом

фланге цепи, и, лишь увидев меня вблизи, Валентин скомандовал стрелкам сняться с номеров.

— Егерь давно пришел. Что там такое? — спросил он.

— Первого взяли? — нетерпеливо спросил я вместо ответа.

— Взяли, вон лежит.

Я пояснил, что лосей было два, и Атос, быстро подняв первого, пошел за вторым, навил петель и кругов, но, видно, все же упустил из лесной «клетки». Я восторженно кричал, что Атос нашел и поднял первого быка всего лишь через минуту после начала загона, и видел, что это приятно слышать Сорокину, даже в сотый раз. Тут Валентин протрубил Атосу отбой, а выступившие из укрытий стрелки отправились к лежавшему на соседней делянке крупному быку, добрых четыре центнера. Он вышел прямо на Володю Маликова, а тот, как на грех, в это время обернулся — положено ждать появления зверя не только из загона, но и с тылу, вот Володя и обернулся. А перевел взгляд — и обмер. Атос вывел быка прямо на него, лось неподвижно стоял в пятнадцати метрах, шумно выпуская из ноздрей две белые расширяющиеся струи пара, осматривался перед тем, как пересечь подозрительную и опасную для него просеку. Володя выстрелил дуплетом навскидку, промазал, лось прошел сквозь номера ровно посередине между Маликовым и Прокопинским, которые встали рядом, видимо, не совсем доверяя незнакомым охотникам и оберегая безопасность друг друга. Валерий выждал, хладнокровно отпустил «лосюру» на безопасное для соседей расстояние и выстрелил одновременно с Валентином. Будто и в помине не было бессонной ночи, раздражения, ожидания...

Принялись свежевать. Сорокин похвалил Прокопинского за то, что тот стрелял под правильным углом и в своем секторе обстрела. А Маликову велел готовить два «штрафа» — за каждый промах, ведь лось вышел прямо на него. Все были возбуждены, переговаривались, хохотали, вспоминали прежние охоты, подробности этой —

назавтра деталей станет еще больше. Вскоре и выпиши, «на крови». Володя все сокрушался, как это он промазал, ведь такой матерый бычара вышел и стал, да чтоб с такого расстояния из верного «ижака» и не попасть по такой мишени?! Доказывая нам, как он меток, Маликов всадил три пули в пенъ метров за шестьдесят от него — и в бронзовой коре свежо забелели одна под другой белые отметины, а кора со свистом разлеталась вокруг.

Валентин и Прокопинский двумя ножами свеживали тушу, работа эта была тяжелой и долгой, несмотря на их опыт и сноровку. Шкуру надлежало сдать на заготовительный пункт, и Сорокин распорядился тащить ее в машину. Все взмокли, шкура была неподъемной. Валентин, чуждый азарта, оставался все так же деловит, невозмутим — он «отоваривал лицензию», просто делал свое дело. Он казался нам то добрым, то равнодушным, никого ни за что не осуждающим, люди есть люди, надо принимать их такими, как они есть. Для него наши праздники — охоты — были буднями.

Атос появился незаметно, обнюхал кроваво-красную тушу и залег за спиной хозяина, мастерски работавшего ножом. Подумалось, что у такого распростецкого с виду мужика с не идущим ему именем Валентин все — только самое лучшее. Нож. Рог с чеканкой по меди. Ружье. Собака. Костюм «Гудок». У него немного снаряжения, меньше, чем у любого из нас, но каждая вещь — надежная и рабочая, единственная и дорогая. Уж такой он был, этот Валентин.

Атос часто дышал, пасть полуоткрыта, словно собака улыбалась. Валентин похвалил его работу — Атос шевельнул хвостом в ответ. Вот и все проявления чувств между этим хозяином и этой собакой. А может, они просто не выносили личных отношений на всеобщее обозрение.

По глубокому снегу тащили мы к машине, которая не могла подойти ближе, огромные кусы мяса, похожего теперь на обыкновенную говядину. И, отирая жаркий

пот, ощущали, как сильно устали и как сильно поздоровели за эти часы охоты. Атос убежал к машине, даже не оглянувшись на нас, не оценил титанических усилий. Он знал, что сработал, как всегда, хорошо, остальное не заслуживает его внимания. Когда грузили мясо, он сидел в кузове со скучающей мордой.

Охотники из УАЗа сделали пустой загон, а когда молодой егерь вывел на них лося, упустили его. Егерь ругался на чем свет стоит, а все они, переругавшись между собой, рухнули спать с бледно-зелеными лицами.

Тем временем мы с Володей разрезали огромную лосиную печенку на тонкие полоски — бефстроганов, изъе-
яли у охотников из «охотминимума» масло, лук, лавровый лист, соль, в ведерной егерской кастрюле проварили и затопили в чистом сливочном масле эту печенку и подали на стол.

Валентину мы нравились, это было видно, и он, с чуть размягченным лицом, охотно ужинал с нами, внимательно слушал наши рассказы и рассказывал порой сам,

— Вот раз по осени, уж снег, пошли на кабана, — ритмично начал он. — А следу нет. Ни в поле, ни в лесу. Да были тут кабаны! — сам вчера видел. А ночью-то снег пал. В поле скирды. Ну я на авось и скажи: а в скирдах они не залегши? Пару березок свалили, айда шуровать под скирдами. Как посыпали! — и свинья, и под-
свинки... Смех и грех, а стрелять нельзя — своих перестреляешь. И тут один поросенок, полосатый еще, худший, вылезает последним. Да рожа такая недовольная, и, стервец, на меня снизу, глаз прищуривши, зло так глядит: ну, чего тебе? Ну живу я здесь...

Ему нужно было мало слов для рассказа.

Застолье затянулось, под потолком стало сизо от табачного дыма, но Атос не уходил от хозяина, то лежал позади его табурета, то стоял рядом, молча и терпеливо, как стоят лошади. Мы обратили на него внимание — покормить бы собаку, заработала! Но Валентин давно накормил: лаек и гончаков кормят сразу же после ра-

боты в отличие от легавых. Атос не уходил, а все чаще и чаще как-то тревожно взглядывал на хозяина. Стало ясно, что вовсе не еда удерживает его в нашем обществе.

И вдруг, коротко зарывав, звонко разлаялся.

Все разговоры смолкли, охотники вопросительно смотрели на лайку, спрашивали Валентина: гулять? есть? спать? — чего он хочет, этот раззолотой, расталантливый Атосище? Володя предложил тост за его величество Атоса, гениальную собаку...

— Нет, — сухо ответил Сорокин сразу на все наши вопросы. — Не пить!

Его не сразу поняли, и он нехотя пояснил: Атос ненавидит пьяных и пьянство. Такой уж характер. И если хозяин сейчас же не покинет застолье, собака будет безостановочно лаять. Шутили: пес бережет и стережет меру хозяина. Мол, жена успела даже охотничьего кобеля против мужа настропалить! Но вдруг отчетливо поняли: в словах Валентина не было и тени шутки. Все — правда. Взъерошенный и отчужденный Атос, серьезная собака, шутить не собирался. Он ничего не имел против нас, сидите хоть до утра, но хозяину — пора отсюда!

Атос безостановочно лаял, не давая никому и слова сказать. Валентин встал и под нашими изумленными взглядами неловко-виновато шагнул к двери. Как будто дочка за ним пришла, домой вести. И Атос тут же радостно заскакал вокруг него, заглядывая в глаза.

Я видел собак Заполярья, которые умеют вести хозяина домой, как поводырь. Собаку, которая спасла жизнь хозяину, отогрев его в сорокаградусный мороз своим телом. И собаку, что вынесла в зубах из горящего дома грудного младенца, причем нигде не прокусив его нежную кожицу. Но впервые видел пса, который приказывает хозяину покинуть компанию, потому что ненавидит алкоголь.

Егерь принес керосиновую лампу, и все заметили, что давно стемнело. После ухода Атоса с Валентином застолье развалилось.

Простолицый, рябенький охотник распростецким голосом начал было: «Вот летели мы из Мексики в Канаду...», но компания развалилась, все начали дружно зевать и ощутили вдруг страшную усталость.

Наутро Валентин с охотниками из УАЗа сходил в загон и убил им быка. Мы и не спрашивали, знали наверняка: этого лося тоже вывел на хозяина Атос. Сорокин запретил брать с Атосом других собак: гордый кобель и шагу не ступит, если в загоне будет еще какая-то лайка. Вернувшись с зори, Валентин безжалостно закрыл две пустые лицензии «соседей» и пошел нас проводить.

— Езжайте с богом,— напутствовал он,— а я сейчас у этих умельцев цевья отстегну от греха, а то опять грызутся.

Атос не вышел попрощаться с нами, он спал в холодной кухне, уткнувшись носом в пушистый хвост.

ТУМАН НА ХОТЧЕ

Меня удивляло, почему на этой левитановской речке, заросшей у берегов неньюфарами и осокой, почти не бывает рыбаков, хотя рыба так и ходит в любое время дня, гулко бьет щука и панически выпрыгивает преследуемая плотва, а жирующие окуни, в азарте не рассчитав скорости, иногда сверкают в воздухе золотисто-серебряной чешуей. Теперь, когда после долгого сенокосного дня я занял у соседского мальчишки донку и поплавковую удочку, накопал у картофелехранилища червей и начал удить, я понял, почему речка почти без рыбаков: бесчувственная рука еле держала невесомое удилище, опаздывала при подсечке и чуть ли не отнималась при забросе снасти. Сегодня мы погрузили сорок пять тонн сена, и многие парни даже не дошли до «Харчевни Хотча», как мы окрестили пищеблок. Просто повалились спать. Наверное, и местным жителям не до рыбалки: сенокос, прорывка свеклы, скоро уборка хлеба, какая уж тут речка!

Неделю назад во всех студенческих строительных от-

рядах Калининской области комиссары задавали один и тот же вопрос: кто умеет косить? В нашем умел один я. Вот и оказался здесь, на речке Хотче. Студент нынче огорожанился, косы в руках никогда не держал... Травостой отменный, жара за тридцать, и каждый вечер, как по заказу, — короткая гроза. Травы — по пояс, есть надежда на два укуса. Вот и бросили нас на выручку. Когда мы ехали сюда, на дороге видели огромные стенды: «Талдомчавин! А ты сдал 200 кг сена?!», причем кто-то исправил «кг» на «тонн». Шутники!..

Сено — легкое, невесомое, душистое, и уж как ласково и лирично описывали его классики, но с непривычки отмотает руки так, что ночью просыпаешься от боли, словно тебе их оперировали. Всю неделю я ходил как во сне, «на автопилоте» — все же отвык за два курса от крестьянской работы, и вот только сегодня нет этого раздражающего, сверлящего зуда в мышцах. А работа-то! — смех, равьше детям поручали. Деревянные грабли в руки — и переворачивай скошенное сено, чтобы сохло равномерно. Правда, травы густые и высокие, рядок плотный, и перевернуть его надо целиком, пластом, да минимум два раза. Потом копны сметать. На следующий день копны переворошить и погрузить на волокуши. Ну а в промежутках обкашивать вручную, литовкой — опушки, ложки, труднодоступные для косилки неудобья. Комары, оводы, слепни. Жара, пот, солнце жарит, а не разденешься, «Дэта» действует только полчаса. Так что сено не такое уж легкое — кто считал, сколько килограммов на павильнике? Я бы сравнил сенокос с работой на бетонном растворе.

Когда мы приехали сюда, ребята оживились, шутили, что пофартило: девушек оказалось втрое больше. Хорошились, разрисовали харчевню всякими хохмами: на одной стороне двери — аппетитное целое яблоко, на другой — надкушенное, и из надкуса хищно высунулся червяк. Курочка на женском туалете и петух, похожий на павлина, — на мужском. Танцы устроили... Теперь пи шу-

точек, ни петухов, ни танцев. Спят парни богатырским сном, намаялись. Ай да сено, 200 кг!

А я уже, кажется, втянулся в работу, и теперь хорошо, блаженно посидеть с удочкой на травянистом берегу. От речки веет прохладой, и вовсе не нужен оказался мой дымовичок — на удивление, комара почти и нет. Очень эта речка Хотча напоминает мою родную владимирскую Воршу...

Девчонки идут от мостков, где купались. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Им-то полегче на свекле, но и они приуныли, когда узнали, что в воскресенье тоже придется работать. Очень уж привыкли горожане к выходным — в деревне летом не знают, что это такое. Со стороны кажется: техника теперь мощная, все облегчила, но на самом деле никто и никогда не убавит вот этой повторяющейся, однообразной крестьянской работы. Круглогодичной. Природа — толковый бригадир, такой график составила, одно не кончишь — уж другое начинается.

— Девчата! А вот и рыбка, уху варить будем!

— Все-таки добавка к каше!

— На реке на Хотче от-чень кушать хот-чется! — каламбурит одна из них, и все звонко хохочут.

У меня клюет, и как по заказу, подсекаю и подношу на лесе, прямо к их рукам подлещика величиной с ладонь. Шуму! Крику! Восторга! Все вчетвером пытаются снять подлещика с крючка, да так и не удается. Приходится снимать самому.

— Девоньки, тише, рыбу распугаете! — уже серьезно, уважительно к рыбе и рыбаку говорит та, что каламбурила.

— Нет,— отвечаю ей,— рыба наших голосов не боится. Вот если по воде ударить или по берегу у воды — тогда другое дело.

Достаю кулан, пропускаю один колышек через жабры и рот подлещика.

— Девки, гляди, тут и правда уха имеется! — теперь

интерес ко мне носит уже кулинарный характер. На кухне несколько подлещиков, плотвичек, окуньков.

— А вы вот взяли бы да котелок нашли, да картошки, да лука, да лаврушки,— серьезно говорю я.

Девчонки осмысливают предложение. Вижу, клюнули: уходят быстро, деловито и без смеха. Вид моего скромного улова, запах от тлеющего дымовичка раздражили их. После купания на аппетит не жалуются. Отойдя метров на сто, они опять звонко хохочут: «Девки! Ну хоть один мужичок наш очнулся, ожил! А те — сомнамбулы! Ха-ха-ха!»

Удивительное создание природы — река! Днем и ночью, ночью и днем в любое время года беззвучно струятся воды, словно к какой-то неведомой высшей цели. Приток — в Хотчу, Хотча — в Волгу... Если не плывет по поверхности стебель рогоза, камышинка, лист, то движения воды и не заметишь, а оно происходит ежесекундно, и в каждую частичку времени струится мимо частичка воды — частичка жизни.

Городской человек настолько быстро отходит от живой природы, что когда остается наедине с ней надолго, то многое кажется странным, и не оставляет ощущение, будто кто-то пристально смотрит на тебя. Этот «кто-то» — природа. Вот деревья — они стояли точно так же и вчера, и десять лет назад, и когда тебя вообще не было на свете. Что удивительно: когда тебя не было на свете, все это уже было, и речка, и берега, и эта церковь, и деревья. А тебя не было. Не существовало.

Удивительное создание природы — дерево. Оно обречено на неподвижность в отличие от всяких тварей земных, водных, небесных. Оно никак и ничем не может защищаться, делай с ним что хочешь, хоть по листику, по веточке обрывай каждую минуту, мучай, пытай — не заропшет, не застонет, не убежит. Но растут же деревья на

планете, значит, беззащитность все же защищает, и хорошо защищает, надежно!

У реки непроизвольно думается о вечном.

Не знаю, сколько прошло времени, я задумался, мысли увели-унесли куда-то далеко. И тут послышались шаги. Весь берег — как луг, но не заливной, а сухой, твердый, и тишина такая, что легкие девичьи шаги звучат гулко, будто под землей пустоты.

— Только и хватило их до койки дойти! — говорит она, и я рад, что это та девушка, которая каламбурила. И рад, что она вернулась. — Ты, говорят, Марина, уж принеси нам ушицы сюда...

Передаю ей удочку и отправляюсь за хворостом. Марина и впрямь принесла кастрюльку со всем необходимым, значит, быть ухе!

В полукилометре, в липовой рощице, стоит старинная заброшенная церковь. Позолоченные листы сняты с решетчатых куполов, но почему-то не сняты кресты. На закате вся роща выглядит основанием для кучных, дружных куполов, и от этого они и колокольня без колоколов выглядят еще монументальнее. Возле церкви всегда как-то по-особенному ощущаешь, что ты безбожник.

В рощице я набираю хвороста. Возвращаясь, вижу, как Марина пытается поймать крутящуюся вокруг нее, словно на карусели, плотвичку. Радости-то — с а м а поймала!

Вдоль берега, по еле торенной травянистой дороге медленно и осторожно, словно на ощупь, идет желтая машина. Водитель явно перестраховывается, ведь все плато от церкви до воды ровное и прочное, как футбольное поле. Он останавливается возле Марины, и мне заранее, еще до того, как увижу его лицо, становится неприятен этот водитель. Но у него хватает такта стать лагерем чуть подальше от нас.

— Я сама, сама! — весело кричит Марина, не давая мне снять ее добычу с крючка.

Сама так сама. Быстро развожу костер, потрошу ры-

бу, набираю воды. Кастрюля создана не для костра, ее не подвесишь на таган, и я уйду на поиски камней. Вот, теперь костер стал очагом.

Марина неловко закинула удочку — крючок зацепился за неньюфары. Терпеливо вывожу снасть и рассказываю, что неньюфары — это название водяных лилий, водяные лилии белые, северный лотос, а кувшинки — желтые, и рыба любит кормиться подле водорослей, где не так опасно.

К этому времени я успел хорошо рассмотреть Марину — красавицей ее не назовешь, да и не это главное, но лицо редкое, обаятельное, и такая добрая, светлая улыбка, что, когда она улыбается, никто не усомнится: перед ним красавица! У нее стройная фигура, тонкие гибкие руки. Синий сарафан в крупных ромашках делает ее еще более привлекательной.

Мне упорно кажется, что мы с ней когда-то танцевали. В первые минуты встречи сегодня оба обрадовались тому, что остались вдвоем, но теперь ей стало неловко, сомневается, правильно ли поступила, не слишком ли смело? Я уже кое-что знаю о ней: студентка второго курса Московского текстильного института, коренная москвичка, кроме нее, в семье двое братьев, с которыми она сизмальства бывала во всяких мальчишечьих переделках. Что бы она ни говорила о себе, все говорилось просто, непринужденно, так же произвольно, как я узнал ее имя. По-настоящему естественный человек — большая редкость в наши дни. Мы оба и не обратили внимания, что говорим друг другу «ты».

— Саша, что это?! У меня галлюцинация? Речка вспять потекла! — восклицает Марина.

Действительно, оторвавшийся лист кувшинки уплывает вверх по течению. Вот в чем дело! Хотча впадает в Волгу, ниже по течению — водохранилище, ГЭС, плотина. Включили турбины — и Хотча остановилась. Избыток воды в водохранилище возвращает течение вспять. Гидродинамика...

Наши соседи, приехавшие на лимонно-желтом «Жигуле», разожгли костер и рыбачат, но пока ничего не поймали. Их двое, пожилые муж и жена. По номеру машины я определил: москвичи. Это же надо, почти за двести верст на рыбалку ехать! Двести верст и 200 кг сена странным образом связались в моем уме. Женщина часто поглядывает в нашу сторону.

— Видишь, Сань, к старости всего достигли: вожденной машины, обеспеченности, свободного времени, — говорит задумчиво Марина. — А веселья нет, и им некуда девать свою полную свободу.

— Да-а, в будний день за двести км на рыбалку ехать... А по мне, Маринка, лучше черный хлеб — но с аппетитом!

Словно подтверждая наши догадки о том, что им невыносимо скучно вдвоем, хозяин «Жигулей» в шортах и импортной кепочке с прозрачным козырьком направляется к нашему костру.

— Добрый вечер, ребята! На что ловите, на червя? А у меня ни на червя, ни на геркулес не берет. Ни поклевки...

Объясняю ему, что червь червя рознь. Он своих из Москвы вез, они и скисли, а мои из картофелехранилища такие живчики — на пять минут в воду нырнет, а все извивается.

— Ребят, вы студенты? А гитары у вас нет? «Ах, чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...»

— Почему студенты непременно должны быть с гитарой? — не ему, себе говорит Марина. Она против стереотипов.

А сосед уже исследует нашу уху, завидует улову — он не может понять несправедливости жизни: у него первоклассные импортные снасти, спиннинг, телескопические удилища — и ни поклевки! У нас же неоструганный мальчишечий прут и уже закипает уха.

Жена зовет его тягучим голосом, и мы с Мариной молча радуемся тому, что опять остаемся вдвоем.

На донке отчаянно болтается крошечная щепочка, привязанная вместо колокольчика. Подсекаю и вытаскиваю ерша. Ерш — нахальная рыбешка, вроде азовского бычка. От такой поклевки можно дар речи потерять. Отправляю его сразу в котел, без ерша какая же уха?

Вечереет. Мимо церкви гонят стадо черно-пегих коров, выстрелом хлопает длинный бич пастуха. Слишком уж мелки коровки или все еще не набрали нужного веса, зимовка была нежирной. Вот для этих буренок мы и перекантовали сегодня сорок пять тонн сена. В одном вологодском колхозе нам рассказывали невеселую быль: дали корове сена, она его обнюхала, но не ест. Почему? Да впервые в жизни увидела — привыкла к соломе. Эх, Нечерноземье ты мое...

Марина умница, даже чай прихватила, и, чтобы сделать ответный сюрприз, я снова ухожу к церкви — заметил там одичавший и разросшийся малинник. «Малина для Марины», — каламбурю про себя. Заодно прихватываю для костра кем-то спиленную и засохшую липку — Марине так нравится жечь костер и смотреть на огонь, обхватив колени руками, значит, хвороста понадобится много. Возвращаюсь и вижу, что человек в жокейке и шортах опять торчит у нашего костра. Он принес транзистор и бутылку водки и протягивает ее мне как пропуск в наше общество. Но не пьем мы этой псевдопшеничной, не пьем, не научились еще. А по радиоприемнику звучит чистая, тихая и причудливая мелодия «Как прекрасен этот мир...».

Мир действительно прекрасен, как эта бесшумная скромная речка Хотча с плавными изгибами берегов, как эта чисто русская равнина на другом берегу, вся в богатырских шеломах — копнах сена. Отсюда кажется нереальным, невероятным, что напротив нас — суша, она на одном уровне с водой, и странно, что речка не залила ее. И уж какой русский тот лесок, оседлавший округлый пригорок... Кричат маленькие речные чайки, лучший указатель того, что речка — рыбная, скрипит ко-

ростель, ласточки на лету чиркают клювами — пьют воду. Я рассказываю Марине, что у ласточек и стрижей наибольшая скорость полета, до семидесяти километров в час, и в общежитии над моей кроватью висит большой фотоснимок, талантливо снятый кадр: ласточка на лету пьет воду. Вообще удивительно, эти чудики-горожане ничего не знают: какие птицы вокруг, какие травы... Я сорвал соцветие пижмы, растер в пальцах эти маленькие желтые пуговички, и вокруг оглушительно запахло полынью.

Марина рассказывает о детстве, которое провела в Подмоскowie с бабушкой, и мне немножко жаль, что говорит она это не мне одному. Наш сосед тоже вступает в разговор, вспоминает студенческую молодость. Нам как-то неудобно за него, ему пятьдесят с хвостиком, а вставляет в речь словечки тридцатилетней давности: чувак, брод, лабухи. По его мнению, и сейчас молодежные.

Над водой белыми язычками вспыхивает пар, сначала он показался мне дымом нашего костра. Сейчас вода теплее воздуха. Солнце садится почти на севере, светло до полуночи — в Ленинграде, недалеко отсюда, стоят белые ночи,— и по ровному малиновому свечению диска можно заключить, что завтра снова будет жаркий погожий день.

Мы с Мариной решаем искупаться. Сосед назойливо смотрит, как мы спускаемся к воде, раздеваемся, входим в воду. Марина ступает, как «Северная мадонна» Ильи Глазунова. Она не в восторге от этого художника, но мне кажется, есть в жизни движения, жесты и взгляды, повторяющиеся все сорок тысяч лет, сколько существует нынешняя цивилизация, и если художнику удалось схватить и верно передать хотя бы один из них — мы уже вправе считать его мастером. Вот это осторожное движение, первый шаг в воду, опасливый и грациозный. Или когда женщина, подняв локти вверх, укладывает волосы на голове. Или когда сидит усталая, руки покоятся на коленях — поза матерей и бабушек.

Мы бесшумно плывем рядом — терпеть не могу визгов и грубых игр на воде, — плывем и видим, как прямо перед лицом возникают и гаснут язычки белого пара, будто по снежной степи начинает гулять поземка. Противоположный берег уже подернулся дымкой, а нашу стоянку я различаю лишь по крохотному красному пятнышку костра.

— Какой вечер сегодня... — Марина ищет высшее слово, но не находит его и говорит «роскошный».

— Да. Только не говори, что вода как парное молоко.

— Хорошо, не буду.

Из воды не хочется выходить, она успокоила дневные комариные укусы, сняла, смыла усталость, тела невесомы, словно мы снова вернулись в детство.

— Слушай, — говорю я, вспомнив. — Марина, а ты была когда-нибудь в нашей дискотеке?

— В Бауманском? Да, в прошлом году.

— Мы танцевали с тобой. Точно. Я сразу это вспомнил, как увидел тебя.

— Саш, это глупо, но я тоже весь вечер спрашиваю себя: где я его видела? Да, ты прав, в дискотеке Бауманского. Выходит, мир и вправду тесен... А почему ты выбрал этот вуз? Хочешь окончательно двинуть вперед НТР? Поберег бы вот эту красоту.

— Знаешь, с тех пор как мы начали изучать баллистику, я много думаю о таких вещах. Надо как-то останавливать разрушительную силу человечества. Может, я неправильно выбрал вуз. Признаться, поступал туда, куда было труднее. Там конкурс небольшой, принимают с тройками, но кто бы знал, как трудно получить этот трояк!

— Значит, шел по пути наибольшего сопротивления?

— Нет, просто сызмальства с техникой, я и природу и технику люблю одинаково. Пока школу окончил, получил права на вождение большинства видов транспорта. Целая коллекция удостоверений. Просто интересно было: бульдозер освоил, а на автогрейdere еще не ездил...

В густеющем у берегов тумане — три распустившихся водяных лилии. Я подплыл, сорвал их для Марины:

— Если вплетишь в волосы, то никогда не утонешь. Народная примета.

— Ну да, русалочкой буду. Моя любимая сказка в детстве — про русалочку. А где наш костер?

И правда, где? Все в тумане, в фантастическом густом тумане, как в новогоднем снегу. И нет красной точечки костра.

Наконец находим его, одеваемся. Пока мы купались, жена соседа тоже пришла к костру. Она моложе, чем показалась сперва, но у нее угасший взгляд и обезжиренная кожа. Нездорова? Или просто немало хлебнула в этой жизни? Невольно приходит на ум термин сопромата «усталость металла». И думается о том, что если уж металл устает, то люди — подавно. И я с непонятным самому сочувствием смотрю теперь на эту женщину.

Марина действительно вплела лилии, и они засветились в прическе как три звезды.

Сосед говорит, что коль мы не любим водки, то вот «женское вино», и протягивает нам две чайные чашки с сухим вином.

Уха получилась наваристая, душистая, и мне нравится, что Марина с нескрываемым аппетитом уплетает ее. Когда-то бабушка моя говорила: ловить зверя, птицу или рыбу для забавы — большой грех, лови только для пропитания. Вот — для пропитания. «На реке на Хотче очень кушать хочется».

Женщина тихонько, без слов напевает песенку Никитиных «Когда мы были молодыми», и мне нестерпимо жаль ее. Оба они молчат или, что равносильно молчанию, говорят о тумане, клеве, завтрашней погоде. Транзистор работает на самой малой громкости, и я вдруг различаю мелодию «One way ticket» — «Билет в один конец». Когда-то, когда нас, малолеток, еще не пускали на танцы, звучала мать этой песни «Синий-синий иней...». Какое любопытное возрождение, какой старый-новый ритм...

Включаю громкость на всю, и мы с Мариной танцуем. Но не так, как тогда в дискотеке, а посвящая танец только друг другу. Тут не надо коллектива.

Соседи смотрят на нас: мужчина восторженно, женщина с грустью — и едят уху. У них есть все — и нет ничего, у нас же ничего — но мы богаче всех!

Напоследок пьем чай, заваренный в большой кружке. Вот та минута, которую я ждал: у всех изумленные лица, ай да чаек! Пахучий, без сахара сладкий, пил бы да пил — а его уж нет. Это невидные корешки малины так преобразили третьесортную заварку, какую мы называем «Грузия-фильм». Владелец «Жигулей» искренне клянется, мол, никогда в жизни не пивал ничего подобного. И не выпьет, потому что секрета чая я так и не раскрыл.

Марине скажу потом, а они пусть пьют свой дефицитный, индийский.

Вскоре соседи желают нам доброй ночи, а мы им спокойной. Мужчина уносит транзистор, но вдруг из тумана вырисовывается фигура его жены. Поставив приемник на землю, она говорит: «Танцуйте, ребятки. Завтра принесете».

— Слушай, они такие... такие... что их и жалеть-то жалко, — задумчиво говорит Марина. — И это счастливый брак, за который все так ратуют?

— Я тоже сначала подумал: вот, к чужому костру погреться... Нет, Маринка, у этой пары все сложнее. Поглядел я в глаза его жене, и знаешь, кажется, что она сына вчера похоронила...

— А ведь ты прав, пожалуй.

Я притаскиваю спиленную линку, развожу самый настоящий «пионерский костер», и мы танцуем у костра, как туземцы.

Но костер догорает, и приходят мысли о дне завтрашнем... Мне-то ничего, а вот Марине надо непременно поспать. Мы уходим в туман, такой крошечный, что через десяток шагов уже трудно вернуться назад, не сбившись. Я твердо помню, что деревня была на взгорке, но мы по-

чему-то идем под уклон, поворачиваем назад — и натыкаемся, почти вплотную, на пасущуюся лошадь. Берем левее — там какие-то кусты, каких и в помине не было. Из тумана выныривает фигура парня, за ним девушка, оба весело и смятенно спрашивают, где деревня, а мы спрашиваем у них, и смеемся все четверо... Целый час потом скитаемся по берегу, деревушка играет с нами в прятки, и мы рады тому, что Хотча не отпускает нас и не дает расстаться. Наконец туман светлеет, редет, на северо-востоке уже занимается рассвет и разлучает нас.

Завтра — нет, уже сегодня, я принесу Маринке букет из земляники.

СТАРАЯ ТОРОПА

1

Впервые за многие годы не поехали мы на утиную охоту в заветное место — Старую Торопу. Так уж складывался этот год, что выехать ни в августе, ни в сентябре не было никакой возможности. А в октябре какая охота? — утка стала пугливая, стреляная, осторожная, сбивается в стаи и с малых водоемов уходит на водохранилища тренировать молодняк перед полетом в Африку... То сын, главный компаньон во всех поездках, то истосковавшаяся собака напоминали, что осень давно наступила. Стоило звякнуть ключами от машины или достать по дождливой погоде резиновые сапоги, как сеттер мой тут же заглядывал в глаза и читал во взгляде, как умеют все дети и все собаки, только то, что хотелось прочитать: едем! Бешено принимался скакать по комнатам, таскал в зубах носки, шарф, перчатки — словно помогал в сборах, словно подгонял: ну же, медлительные вы люди, ну скорее, улетит ведь птичка! И в этих своих прыжках и суете норовил и в щеку лизнуть, и успевал, лукавый, усомниться — коль в самом деле едем, почему ж ты, хозяин, главного-то не достаешь? А главное в его собачьем

представлении даже не ружье и патронташ, а рюкзак и бутылка с завинчивающейся пробкой, для чая в дороге. Вот если бутылку достали — тогда точно едут! Тут уж собачьей радости нет предела! И хоть все английские собаки молчуны и тихони, такие песни петь начнет, и не поверишь, что собачье горло способно их выдавать: «Мам-мам-мам!», «Мур-мур-мурр!» Однажды сын поддразнил сеттера, «мам-мам» ему для подначки спел. Что тут с бедным псом было! В воздухе сальто вокруг хвоста делал! Но увидел, что разыграли его, ушел на свою подстилку, лег, морду на вытянутые лапы положил и исподлобья два дня на нас полумесяцами белков угрюмо зыркал: эх, вы!.. «Бой с нами не разговаривает!» — сказал тогда Малыш.

Старая Торопа... Произнесешь эти слова, и сразу представляется хмурое мокрое Волоколамское шоссе, пересекающее зеленые от озими или рыжие от стерни поля, разноцветные листопадные перелески или взъерошенные льняные делянки, на которых маленькими побурелыми вигвамами стоят снопики льна. Порой и на шоссе оброшены с грузовиков их раздавленные венчики — жадный или слишком торопливый водитель нагрузил сверх меры, да не обвязал... И город Ржев вспоминается по знаменитому симоновскому стихотворению «Я убит подо Ржевом». Да, бои в этих местах были кровопролитные, и танк на пьедестале или полуторка с «катюшами» напоминают о них. А когда проедешь Нелидово, мелькнет вдруг после знаменитой Западной Двины тихая, коричневая, торфяная и неширокая речка Торопа и заставит задуматься: почему «Торóпа»? Торопыга, торопливая, шустрая речка была? Теперь же остепенилась, течение медленное на первый взгляд, в самой себе речка течет, и не увидишь этого сразу, туристским взглядом — рассмотришь много позднее, когда избородишь ее на весах, намозолишь руки, насидишься в камышах, озябший, с ружьем на изготовку или с удочками в окаменевших руках — тогда-то и узнаешь, что под первым, спокойным

и медленным слоем воды сильное течение сгибает подводные травы, сносит и лодку, если не забьешь ее в гущину камыша. А «Старая» — потому что образует речка широкую, на озеро похожую старицу, любимое место уток и гусей перед перелетом, и на берегу этого круглогодичного разлива стоят бревенчатые домики базы охотхозяйства. К базе подъезжаешь всегда вечером — далека все же дорога; по высокому чистому и веселому сосновому лесу, по песчаной остойчивой дорожке, и первое, на чем отдыхает взгляд после мелькания серого асфальта, — мох и грибы во мху. В любые, самые засушливые годы, в летние или первый осенний месяцы приезжайте в Старую Торопу и увидите, как в сказке, напоказ выставленные лесом грибы по опушке. Несъедобные мухоморы и поганки, полусъедобные валуи и белянки — белые грузди, которые выделяют млечный, горько-терпкий сок, из-за чего и не берут их грибники, — стоят вперемешку с подберезовиками и маслятами, боровиками и моховиками. Видно, потому, что в Старую Торопу приезжают больше охотники да рыбаки, не бывает в бору сбитых, срезанных, растоптанных грибов — и стоят они строем во все времена, утопая в нежной подушке мха длиннющими ножками, чтобы преодолеть этот толстый мох.

Местные собаки — две лайки, гончак, кем-то оставленный спаниелька и с бельмом на глазу диковатый кобель «дворянской породы» дворняга Дик — с лаем бегут за машиной и тут же подобострастно виляют хвостами и выпрашивают подачку: всю эту свору весну, лето и осень никто не кормит, кроме приезжих, и время от времени собаки исчезают с базы — промышляют в лесу, мысляют.

В летней кухне топится широкая русская печь, распространяя на весь лагерь острый запах сушащихся грибов — устойчивый дух Старой Торопы. Грибы лежат на поленьях, предвзначенных на растопку, висят в низках с потолка и на шампурах из алюминиевой проволоки.

В отличие от многих других охотничьих хозяйств здесь

чаще всего малоллюдно, разве что на открытие сезона пожалует десяток охотников сразу. Далековато все же, четыреста верст для москвичей не крюк, да овес нынче кусается. Зато те, кто ездит сюда, — давние знакомцы, и вот уже идет к вам, улыбаясь, начальник хозяйства Юрий Михайлович, и приятно, что за полгода не забыл, с другими не спутал, а потом подойдет и Валя — жена егеря. Она разместит, посидит за чаем за компанию, рассказывая об их жизни и расспрашивая о столице. Поделится и горестями — сын Коля, шофер, в аварию попал, живой, слава богу, да вот машину ремонтировать надо... И поохотничьи о погоде рассудит: перелет-то нынче ранний, птица уж в косяки сбивается, но над базой вчера утки еще кружили, сейчас за старым мостом они...

Глаза у нас зажигаются, и хоть дальняя дорога дает себя знать, тут же наскоро перекусываем, идем за веслами — и на вечернюю зорю! Сын несет на плече ружье и становится от этого сразу на несколько лет взрослее. По песчаной белой тропинке между сосен выходим к лодкам, лежащим на дощатом причале, выбираем легкую, алюминиевую, с плоским рифленным днищем и, хоть пасмурный день раньше времени на исходе, гребем между многочисленными камышовыми островками на середину. Один островок минуешь — открываются три-пять новых, невидных прежде, за ними — другие, и так, сколько плывешь, столько и меняется картина вокруг, то сужая, то безмерно увеличивая пространство. Камыш, осока шелестят на слабом ветру, отражаются в воде и особенно красивы, когда розово-сиреневый, с багрянцем, закат окрашивает и облака, и островки, и отражается в спокойной глади воды. Попадаются порой под веслом толстые, желтоватые корневища водорослей. Постепенно вырисовывается черная стена ельника на противоположном берегу, зрение обостряется, и кажется, будто светлее стало — на открытой воде и впрямь светлее от небесного простора, отражающегося внизу, и городской глаз не нарадуется переходам цвета и многочисленным оттенкам. Вот в

пихтаче зажглись золотые кроны берез, видны красные вкрапления кленов и кустарников, а те, неясные деревья, окрасились вдруг в глубокий фиолетовый цвет. Прорезается и слух, прежний, не задавленный городской жизнью, и слышны петухи в деревне, одинокий мотор трактора, голоса. Они далеко, но кажется — рядом, так чисто, без искажений, идет звук по воде.

Лодка останавливается в камышах с подводным скрипом по корневищам, метелки почти смыкаются над бортами и нашими головами, и сын надолго замирает, вглядываясь в молочно-белесое осеннее небо. Устало машет крыльями медлительная ворона — серых ворон приказано отстреливать над территорией охотхозяйства, потому что эта невзрачная и такая привычная всем хищница безбожно грабит весной все птичьи гнезда, выпивает яйца. Лапки убитой серой вороны принято сдавать егерю для отчета, но мы не стреляем ворон. Нырря короткими волнами, летит пестрая, черно-белая сорока — вот пока и все движение над Торопой. Обвыкшиеся глаза вдруг различают среди бесчисленных островков сидящую себе преспокойно утку! Но, прежде чем выстрелить в суе, приглядишься: да это же причудливая кочка так искусно подделалась под дичь!

Природа завораживает, сосредоточивает твой взгляд на чем-нибудь одном, заставляет невесть о чем задуматься, и только-только уплывешь куда-то далеко на легкой лодочке детства, под мерный всплеск волн о борт, тут-то и услышишь тихий упругий шелест, посвист быстрых крыл о разрезаемый воздух — летят! Оба подхватились, сердце бьется, глаза стали еще зорче — летят! Вот они!

И с сожалением, с завистью к ним, свободным и осторожным, расслабляешь натянутые струной мышцы и нервы — высоко, вне выстрела! Иной раз и выстрелишь по этой быстро удаляющейся вибрирующей «ракете», так, для острстки, зная наверняка, что недолет. Утки тут же уходят в разные стороны, еще прибавляя ходу, и снова сходятся вскоре в стройное, волнующее звено — с каж-

дым выстрелом в них еще прибавляется осторожности и недоверия к таким заманчивым, мирным островкам. Права была Валя, эти еще не прибились пока к стае, летают по-прежнему на кормежку в поля, клюют осыпавшееся во время уборки зерно, а ночевать прилетают к водоемам. Но, кроме еды и покоя, есть у них сейчас главная неотложная нужда — найти свой коллектив, примкнуть к стае, без которой немислимо отважиться на перелет.

Сколько раз мы с Малышом разглядывали убитую утку — нет, вовсе не этот бескостный комок перьев так красиво и счастливо летел только что! — столько раз размышляли, какими же талантами наделила великая природа эту летунью! Плавает, ныряет, летает с большой скоростью — до 60 километров в час, прекрасное зрение, на лету с высоты различит фальшь в плохо раскрашенном чучеле. А слух! А безупречная географическая ориентировка, а выносливость какая, чтобы пролететь тысячи километров! И все эти качества, все таланты умещаются в крошечной вечно улыбающейся головке, в одном кубическом сантиметре мозга! И приходило великое сожаление: только что мы разрушили своим выстрелом вот это таинство, это великое единство трех стихий — воздуха, воды и земли, оборвали полет.

Чем хороша Старая Торопа — тут никогда ничего не меняется. Тот же лес, те же домики, те же грибы, причал, лодки, островки. Словно и сам ты по-прежнему молод, будто не постарел на пять лет со времени первого приезда сюда. И только выросший сын возвращает чувство времени: был мальчишка — стал юноша.

— Еще посидим, — говорит Малыш баском.

Что для него охота? Природа. Хоть удачная, хоть пустая зоря ему равны. Значит, не в трофеях дело. Дело в вечном покое, разлитом вокруг, в вечных занятиях воды, неба, леса, земли. В созерцании красоты. Не раз уже мой коренной горожанин призывал взять отпуск, палатку и уехать вдвоем да с собакой в леса под Старую Торопу.

Жить у озера, ловить рыбу, стрелять уток. Несовременный он какой-то, не люб ему город. Признался, что профессию выберет какую-нибудь сельскую, станет пасечником или механизатором и жить будет в селе. Посмотрим, Малыш, посмотрим...

Мы ждем, стараясь никак не звучать, молчим и цепенея от того, насколько нам здесь хорошо. Лишь иногда меняемся местами, чтобы дать отдых глазам. Но и тот, кто сидит с ружьем на носу лодки, и тот, кто отдыхает на корме, — оба в равной степени обшаривают горизонт локаторами глаз, слуха, чутья. Да, чутья. Тем и хороша любая охота, что пробуждает в человеке долго дремавший, казалось, совсем отмерший инстинкт.

Вот и одинокий фонарь на хуторке из четырех домиков зажегся, такой яркий, и пропал из виду пригорок — наш ориентир у пристани, вот уж и на языке было «пора!» — как опять слышен стал упругий посвист крыльев. Малыш подкрякивает в манок, и утки описывают косой круг, снижаясь над нами, привлекаемые возможной стаей. Но они зоркие и, не усмотрев собратьев на воде, уходят на восток тем же плавным виражом. «Эх, надо было чу-чел взять!» — досадуем мы, а в воображении рисуется этот плавный, с разворотом, заход уток на посадку, с опущенным к воде хвостом и распростертыми тормозящими крыльями, и пенный след лапами и гузкой по воде... Ах, красиво же они садятся!

Но и вправду пора. Влажный ветерок сквозит меж островков, и, чтобы согреться, мы гребем энергично каждый своим веслом. А с берега уже нетерпеливо лает, зовет и повизгивает Бой, не простивший измены: без него хозяева на дело уехали!

Вытащив лодку на помост, мы идем по еле угадываемой тропинке, один с ружьем, другой с веслами на плече, от резиновых великоватых сапог у нас усталый и мерный шаг наработавшихся мужчин, и вдруг замираем. Где-то неподалеку над нами раздается курлыкание-гоготанье. Стая гусей проходит над лесом. И тут же все озе-

ро оглашается трубными грубыми звуками: плещется, хлопает, гудит, прищельцы суетятся, ссорятся из-за места. Так и есть, стая гусей решила заночевать здесь. Вот удача!

Но над черной рекой курится туман, не различить и островка. Видно, придется встать утром затемно и попытаться счастья. Мы ужинаем, быстро укладываемся спать и даже сквозь дрему, сквозь ветерок в ушах и бульканье воды под днищем лодки слышим шумное новоселье гусей-северян.

2

Трубные голоса на озере заставляют вскочить задолго до рассвета. Поспешно одеваемся. Да, кажется, самая пора, за окном еще темно. Верно, гусей кто-то потревожил, может, лиса подкралась к крайнему — вот и разглотались, расхлопались. И где же их хваленая осторожность? Собака скачет в уверенной радости, что теперь-то ее возьмут — и мы правда берем Боя. Предчувствие редко обманывает его.

Посвечивая фонариком, подходим к лодкам. Смачиваем уключины, но все равно они скрипят, прямо-таки предательски скрежещут. Темнота, не видно ни зги. Прислушиваемся. По курсу впереди — гулкое хлопанье крыльев. Утихая, клокочет вода под днищем. Гогота нет и в помине. «Это у них была перекличка», — шепчет Малыш. Но чутье говорит нам, что гуси еще здесь, не улетели. Опять гребем, вслушиваемся, и даже собака напряжена до кончика хвоста. Временами пес поскуливает от нетерпения, мы шикаем на него. Наконец решаемся посветить фонарем, угадав перед собой какое-то черное пятно на менее черном фоне. Я изготовился, Малыш светит. Нестерпимо яркие стебли островка. Два пера на воде. И больше ничего. Были! Только что были, место «теплое», да улетели, хитрецы. А впереди, там, за несколькими островками, словно нанизанными на невидимую ось,

опять гогот и хлопанье крыльев. Гребем туда. Темное озеро полно неясного, но ощущаемого движения, невидимой жизни, мы чутьем различаем, что не одни здесь, чутьем определяем очередной островок и огибаем его. Гулкий треск крыльев, будто кто-то ломает веник, раздается справа, совсем близко. Я стреляю, и тут же всныхивает прожектор фонаря, на полсекунды позже, чем надо, и явственно видно, как две тяжелые птицы бегут, бегут по воде, с трудом взмахивая сонными мокрыми крыльями. Еще выстрел — и они уже оторвались от воды. Малыш гасит фонарь. Эхо выстрелов еще долго звучит в ушах, и из-за этого звона не слышно все новых и новых взлетов.

За спиной, на востоке, светлеет, мы продолжаем с азартом и осторожностью обыскивать островки, наше волнение передается и собаке. Бой готов прыгнуть на очередную плавающую кочку, и его приходится сдерживать.

С каждой минутой светлеет небо, светлеет и отражающая его вода, но еще накануне подлинного рассвета мы безошибочно определяем, не зрением, а чутьем, что минуту назад населенное озеро теперь безжизненно и пустынно. Улетели сильные и осторожные, улетели старые и молодые, слабые и любители поспать, а какой роскошный шанс был на встречу!

Рассвело, разъяснилось, и в сплошной облачности, не имеющей ни контуров, ни прорех, минуту-другую светилась полоска синевы. Но ее тут же заволокло, размыло, и посыпалась водяная пыль.

— А все-таки они были! — задумчиво сказал Малыш.

— И мы их видели, — добавил я.

В городе меня пугает, если мы мало говорим, — кто знает, какие мысли в его голове, какие чувства в сердце? На охоте молчание радует — это молчаливое понимание, одновременное и одинаковое переживание одного и того же. В этом мы не раз с моим Малышом убеждались. Стоило только взять с собой на охоту дальнего родственника, студента, развитого парня, и характер в об-

щем неплохой,— как пропало начисто ощущение единства, охотничьего братства. Все-то новичок делал невпопад — радовался, молчал, говорил, все-то у него было искусственно, не по-нашему, фальшиво. И за два дня мы узнали его так, как сокурсникам, верно, и за два года не узнать. Мелкие детали, которых лучше не вспоминать, сказали нам, что это эгоист и маменькин сыночек, неловкий и неумелый в любом распростецком деле, ни выносливости, ни сметки, и близко, по первому желанию, ныть и готовность расклеиться. «Не бери его больше»,— только-то и сказал сын, и я порадовался, что Малыш растет зорким, чутким и не краснобаем. На многих наших рыбалках и охотах разглядел я и своего Малыша. Не потому ли иные родители с такой озлобленностью судят и родных, и чужих детей, что в круговороте работа — дом — магазины общаются с ними не больше часа в день, да и то общение сводится к бесконечным запретам, нотациям, нравоучениям, заштампованным со времен их собственного детства? Мы с Малышом мокли под дождями и грелись у костров, делились строго пополам последним бутербродом, вытаскивали машину из непролазных грязей, околевали на подледном лове, блудили по лесам, чавкали болотиной, гоняли себя и собаку по теркам в кочкарнике, попадали во многие переделки, спали спина к спине, чтобы теплее, и с собакой в изложье,— и всюду он вел себя как мужчина. Только раз, когда контуженный выстрелом почти в упор дупель бился у него в руках и Малыш рассмотрел, что дупелю снесло кожу на голове, сын расклеился. Ну что ж, бывают и такие неудачные выстрелы...

На охоте можно и час и два быть в напряжении, полной мобилизации всех чувств, но нельзя, невозможно всю зорю напролет, непременно надо расслабиться, дать отдых зрению. И всегда выходит, что минута эта выбрана некстати. Едва только мы вынули бутерброды из целлофана, как в молочной пасмурности мелькнуло вчерашнее звено уток. Но пока я крикнул о них Малы-

шу, пока он бросил на банку бутерброд и схватил ружье, утки уже прошли над нами. Показалось по их полету, что вот-вот сядут неподалеку, и мы стали грести в одну из заболоченных проток, где еще вчера видели утиные «каналы» — тонкие зигзаги чистой воды среди ряски, следы проплывшей птицы. И пока гребли, ясно слышали криканье впереди, среди чахлых болотных деревьев и кустов. Опять разочарование сменилось надеждой, а надежда — азартом. Пустив по болотинке собаку, я принялся прыгать с кочки на кочку, ухватываясь за обомшелые, покрытые ракушками лишайников ломкие ветки. Утки застали нас в самый неудобный момент, когда левый сапог черпал воду, а правая нога скользила по корневищу. Они летели из чащи, низко и прямо на меня.

Мы вернулись на базу пустыми.

— Это вы стреляли? — спросила жена егеря, полоскавшая белье с мостков.

— Мы.

— Рано гуси-то снялись, — извиняющим голосом подтвердила Валя. — Хитрые. Видать, вожак у них бывалый.

— Наугад стреляли, по темноте, — пояснил я, зная ее большой охотничий интерес к подробностям.

3

Устанешь, измерзнешься на реке, ветерком волглым продует тебя насквозь, изголодаешься, от гребли ноют руки и спина — и кажется, вот вернешься с утренней зори и будешь блаженно спать до вечера! — нет же, вернулись, отдохнули часок, согрели душу и руки чаем, и опять сапоги зовут в дорогу. Как же, ведь еще в лесу не бывали, на «генеральском» месте, а можно и в соседний лес наведаться, где с утра тетерка кричала, и к дальним озерам... Малыш без колебания встает и надевает куртку, а Бою только того и надо. Мы не очеловечиваем собаку, но она безошибочно распознает такие слова, как

«пойдем», «пошли», «пора». И галопом с крыльца, не обращая внимания на Дика и его компанию, что пасутся возле кухни в ожидании гостевых подачек.

Весь лес утопает в моховой, толстой и пружинящей подушке. Мы внимательны, тут и черный красавец косач перелететь может в гущине леса, в чапыжнике, как уже бывало. Среди высокого старого, еще до революции саженого бора видны участки молодых посадок, и хоть у нас обоих сильно развито чувство робинзонов, и хотелось бы, чтобы тут не ступала никакая другая нога, кроме нашей, мы видим: сосенки высажены рядами, слишком близко друг к другу, тесно им, и многие от этого засохли, накренились. Сын не удерживается от соблазна и легко заваливает рукой два-три сухостойных ствола — экий Гулливер! Видны и другие следы человека в лесу: то простреленные резиновые чучела уток валяются, то встречаются окопчики, ходы сообщения — давняя солдатская работа. Тишина здесь стоит полная, шаги беззвучны, и в предвечерний час молчат все птицы. Километра через два тропинка раздваивается, лес редее и светлеет, а мы по пятнистой от лишайников поляне выходим на песчаную, в две колеи, дорогу, ведущую опять к Торопе. Справа — дремучий, больной, заболоченный лес, деревья ревматичные, скрюченные, а между ними кочки, поросшие брусникой и черникой. Бой бесстрашно несется туда, и он прав — дичь любит такие крепи, а еще, мы знаем, ему просто нравится почавкать болотинкой, легко, на рысях вытаскивая из нее длинные крепкие ноги — «рычаги». Иной раз собака и напьется кислой стоячей воды с белой пленочкой — да будет потом бурчать животом дня два.

Большой заливной луг с коренастыми дубами по краю открывается взгляду с пригорка. Между слоистыми облаками спокойно проглядывает усталое за лето, уже осеннее солнце, и облака на закате расцветаются всеми цветами. В Москве, в совете нашего охотничьего общества, во всю стену художник написал вот такой закат

над Старой Торопой. Редкое, замечу, сочетание — художник и охотник. Но именно оно помогло ему увидеть и передать то, что видели все мы очень много раз: пурпурные, лимонные, сиреневые, фиолетовые, лиловые облака отражаются точно такими же бликами в воде между островков. Эти цвета на закате и есть лицо нашей Старой и Милой Торопы.

Однажды, когда мы охотились ниже по течению, за снесенным в половодье мостом, из верховьев слышались частые выстрелы, не дуплетами — очередями. Это отставник-генерал стрелял уток из многозарядной винтовки МЦ. Потом уехал, а мы по следам его УАЗа нашли это, еще теплое, место — заливной луг по заболоченному левому берегу Торопы, кусты, и в кустах — сидка. Несмотря на множество выстрелов, генерал уехал пустым, а мы, вопреки охотничьему суеверию, пришли тогда на генеральское место и неплохо отстрелялись. Но это было давно, а теперь уже привычно приходим сюда, считая сидку своей. На топком зыбающем берегу лежит развалившаяся плоскодонка, с которой так удобно наблюдать за небом, водой и утками. Бой опасно обнюхивает кусты и очень осторожно входит в их зеленоватый тоннель, чтобы через несколько минут появиться в другом конце луга. Так и есть! — это кабанья тропа к водопою, и запах кабана влечет и пугает собаку. Бой по собственному почину решает прочесать луг, да напрасно — ему невдомек, что болотная дичь уходит на юг первой. Но до чего же красива легавая в поиске, прочерчивающая острыми углами челнока все еще не пожухшую зелень луговины! Как останавливается она на большой скорости в точке поворота, как грациозно делает поворот всем телом и как высоко поднятый нос ее заостряется, читая строчки воздуха, и становится чуть курносым... Этот спектакль одного актера можно смотреть годами, хоть и пьеса охоты всегда одна и та же.

Вскоре за дальним от нас рядом камышей по правому берегу перелетает и садится меж островками утка.

Слышно призывное кряканье — вот и вторая перелетает к ней прямо над метелками. Ну почему у нас нет лодки именно сейчас, когда она так необходима?! Торопа широка, до этих беззаботных уток не меньше ста метров, стрелять бессмысленно. Сын подкрякивает в манок, и третья утка летит к парочке, но по пути, любопытная, заворачивает к нам плавным полукругом. Вот та минута, ради которой прожит вчерашний вечер и нынешний день! — я встаю с банки плоскодонки, снимаю ружье с предохранителя и, видя сквозь кусты идущую на нас утку, медленно поднимаю стволы. Любой охотник почувствует свою удачу, но все равно не верит ей до тех пор, пока не примет добычу в руки. Утка появляется над кромкой бахромы кустов, она на мушке, выстрел! — и полет завершается в нескольких метрах от берега. Ошеломленная собака садится на хвост — и правильно делает, по вековой традиции легавых или по привычной команде «даун!», роль которой сейчас сыграл выстрел. Затем нехотя, осторожно, отряхивая лапы, входит в осеннюю воду. Приносит в зубах, аккуратно выплевывает и обнюхивает утку. У Боя какая-то городская неприязнь к свежееубитой дичи. Сын разглядывает селезня и тихо говорит ему: «Эх, ты...» Я тем временем провожаю взглядом двух уток, снявшихся сразу после выстрела. Ясно, что сегодня они уже не вернутся сюда.

Мы делаем привал, приносим сухого бурьяна и веток, разводим костерок, перекусываем, наблюдая, как дым стелется по зеленому лугу (значит, не бывает завтра хорошей погоде!), как проясняется небо перед окончательным закатом солнца. Собака подходит к костру с подветренной стороны, подставляет пахучей теплой струе воздуха то один, то другой бок, и мокрая шерсть, свернувшаяся мелкими колечками, тоже начинает дымиться белым паром. Сын скормливает свой бутерброд Бою и чешет ему нос, в который успело впиться несколько поздних, отогретьшихся за день комаров. Пес с удовольствием подставляет морду, блаженно закрывает глаза, до-

вольный догадливостью маленького хозяина, просит всем своим обликом: «Ну почеши еще!»

— Пап,— вдруг говорит Малыш,— а тебе... ничего не будет за то, что убил этого селезня?

— Так ведь охота же открыта,— удивлен я таким вопросом, он давно знает все эти прописные истины.

— Да нет,— Малыш делает нетерпеливый жест рукой,— я не об этом. Где-то читал, что души умерших людей переселяются в птиц. А мы птиц убиваем...

Как, когда, почему возникают у моего растущего охотника подобные мысли? Вспоминается, что и сам когда-то задавал себе подобные вопросы. Откуда это у язычников, откуда это и в буддийской вере? Кто знает, вдруг и правда грешно занятие охотой — даже не праздной, не озорной?..

Я возвращаю Малыша к материалистической философии от всей этой метафизики, и он, тактичный, переводит разговор:

— А ведь это были те самые три утки, которых мы встретили утром.

Однако осень поторопила закат, а теперь она и вечер торопит, и когда мы с сожалением затаптываем уютный костерок и входим в лес, там уже темно, темное небо сливается с темными стволами, и тропинка еле угадывается. Бой рыщет то впереди, то сбоку. Ночной ветерок проходит по вершинам — скрипят стволы, стонут, трещат сучья.

Где-то здесь должен быть поворот направо, но тропинки нет. Мы свистаем Боя — собаки тоже нет. Лес стоит фантастический, дремучий. И раздается жуткий задущенный вопль — не сразу вспомнишь, какая, вполне материальная, ночная птица умеет так раздирать тебе душу. Сын молчит, но я знаю, готов в любую минуту сказать, что мы заблудились и надо бы вернуться назад, к той развилке, где следовало свернуть направо. Останавливаемся, оглядываемся и видим, как два косматых леших, раскачивая когтистыми лапами, заграж-

дают нам обратный путь. Уж не попали ли мы в тот заболоченный больной лес, где рыскал Бой по дороге сюда?

Направо повернуть можно и без тропинки, но в обманчивой темноте, без фонаря ничего не стоит проскочить мимо базы... Решаем идти вперед — помнится, эта тропинка выведет к наезженной лесной дороге, по которой рукой подать до охотхозяйства. «А собака уже наверняка дома, — завидуем мы Бою. — Поработал — и законно отдыхает, хотя мог бы и подождать». Обычно в лесу он бегаёт между нами от одного к другому, собирает, удостоверяется, не заблудились ли?

Сучья то и дело хватают нас за полы и карманы курток. Страшный разбойник, замахнувшись дубиной, поджидает за поворотом. Хохочут ведьмы и лешие, и горестно плачет ребенок, тоже заблудившийся — ну так плачет, что сейчас полезем искать его в чаще... Кто-то пристально смотрит и смотрит нам вслед, и крадется по пятам на мягких лапах, и дышит в спину... Стоит обернуться — и не узнаешь мест, по которым прошел только что — все совсем иное!

Вдруг оглушительный треск, щелканье, топот впереди. Мамонт, динозавр, удаляясь, сметает пол-леса.

— Лось, — говорю я сыну спокойно и громко.

Ну и — совсем уж страхи малым детям! — кто-то невидимый плавно и бесшумно проносит перед нашими лицами две горящих свечи. Чертовщина какая! И нехстати вспоминается вопрос Малыша на берегу Старой Торопы о душе, вселившейся в утку. А я убил эту утку... Но — прочь, о мистика, прочь! Решительно иду вперед, сосны и пихты расступаются, небо подсвечено невидной поднимающейся луной, и даже воздух меняется, отдает жильем. Какая-то речка тускло сереет впереди, откуда тут речка?!

И, только присмотревшись, обвыкнув глазом в неверном свете, мы видим: да это же асфальтированная дорога! Вот и разгадка двух свечей: машина прошла под горку бесшумно, с включенными фарами. Однако дали

мы кругалья! Теперь надо идти по дороге до лесной тропы и по ней правее. Но разве это трудности после плутаний по жуткому, заколдованному ночному лесу!

Мы бодро запеваем песню про одного знакомого есаула, шагаем по удивительно гладкому асфальту и предвкушаем тот момент, когда откроем дверь летней кухни, и пахнет на нас грибным русским духом, теплой печкой, щами и хлебом, и как мы будем рассказывать об этой охоте, и собаку пожурим за то, что самостоятельная больно, а потом повалимся на мягкие пружинные койки — и зашелестят на всю ночь метелки камышей, зажурчит вода вокруг лодки, загогочат гуси-невидимки, зажгутся в глазах все акварельные краски заката, и вынырнут из осенней пасмурности три живых чуда, три сестры — три утки...

Да, жаль, что впервые за многие годы не поехали мы на утиную охоту в заветное место — Старую Торопу...

КОРЕНЬ

Я проснулся оттого, что отнялась спина.

Привык считать себя молодым, всегда здоровым — и вдруг отнялась. Спокойно лежал в серой темноте. Вспомнил: вот уже несколько раз снилось, будто кто-то разбирает мой позвоночник, как автомобильный двигатель. Это пугало и раньше, но теперь...

Попробовал шевельнуться — нет, спина не действовала. Стало страшно: да что это, паралич, что ли?!

Кое-как, по-черепашьи перевернулся на живот и подтянул под себя ноги. В спине что-то щелкнуло. Впервые за несколько лет сделал зарядку — скрипел зубами, но делал. Умылся, взглянул на часы: почти четыре утра, никогда раньше не вставал в такую рань. И почувствовал сильный голод, словно всю ночь колот дрова. Пока готовил завтрак, меня осенило: взять лопату-заступ, туристский топорик, найти на пустыре подходящий пенек и часам к девяти выкопать его. Трудотерапия. Семья

проснется, я буду сидеть в кухне и устало курить, войдет отец и со сна сипло спросит: «Это что за осьминог?» А я отвечу: «Это не осьминог, это корень». И он озадаченно примется разглядывать его и меня.

На пустыре пней было много — на днях валили тополя, липы и клены, расчищали площадку для строительства дома. Когда-то, лет десять назад, здесь было дачное место, стояли домики с мансардами, палисадниками, садами, кукарекали по утрам петухи; когда-то покой и безмятежность были разлиты в мире, золотом и синем, и весной плыли ароматы цветущих яблонь и черемух. Теперь вокруг шестнадцатии двадцатизэтажные параллелепипеды, и с каждым годом все теснее, кучнее стоят все эти башни, скоро еще одну воткнут в пустырь, как спицу в клубок... Я обошел пустырь, бракуя те пни, какие были слишком велики или малы для меня. Очень важно выбрать дело по силам, по рукам. Наконец нашел то, что надо: свежий пенек диаметром сантиметров в пятнадцать. Рядом лежал еще не отвезенный его ствол — бывший клен средней величины. Отступив на полметра от пня, я начал копать. Упорно не оставляла мысль, что это провидение подняло меня в такую рань и продиктовало странные на посторонний взгляд действия.

Земля поддавалась трудно — пустырная, «гуляющая» уже не один год. К тому же корни и корешки составляли густую сопротивляющуюся систему, она пружинила под лопатой. Корни клена располагались близко друг от друга, между ними было слишком мало грунта, лопата то и дело скользила, и вскоре пришлось отступить еще дальше от пня. И работа пошла быстрее.

— Сигаретки не найдется? — Я вздрогнул от неожиданного низкого голоса, настолько втянула простая, давно забытая физическая работа. Передо мной стояла девушка в красных брюках, черной просвечивающей кружевной блузке, в руках она держала пиджак — пару к брюкам. Я угостил ее сигаретой.

— Твои чудачества поддельны,— простуженно сказала она.

— Твое величество похмельно,— отпарировал я, проследив взглядом ее возможный путь — видимо, она шла из парка. Прогулка в такую рань? Я продолжал копать, девушка сидела на корточках перед ямой.

— Ну, бегом бегают... Или собак выгуливают, это понятно. А вот пни копать?..— размышляла она, не обижевшись на меня.

Я понял, что к завтраку мне никак не управиться. Когда яма двухметрового диаметра и глубиной на два штыка была раскопана, стало ясно, что этот, на первый взгляд пустячный пенек, сгонит с меня еще не один пот. Корни уходили от него дугами, как лопасти корабельного винта. Они множились в геометрической прогрессии: от одного магистрального — три мощных отростка, на каждом из которых еще девять, а на девяти... я ужаснулся: там их, наверное, за сотню! И это от пенька, который я мог обхватить «за горло» большими и средними пальцами!

Ранняя незнакомка достала из своей многорядной кожаной сумки поэму Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» и читала ее вслух. Солнце уже припекало, мне пришлось раздеться по пояс. Глубже земля была вся в осколках посуды, кирпича, стекла и камня, и я почувствовал себя так, словно откопал следы и улики страшного преступления. Отблагодарил человек землю, взяв из нее все лучшее! Раз и другой обкопал по окружности, оголил главные корни. И ожесточился на свое легкомыслие: поспеть к девяти и подивить отца! Взял топорик и перерубил один за другим не менее двадцати корней. Каждый раз, когда я наклонялся над пнем, видел летящие со лба капли пота — в последний раз это было со мной вечность назад. Но вот «магистральные» перерублены. Я взялся за пень, чтобы пошатать его. Он не шелохнулся.

Девицы уже не было. Я посидел, глядя на пень, как

в детстве смотрел на старшекласника-обидчика, которого мне не побить, и понял, что там, в глубине, под этими наружными корнями снова повторена в точности такая же вертушка из менее толстых, но более цепких корневищ. Чтобы добраться до них, надо опять расширять и углублять яму, ведь сверху землю уже не расковыряешь, мешают «магистральные». А они, видные только наполовину, уже сейчас были ах как красивы! Они круто или плавно закруглялись, местами на них сверху лежали корневые же перекладины, перемычки, приросшие намертво. Вообще корневая система напоминала мне геометрию метрополитена с кольцевыми и радиальными маршрутами, но тут были еще и вертикальные, и наклонные, уходящие под самыми разными углами от оси.

Я утерся, выкурил сигарету и взялся расширять яму. Пришлось заново рубить все подряд верхние корни — иначе к нижним не подобраться. Я высмеивал себя за невежество: в самом начале погубил самые красивые отростки, поторопился перерубить их в первый раз, чересчур близко от пня.

Когда яма была вторично расширена, а корни снова перерублены, ко мне подошла старушка с сеткой пустых бутылок:

— Бутылочек нету, сынок? А ты что, клад ищешь?

— Чщ! — шикнул я на нее, и она заторопилась прочь, испуганно приговаривая: «Милочек, да я ж никому, мое дело сторона, мне — бутылочек бы...»

Перед тем как уйти домой, я еще раз пошатал пень — это было то же самое, что пошатать собор Василия Блаженного.

Обедал быстро и молча.

— У тебя голова в глине, — сказала мать.

— Знаю.

И снова ушел на пустырь.

Вокруг моей ямы стоял пионерский отряд. Ни минуты нельзя побыть в городе в одиночестве.

— Дядь, а правда, что вы клад нашли?

— А? Правда? Золото?

— Не пихайся, тебе говорят! Ивана Четвертого клад, ага? — одновременно обрушилось на меня в первую же минуту. Как быстро распространяются слухи!

— Клады ночью копают, — сказал я, и это их убеждало.

Оставшись один, повел новую круговую траншею. Лопнули три водяные мозоли, наливались кровяные. Как я и думал, «второй этаж» корневищ оказался ничуть не меньше первого. О, как они обманывали, изгибались будто бы влево, а на деле — вправо и вглубь, и тогда уж влево! Я рубил их и топором, и лопатой, отгибал руками, выскребывал, как крот, землю, я изощрялся, а жажда была настолько нестерпимой, что готов был напиться из ближайшей лужи!

Пенек издевался надо мной, сбивал спесь и учил мудрости. И удивительно: начав это никчемное, вроде бы пустячное занятие, его почему-то невозможно было бросить. Чем большее сопротивление оказывал пенек кле-на, тем больше сил и упрямства вызывал во мне. Кто кого?

Когда стемнело, я обошел, пошатываясь, вокруг пня, держась за него, взвалил лопату, выронил топор и на слабых ногах поплелся к дому. Завел будильник опять на четыре и сразу уснул. Снов, конечно, не видел никаких. И утром не было пугающей неподвижности. Удивительно, что проснулся я... от радости. Да-да, беспричинной, какой-то детской радости. Будильник показывал 3.50, значит, еще не звонил. Я перевел стрелку, приготовил себе завтрак и съел столько, сколько раньше мог съесть лишь в обед.

И нетерпеливо заспешил на пустырь. Все в округе еще спали, ни машин, ни троллейбусов, и на траве лежала роса — давно не видал росы. Отчего-то я забыл выкурить утреннюю сигарету и ощущал запахи, как новорожденный.

Вся выброшенная мной вчера земля была плотно утрамбована, но искатели клада, к счастью, не сбросили ее в яму.

Я поплевал на мозоли и взялся за лопату.

Во время перекуров приятно было разглядывать это произведение искусства. Корни были покрыты рубашкой — толстой и влажной корой, которую кое-где я неосторожно разрубил. Интересно, как они определяют, куда им расти, где свернуть? И как распределяют, что оставить себе из питательных веществ, а что отдать наверх, ветвям и стволу? И что за участь — всегда находиться в темноте, в тесноте, без солнца, а там, наверху, — бал-маскарад листвы! По сравнению с этими многолетними, а то и многовековыми корнями человек — лишь листочек на один сезон, который пожелтеет к осени и улетит с ветром... Вот соседние деревья, они были посажены еще до революции, под ними гуляли барчуки, дети того генерала, которому принадлежал двухэтажный особняк, где теперь расположен Дом пионеров и где в башенках-фонарях до сих пор уцелели венецианские витражи...

Заставляла задуматься и земля с давно забытым, не сравнимым ни с чем запахом свежести. Здесь, в глубине, корни то и дело натыкались на битое стекло, ржавые гвозди, шкворни, изоляторы от фонарей, камни и всякий хлам, сворачивали, изгибались. Они выжили, потому что умели идти и напролом, и на компромисс. Что есть земля? Как растворяет она все попадающее в нее, как дает соки яблокам, малине, цветам, если в ней, в ее потаенных глубинах ежедневно и ежегодно, веками происходит один и тот же процесс распада материи? Но не тленом, не гнилью отдает из глубины, а свежестью почти такой же, какой бывает свежесть распыленной водопадом воды. А подземные воды, подземные реки и озера, о которых мы никогда не думаем?..

В яме снова стало тесно, она была завалена землей. «Третий этаж» оказался меньшего диаметра, чем преды-

душие. Выгребая землю лопатой из-под корня, я всюду наталкивался на ничтожные, бездарные результаты своей работы, на обрубки, угрожающе оцетинившиеся на меня. Пространство между отростками было забито густой, как мох, системой корневых волосков, которые прямо-таки впились в комья грунта. Наверное, земля между корнями плотнее всего потому, что по мере их утолщения с годами она прессуется ими.

К вечеру в субботу моя добыча — ура! — качнулась. Я не мог понять, чем он жив, корень, что теперь дает ему опору? Ведь он кругом обкопан, все его системы перерублены, земля вынута, а он — стоит! Стоит, и хоть тресни! Шатается, но стоит. Утром я клялся себе, что уж сегодня не уйду с пустыря без него, но... было уже так темно, что в яме ничего не разобрать.

Лишь утром я разглядел, еще раскопав грунт под корнем, что вертикально от пня уходят целых два ствола! Они, как корни зуба, в глубине отделяются друг от друга, да к тому же и разветвляются там, внизу. «Этой песне нет конца, начинай сначала», — как говаривала моя бабушка. Уже не оставалось сил на смех над собой: «принести к завтраку»! Отупело, отрешенно и не имея воли отвлечься хоть на минуту, я копал, рубил и снова копал. Пень ходил ходуном, верхние сучья уже доставали до края воронки, но он стоял. Он стоял! — и я казался себе каторжанином, которому пожизненно корчевать пни по всем пустырям. Не оставалось сил, чтобы честно до конца откопать его, и тогда я смалодушничал: принес ножовку и перепилил оба центральных стержня. Наконец корень хрустнул и со скрежетом завалился набок.

Мы оба тяжело дышали.

Радости не было. Я понимал, что победил при помощи подножки, и дал себе слово, не отходя от его вскрытой могилы: следующий пень выкопать по всем правилам, в честном и открытом поединке. Еле-еле вывалил я свою победу на поверхность. Когда пень перевернулся

на торец, я увидел, что это целая скульптурная композиция.

Через пустырь шли двое мужчин.

— Корень,— сказал один удивленно.

— И зачем? — философски спросил второй.

— Модно стало. Природа в доме...

Я решил подыграть ему:

— И ценится сильно.

Оба насторожились:

— Где ценится?

— В художественных салонах.

— А, ну да,— подхватил всезнающий.— Я видел, такие цены!

— Это смотря какой архитектоники и смотря какая обработка,— состроил я знатока.

Второй заинтересовался: а какая?

— Ну, это целая кухня. Во-первых, отобрать нужные корни и удалить лишние. Во-вторых, очистить от коры...

Оба изумились: на корнях тоже кора?! А я расписывал, как зачищать, сушить, морить, травить, шлифовать, полировать. Авторитет мой рос с каждой минутой.

— Видал? — спросил тот, всезнающий.— Вот тебе и шабашка. Субботу-воскресенье отдал, и сотни три в кармане!

— Давай на троих! — предложили они. Но я отказался, мол, пока обучишься, пней не останется. И они пошли по пустырю, обсуждая неожиданный источник вполне трудового дохода. А я подлез под свою добычу и, как еж — яблоко, поднял ее на спину.

В лифт корень не входил, пришлось идти с ним по лестнице. В дверь он тоже не проходил. Вышел отец, сложил газету и спросил:

— Это что за осьминог?

— Это корень,— просто сказал я. Мы отпилили с ним чурбашку пня, и корень наконец прошел в дверь боком. Я поставил его на пол в своей комнате. Вечером

посмотреть на корень собралась вся семья. Чего он только не напоминал моим домочадцам! И оленьи рога, и окаменевшие колонии кораллов, чересчур причудливый кактус или скульптуру модернистов... Мать морщилась, ей почему-то становилось жутко от всех этих отростков, сращений, перемычек, и от такой реакции подумалось: вот, человеческие глаза видят то тайное, что обычно спрятано... А сестра, у которой на уме только дискотеки и журнал «Бурда», точно и кратко заявила:

— Строение корня учит мудрости.

Я взял нож и начал счищать кору. Она была мягкая и влажная настолько, что брызгала в лицо древесным соком. Сидел на полу и до глубокой ночи «лыко драл».

Ночью не спалось. Включил свет, долго глядел на корень, думал. У дерева нет души, нет сердца. Но что же управляет жизнью дерева? Не корень ли? Представьте себе вместо древесного ствола водопроводную трубу такой же высоты в пять, десять, пятнадцать метров. Сколько усилий требуется, чтобы подать из глубины на эту высоту тонны воды с растворенными в ней питательными веществами! Как, при помощи чего работает этот безотказный насос, созданный природой? Неужели силой испарения устьиц листа? А может, особым устройством корней?

Простой и сложный и красивый орган, корень напоминает нам о природе, которая произвела каждого из нас для определенной, но неведомой цели, о ней можно догадываться, как о предназначении, но знать ее — нельзя... Корень дает урок всяким зарвавшимся «властелинам природы». А еще напоминает о смерти, недаром на кладбище сажают деревья.

В который раз выключен свет и натянуто одеяло, но уснуть не дано: вот умер я. Прошло время, и из дерева, посаженного у могилы, проникают стремительные и, при всей их мягкости и влажности, всепробивающие отростки, развивают свою белую корневую систему... Значит,

я буду в стволе, в кроне? Значит, вещественное бессмертие вполне возможно благодаря корням и воде, вода растворит меня, а корни доставят вторично (вторично ли?) к солнцу? Вода — вот загадка, над которой стоит еще помозговать...

Корень стал чист, не осталось уже его телесного цвета, случайных и тонких отростков — он сам диктовал мне, что удалить. Особенно хорош был один «магистральный» — он стремительно закрутился вокруг остальных, словно оберегал их, как заботливый и сильный старший брат.

Утром я спросил отца:

— Вот я Владимир Павлович, ты — Павел Иванович, дед был Иван Романович. А дальше?

Отец сложил газету, отхлебнул чаю:

— Роман Фаддеевич. Фаддей Макарович. Макар... Макар? Макар!

Макара он не дозволялся.

Шесть поколений из шести тысяч, шестидесяти тысяч, шести миллионов..

...Корней на комиссию я не носил, хотя собралась уже изрядная коллекция. Параличи мне больше не грозят, я много хожу пешком и мало говорю по телефону. Каждый день встаю на рассвете, без будильника, плотно завтракаю и нахожу дело для ума или рук.

Пока что мой небольшой опыт говорит, что нет ни одного одинакового корня, даже у деревьев-одногодков, росших рядом.

СТАРУШКА И ГОЛУБИ

Зима была лютая, змеились поземки, небо сливалось со снегом, и не было январского солнца. В один из воскресных дней, когда не хотелось даже думать о том, чтобы выйти на улицу, я увидел из окна, как десятки голубей слетаются на маленький утрамбованный пятачок

между трех деревьев. Птицы выбирались из-под крыш, снимались с карнизов, с теплых вентиляционных решеток. А на пяточке старушка с двумя сумками разбрасывала хлебные крошки и желтое пшено. Через минуту все вокруг нее сделалось сине-серым, сизым, копошилось, жило, радовалось. А спасительница все разбрасывала и разбрасывала корм.

Как мы созерцательны и пассивны,— думал я, наблюдая эту сцену. Тысячи правильных слов знаем и говорим, все чем-то недовольны, все упрекаем кого-то в том, в чем виноваты сами, сетуем, спорим о ничтожном, завидуем и никогда не признаемся в грехах своих, если даже кто-то укажет на них. А вот взять и сделать столь простое и естественное дело — накормить голодных замерзающих птиц — на это нас не хватает...

Зима всегда длиннее других времен года, к тому же в каждом году две зимы и лишь одно лето. И не раз видел я все ту же сцену: медленно и устало бредет старушка, а голуби, у которых прекрасное зрение, уже слетаются со всей округи, теперь уже не десятками — сотнями. Она тяжело опускает с плеча наземь связанные сумки, копается с ними, а нетерпеливые птицы садятся ей на спину, на плечи. И вот, как сеятель, старушка принимается горстями разбрасывать корм.

Проходя мимо, я удивился тому, что пяточок ровен и чист, словно русская печь, выметенная крылышком. Это тысячи лапок так утоптали снег. Среди безобразных, потемневших от копоти и пыли, одутловатых сугробов эта площадка была как маленький каток на деревенском прудике.

С тех пор каждый раз, когда я подходил к окну, глаза невольно устремлялись к трем деревьям и белому озерцу между ними. Иногда кормилица задерживалась, и тогда голуби рассаживались в ожидании на деревьях так плотно, что не оставалось ни одной свободной ветки, и на карнизах крыш и были похожи на зрителей амфитеатра. По треску их крыльев, даже не глядя в

окно, можно было определить, что старушка приближается.

Как ни долга зима, но и она проходит. Однако и весной кормилица по-прежнему, будто на работу, каждый день в одно и то же время приходила к своим подопечным. Только походка ее стала медленнее и тяжелее.

Я много думал о ней. Кто она, какую жизнь прожила?

Однажды мы встретились и разговорились. Прежде всего поразили ее глаза — необыкновенно ясные, чистые. Не старческие — молодые. Она пенсионерка, живет неподалеку, детей нет, муж умер. Вот уже второй год кормит она божью птицу, надо же кому-то это делать, а то живем сытно, но о слабых не думаем. Да, она верит в то, что после смерти душа человека вселяется в другие существа. Выходит, сколько голубей она накормила, столько душ обогрела...

И правда, мы умны и здоровы, обеспечены, многие даже пресыщены, уже не ценим простых и вечных истин и благ жизни и очень, очень любим себя — настолько, что, когда судьба медлит с исполнением наших суетных желаний, воспринимаем это почти как несчастье. И даже видя чье-то, без расчета, доброе дело, чей-то спасительный пример, оцениваем его умом, но сами не поднимаемся душой из обыденной душевной лени, отвыкнув делать хоть маленькое добро в день за все, данное нам...

Однажды голуби просидели в терпеливом грустном ожидании весь день. Кормилица не пришла. И я понял: уже не придет никогда. Я собрал все сухари и корки, но их оказалось мало. Добавил пшена, риса, свежего хлеба. Размочил сухари и вышел на пятачок. Ведь кому-то же надо это делать...

ИГРУШКИ ДЛЯ МУЖЧИН

Олег Сотников накопил денег и поехал в областной центр покупать автомобиль. Лето стояло холодное, ветреное. Он надел теплую безрукавку, курточку на рыбьем меху — от ветра она все же защищала, лаковые туфли и выходные брюки. Не каждый день все-таки покупаешь автомобили.

Толкучка, где шла купля-продажа и располагался коммиссионный, находилась на окраине, на пустыре. Сотников удивился, что в такую рань, в пять часов утра, пустырь голосист, как ярмарка. Он прибавил ходу — росло нетерпение, какое известно лишь демобилизованному минуту назад солдату. Но тут будто зацепился за что-то штаниной. Оглянулся. Позади него стоял большеглазый, с темными нездоровыми подглазьями мальчик лет семи, босой, худой, стриженный недавно налысо, а теперь этот ровный мелкий ежик отрос слегка, как у детдомовца. Олег содрогнулся: как же ему должно быть зябко! — и одет так несуразно, белая, ставшая почти серой, ветхая рубашонка и белые длинные штаны. Снизу вверх мальчик глядел ему прямо в душу. Неужели т а к и е еще бывают?!

— Тебе чего? — спросил Олег.

— Хлебушка.

— Да нету у меня. И магазины еще закрыты.

— А, — шепнул тот и отпустил его штанину.

Лишь сейчас Сотников поразился необычайной силе этой ручонки, похожей на бледный картофельный росток в погребе. Может, от надувшего в уши ветра или оттого, что ночь не спал, да еще натошак, в помутненном сознании Олега вертелась, свербила осточертевшая за секунду мысль: «А ведь я его... Где-то я его... Надо же!» Мальчик встал как вкопанный, рубашонка полыхала на ветру, то и дело оголяя выпяченный, горошиной, пуп.

— Вот я ей, чтоб смечь не стригла! Стричь не смела, лзви! — Это он отпустил в адрес жены, которая летом тоже стригла наголо сыновей.

Толкучка гудела, была пестра от женщин — редко кто прибыл покупать или продавать в одиночку, как он. Олег протолкался в глубинку. Машин стояло много, все подержанные — «Волги», «Москвичи», горбатые и негорбатые «Запорожцы», уже побитые или ржавые от соли «Жигули». У него никогда не было автомобиля, одни лишь мотоциклы, и приценяться Сотников не умел. Он прошел на пятачок, где машины сторговавшихся владельцев и покупателей стояли на комиссию. Первый же увиденный «Жигуль» потряс его: новенький, бамперы в мовиле, сверкающий лаком! Тут не надо было и «в зубы» заглядывать — это была машина! Машина его мечты!

— Слышь,— скашлянул он хрипотцу и обиду, обратился к старухе, сидевшей за рулем.— Хозяин-то кто?

У старухи оказались ярко-синие, пронзительные какие-то глаза, будто в солнечный ветреный день ярилось цветом взволнованное озеро.

— Ну я, дальше чего? — через минуту ответила си-неглазка.

— Купила или продала?

— Ну, купила,— через минуту услышал он.

«Вот партизанка! Каждое слово — клещами!» — ругнулся мысленно Олег. Но все-таки допросил бабку. Выяснилось, что машина с завода, прошла семь километров, и куплена «за свою», то есть государственную цену, без переплаты.

— Черт знает что! — выругался он, отойдя.— Старуха, песок с нее сыплется — и технику покупает!

Чужая удача прищпорила его. Олег ринулся к автомобильным рядам. На ходу присматривался, прислушивался, как торгуются другие. И вскоре уже сам, преодолевая стеснение, бросал одни и те же вопросы:

— Сколько прошла?

— Пятьдесят,— отвечал, глядя перед собой в стекло, тучный ветеран.

— Сколько просишь?

— Семь шестьсот. Комиссионные — твои.

— Дорого.

— Поговорим, может, и недорого будет.

— А низ?

— Покрыт антикором. Зимой в гараже стояла, по соли не ездил.

— Семь,— сказал Олег, хотя семи у него не было. Просто не знал, о чем еще спросить.

— Вон там дают,— по-прежнему не взглянув на него, указал пальцем ветеран.

А к ним уже подлетела парочка: «Сколько прошла? Какого года? Сколько просишь?»

— Да погодите вы, я торгуюсь,— озлился Олег на этих городских. Мадам в брюках, пучеглазая, в розовых очках, как лягушка, губы — по десять сантиметров.— Ну, семь сто.

— Шестьсот.

— Это же выше цены!

— Поди, в магазине купи! — Ветеран завел мотор и уехал. Совсем уехал.

В дальнем конце толкучки жгли костер из ящиков. Человек двадцать стояли с подветренной стороны, грели в дыму руки, сыпали анекдотами, хохотали.

— Чем мужчина отличается от мальчика? — третий раз подряд спрашивал улыбчивый украинец. Никто не мог ответить. Тогда он ответил сам: — Ничем. Просто у мужчины игрушки дороже.

— Во-во, по семь тыщ,— поддержали его.

Олег не улыбнулся. «Мужчина от мальчика... мальчика...» — Ему навязчиво вспоминался тот мальчик, глядящий в душу. И неясно чем это воспоминание тревожило Олега. Заслезились от дыма глаза, и он снова пошел по рядам. Автомобили уже перестроились, кто-то уехал, подъехали другие, и туда, где только что стоял неплохой «Жигуль», к которому не мешало прицениться, подогнали новенькую, с четырьмя фарами «Волгу». Владелец — ни дать ни взять, директор крупного завода, солидный и холеный начальник. Едва скрипнули тормоза, как к нему

на переднее сиденье плюхнулся странный тип в зеленой женской кофте, на цыганских скошенных каблуках, в широкополой шляпе, согнутой пополам, как чебурек. «Волжанка» тут же дала газу и снялась подальше от мнимых покупателей.

— Видал, как дела делаются! — сказал один.

— У такой шляпы — и деньги? — не поверил другой.

— Э-э,— философски-невозмутимо протянул пожилой узбек в тубетейке.— Ти куда глядел? Ведь пир-крашин полностью!

Все захохотали: сумей-ка так перекрасить!

Подъехала чистенькая «шестерка», за рулем — подполковник медицинской службы с румяным лицом и траурными глазами. По румянцу можно было предположить, что он кутила, весельчак и преферансист, а вот по взгляду... Взгляд был такой, как если бы вчера на его глазах погибла вся его семья.

— Сколько просишь? Год? Чьи комиссионные? — заголосили со всех сторон, и Сотников тоже, незаметно для себя самого. Никому и в голову не пришло, что в армии к офицеру на «ты» не обратишься.

— Не продаю,— спокойно ответил подполковник.

— А низ? — по инерции выкрикнули сзади.

— И низ тоже,— улыбнулся он, запер дверцу и ушел куда-то.

Вокруг зашумели: рядом купили-продали такую машину, такую! И хозяин будто бы сказал, мол, мне лишнего не надо, за что купил, за то и... Главное, чтоб сына не испортить. Сын — дороже.

— Э-э,— сказал узбек,— пир-крашин полностью!

«Нет,— остановил себя наш незадачливый покупатель, которого неудержимо всасывала в себя эта воронка, за-
ражала коллективной неврастенией, не отпускали, при-
магничивали скупившиеся пятнадцать-двадцать оголтелых, жаждущих.— Нет, надо от них подальше!»

На взгорке, очень близко от костра, стояла одинокая

«белянка», которую никто почему-то не замечал. А машина!..— есть же такие, что и капота поднимать не надо, и без того видно: автомобиль молодой, был в крепких и умелых руках, любили его и лелеяли. На этот раз — спасибо подполковнику — Олег подошел солидно, как покупатель, а не зевака, взялся за ручку дверцы и уселся на заднем сиденье. Внутри было удивительно покойно, как в аквариуме. Беззвучна стала поземка пыли, проносящаяся по пустырю. Олег поздоровался. Хозяева — отец и сын, казалось, оробели от его солидности. Сотников поудобнее устроился посредине заднего сиденья и веско произнес:

— Ну?

— Выпуска восемьдесят первого года. Прошла сорок тысяч. Все швы промазаны. Резина родная, не менял. Прошу шесть с половиной, комиссионные пополам,— доложил хозяин.

В ушах гудел сволочной ветер. Даже поташнивало, словно при нырянии вода в уши залилась.

— А точнее? — властно переспросил Олег.

Хозяин, по всему видно, тоже селянин, простоватый, не раз в жизни продешевивший. Такие люди, их незащищенность и зайца львом сделают, вот отчего сам он, Сотников, так «раздухарился». Олег мог даже представить, как этот трудяга впервые начал копить. Посадил картошку, она сгорела. Пересадил, горб гнул, окучивал, поливал, полон, всю семью не спускал с этой картошки. Накопал, просушил, перебрал, повез в город продавать. За весами стоять постеснялся — робел. Ну и спустил все десять мешков торгашам-перекупщикам оптом, за копейки. А те картошечку, трижды руками перебранную,— на весы, да втридорога!

— Не могу я сбавлять, пойми,— просительно сказал владелец.— Нельзя мне...

— Да вы знаете! — звонко крикнул вдруг мальчишка лет тринадцати, и голос сразу пропал.— Да вы знаете, как моему бате эта машина досталась?!

И Сотников устыдился: ведь для них он — последний шкуродер, дешевка, делец, скупивший за бесценок их картошечку.

— Шесть сто,— отрубил он.

— Нет,— отрубил отец.

Олегу страшно не хотелось выходить на этот свáлочный и сволочной ветрюган. Тут уютно пахло яблоками. Только за одно то, чтобы не выходить отсюда, он готов был расстаться с аккредитивами. И верил: уж какая-какая, а эта машина не подвела бы его никогда, берегла бы...

Покупатели к ним не подходили, и Сотников решил не спешить: надо хозяина выдержать, пусть проникнется. Он вылез, степенно сознавая, что «белянка» никуда не денется. «Эх ты!» — скажет мальчишка отцу. «Ничего, сына, ничего,— ответит тот.— Нам лишнего не надо, а своего нельзя отдавать. И так уж...»

И опять перевернули душу просьба большеглазого мальчишка: «Хлебушка» и голос этого мальчишки: «Да вы знаете!..»

Нет, не видел он того детдомовца никогда, но почему, почему так знакомо это лицо?!

После антракта спектакль пошел скоро, актеры затопились. Вернулась «пир-крашенная» новенькая «Волга», и тот, в шляпе чебуреком, вылез из нее с видом зайца, у которого нет пятака на автобус. Вместо него покупателей набилось полный салон. Синеглазая бабка выехала с пятачка, за рулем — инспектор ГАИ. Видно, просто некому автомобиль к владельцу отогнать. Олег въявь представил: вот катит по городу эта самая бабка, натурально сама за рулем, шпарит во весь дух, в розовых очках... Что-то воображение его сегодня разыгралось.

Но толкучке шел молодой бородатый парень, но даже борода не могла скрыть всех шрамов на его лице. На груди картонный плакат с фотографией изувеченного «Жигуля» и с надписью «ПРОДАЮ!». От этого бедолаги Сотников шарахнулся и кинулся обратно, к машине отца и

сына. Внутри сидел узбек. Олег подошел сзади, и едва щелкнул клавишей дверцы, как услышал:

— Да вы знаете, как нам эта машина досталась!..

Его снова обдало горячим током — неужели совесть так переворачивает память? Но мальчишка страшно смутился при виде Сотникова, уже слышавшего его коронное изречение.

— Чему сына учишь? — горько сказал Олег.

Но тут загорячился узбек:

— По рукам! — кричал он. — Поехали! Заводи, поехали! Продана, продана! — замахал он руками на Олега, как бы выметая его из салона.

— Дурачок ты! — обиделся Сотников. — Она же прекрасенная, ты взглядишь.

И пошел к костру. Греясь и плача в дыму, он вдруг ясно вспомнил, где видел эту старушенцию-синеглазку.

— А вот заблажило мне в юности в институт поступать, — начал он, обращаясь к безымянному соседу, который за пять часов этой суеты сует стал ему не то что знакомым — братом родным. — Ну, поехал. Засыпался, конечно, сразу. Дай, думаю, хоть город напоследок погляжу. И вот с одним парнем из общежития идем утром, а нам бабка в окне рукой машет.

— Зовет?

— Зовет.

Слушатель почему-то засмеялся. Олег переждал и хотел было дальше рассказывать, но тут все заинтересовались. Пришлось заново начинать.

— Зовет, машет, а окна все законопачены — через стекло зовет. И такое лицо, будто упадет она вот-вот. Да-а. Окно на втором этаже, высокоовато. Ну, друг меня подсадил, я кое-как наружную форточку расковырял. А глаза у нее синие-синие, я не я буду! Вот она и говорит: меня, говорит, сын с невесткой заперли, чтоб померла. Сами уехали, а есть не оставили. Поесть, говорит, дайте, ребятки. Хлебушка...

Олег оторопел от тишины, какая вдруг установилась.

— Ну, купили мы ей хлеба, колбасы, еще чего-то... — робко продолжал он.

— Ну и что? — спросил тут ближайший слушатель, к которому он обращался. — Для чего рассказал-то?

— Да к тому, что она, эта самая бабка, только что «Жигуля» нового купила — и тю-тю на нем!

От Олега отодвинулись.

— А ты не перепутал?

— Я? Ее?! Перепутать?! Да вы что!

И все разбрелись от костра.

— Ну и чудики эти горожане, — сказал Олег и тоже побрел. Стало тоскливо.

Мучили несовпадения. Годами молча, про себя строил планы, как накопит, поедет покупать, вернется за рулем. Сколько раз уж пережил наперед это, и все в мечтах было так красиво! Но вот наступил долгожданный день, а все шиворот-навыворот!

К каждой новой появившейся в зоне толчка машине теперь бежали, нервно садились и старались оттащить добычу как можно скорее и дальше. Лихо переплачивали заранее, еще до оценки комиссионным магазином. Неплохой слесарь и автомеханик, Сотников не боялся купить подешевле поддержанную и довести ее потом до ума. Но теперь взвинтили цены даже на развалюхи, а все из-за суеты, неумных appetитов и той горячки, которую наделали здесь всякие «богатенькие». Аккредитивы Сотникова тягаться с их деньгами не могли. Он ушел на косогор. Видно, не суждена сегодня покупка.

И тут вдруг обнаружил машину, взявшуюся неизвестно откуда и бесшумную, как привидение. Это была золотистого цвета иномарка. «Мустанг» походил на гончую — передняя часть вытянута, устремлена вперед. Даже неподвижный, этот автомобиль весь распластался в скорости. При одном взгляде на него становилось уверенно и покойно на душе: надежная техника! Она с неоспоримым превосходством взидала сверху вниз на все эти консервные банки, штампованные быстро, и плохо, и до-

рого. За рулем, утопленным в дорогой коже приборной панели, в глубоком облегающем кресле сидел водитель. Он тоже наблюдал муравейник, суету сует рынка, безо всякого выражения. «Может, иностранец?» — испугался Сотников, он еще никогда не имел дела с иностранцами.

— Продаете? — наконец осмелился он. Как отец и сын робели перед Олегом, так сам он теперь сник перед этим монументальным памятником гармонии человека и техники.

— Иначе бы я сюда не приехал. — Голос у владельца был густой и властный. Десятки догадок пролетели в измаянной голове Олега: хозяин не верит, что здесь может быть серьезный покупатель, он вынужден продавать, но влюблен в свой «мустанг», как в женщину, и от этого он раздражен... Олегу до слез захотелось купить эту машину — лишь бы подняться в глазах ее обладателя.

— Что просите?

— Говорите свою цену.

— Шесть.

— Я не удовлетворяю пустого любопытства, — тяжело проговорил водитель.

Олег покраснел от своей третьесортности перед этим человеком, перед его совсем иной жизнью и какой-то неясной трагедией, которая заставляет его отказаться от сокровища. И тут налетело «воронье». Они бежали, спотыкаясь на щебенке, вверх по косогору, пестрые и смешные, размахивая руками и сумками-визитками с наличностью. Олег обернулся к ним и засмеялся. Засмеялся и водитель, и это на мгновение их породнило.

«Мустанг» вдруг с визгом сорвался с места, ветер с готовностью подхватил облако пыли, взвитой гигантской вращательной силой. Колеса обстреляли бегущих щебнем, и, лихо заноса невесомый задний мост, золотистое чудо исчезло за поворотом. Подбежавшие спрашивали Олега о марке, цене, запчастях. Он не отвечал — он будто онемел. Потому что полоснула по глазам белая рубашонка

того мальчика, что просил на рассвете «хлебушка». Этот детдомовец смотрел на Сотникова сквозь заднее стекло «мустанга», огромные глаза улыбались, и он смачно кушал пирожок.

Машина и мальчишка давно исчезли, а Сотников все стоял, обдуваемый пылью, и не мог простить себе, что утром, на этом самом месте, упустил единственную возможность накормить этого мальчишку, мальчишку своего детства, удивительно похожего на Олежку Сотникова с фотографии голодного сорок шестого года.

БЕЛОМУТ

ПОВЕСТЬ



Было еще темно, когда электричка с редкими ночными пассажирами остановилась в Голутвине. На платформу из разных вагонов вышли двое охотников с собаками на поводках и рюкзаками. Пожилой, усталый от бессонницы охотник остановился.

— В Белоомут? — спросил он. Это прозвучало как пароль.

— В Белоомут, — ответил охотник помоложе, лет тридцати, по моде усатый, в берете и синтетической куртке. Он был удивлен, что его ждут.

— А мне пассажиры сказали: в последнем вагоне еще один с собакой. Значит, в Белоомут, раз с собакой. Алексей Михайлович, — неожиданно представился пожилой.

— Геннадий Стрельцов.

Охотники стали подниматься по эстакаде. Каждый ревниво оглядывал чужую собаку. У Алексея Михайловича был немолодой серо-пегий английский сеттер, у Стрельцова — черный с белым крапом годовалый поджарый пойнтер.

— От Генерала?.. — понимающе и как-то уныло спросил Алексей Михайлович, и Геннадий подтвердил: да, щенок взят у генерала Иванцова. Было лестно, что первый попавшийся охотник знает Генерала — звание давно перешло в прозвище.

Тут сеттер резко потянул по лестнице, Алексей Михайлович потерял равновесие и упал. Стрельцов помог ему подняться. Тот смущенно поругивал собаку:

— Ну что же ты, Ладушка, а?

«Англичанка» повиливала хвостом — извинялась.

Они прошли над путями, спустились к вокзалу и вышли на площадь, к автостанции. Поднялся предрассветный ветерок. Дождаясь, пока откроется касса, они переговаривались о том, что весна поздняя, перелет задерживается, будет ли дичь в Белоомуте и сколько там со-

бак и охотников, хватит ли мест в охотничьих домиках?

Чувствовалось, что старший — охотник бывалый. Подождал на платформе, точно зная: коль пассажир с собакой — значит, попутчик в Белоомут. Догадался о происхождении Кинга. Даже по экипировке было видно, что едет он на натаску не впервой: полевой костюм цвета хаки, вещмешок вдвое меньше, чем у Геннадия. Слишком большой рюкзак — примета неопытности. Знал он и неписанные законы жизни лагеря.

Стрельцов, стремясь сделать широкий жест, взял два билета в автобус. Вскоре подошел мягкий междугородный «Икарус». Водитель завел привычную канитель: с собаками нельзя! Но охотники уговорили его, мол, слишком ранний час для контролеров и дали по рублю на пиво. Вероятно, это-то и требовалось. Полупустой автобус покатиł по шоссе. Алексей Михайлович тотчас начал отсчитывать деньги за билет, хотя Стрельцов отказывался их взять. Но тот настоял — не хотел быть обязанным.

Охотники вполголоса осаживали возбужденных дальним путешествием собак — как бы не причинить неудобства пассажирам, лишь бы не вызвать недовольства! Кинг и Лада чувствовали состояние хозяев и вели себя скромно, как безбилетники.

На пути человека с собакой столько препятствий, что он постоянно ждет окрика, замечания, штрафа... Не все любят четвероногих. В электричке человек с собакой едет обычно в тамбуре. В городской автобус ему нельзя, в междугородный — тем более. Все, кому не лень, требуют надеть на пса намордник, им неведомо, что охотничья собака вовсе не агрессивна, а намордника терпеть не может. Не удивляйтесь, когда увидите собачью морду, выглядывающую из рюкзака — это вовсе не причуда хозяина. Все виды транспорта, все приказы, инструкции, правила, положения — против собаки, а значит, и человека с собакой. Алексей Михайлович и Стрельцов сознательно обрекли себя на бессонную ночь: по традиции опытных «собачников» они выбрали самую позднюю

электричку и самый ранний автобус, чтобы не бросаться в глаза, не вызвать нареканий.

Автобус убаюкал, они дремали, пока водитель не притормозил у нужного им поворота на границе Московской и Рязанской областей.

В самом начале мая луга и рощи были нежно-салатного цвета, нетронутая роса переливалась на солнце. Вся опушка справа состояла из цветущих черемух. Необыкновенный полуночной-полурассветный покой был разлит в мире. Тропинка, по которой они шли, набухла от частых дождей, но была твердой и устойчивой. Оба спустили утомленных и перевозбужденных собак, чтобы дать им размяться, сбросить энергию и открыть дыхание. И хоть легавые были разных пород, а значит, не конкуренты на полевых испытаниях, их хозяева зорко смотрели, как поставлена — то есть воспитана — другая собака, какова она в поиске и как слушается команд. И очень гордились, если находили свои достижения и чужие упущения.

Алексей Михайлович решил продемонстрировать новому знакомому дрессировку Лады: подозвал ее свистком и зачем-то держал ошейник кольцом перед носом сидящей «англичанки». Лада так и не выполнила желания хозяина, и тот вынужден был пояснить Стрельцову, что обычно она сама продевает морду в ошейник, так он приучил. «Какая странная прихоть! — подумал Геннадий. — Чего только люди не добиваются от бедных братьев меньших. Это же рабство — самой вдевать голову в ошейник, особенно здесь, среди ароматов черемухи, зелени и ночной свежести!»

Он невольно любовался легкой побегой Кинга. Черный фрак его на фоне зелени стал еще чернее, прямо-таки бархатным, правильный поиск челноком был стремителен и красив, как полет. Кинг шел на большой скорости, высоко держа нос, — искал верхним чутьем, а это отличительные черты лучших пойнтеров. Но воспитанник тут же и огорчил: опьяненный негородскими дур-

маниящими запахами, он не реагировал на команду «Ко мне!», ни на свисток, ни на голос. Алексей Михайлович был квит за послушание Лады.

Обычно охотники пугают друг друга тем, что молодая собака сатанеет, впервые попав в чистые росные луга, с запахами и набродами птицы,— полностью забывает все городские команды, носится, «гонит птичку», и никакая, самая желанная подачка не соблазнит и не вернет ее к хозяину, пока не утолит она накопленную за зиму тоску по земле, весенним испарениям и томительному, величайшему на свете запаху — запаху птицы. Той птицы, ради которой легавая и рождена на свет.

Алексей Михайлович шел к лагерю с видом хозяина. Геннадий, приехавший сюда впервые, чувствовал это. Однако важной поступи хватило лишь до изгороди. Властным жестом отворив калитку, сбитую из жердей, Алексей Михайлович тут же стал робким просителем, который собирается долго и покорно призывать к снисхождению для его собачки.

Лагерь еще спал. Первыми, как всегда, проснулись комары, которых почти не встречалось по дороге. Вечно норовят поближе к человеку. Видимо, каждый охотник приводит за собой из поля комаров; тут они и остаются.

Станция по натаске охотничьих собак состояла из двух бараков, домика конторы, вольера и летней кухни — печь под навесом и два дощатых стола с лавками. Прибывшие сняли рюкзаки, уселись на серые от дождей лавки и принялись терпеливо ждать. Они прибыли слишком рано. Комары тут же облепили собак. Алексей Михайлович горделиво указывал на преимущество своей «англичанки»: комары не могли прокусить ее толстую пегую шубу, а вот короткошерстый пойнтер вел себя суетливо: спрятался под лавку и остервенело клацал зубами. Кровососы впивались ему прямо в морду, густо сидели на хвосте. Стрельцов старательно обмахивал собаку. Алексей Михайлович советовал пустить Кинга по ла-

герю. Геннадий, помня, как неохотно Кинг подошел к нему, колебался. Алексей Михайлович видел эти колебания и настаивал того пуще, словно хотел убедиться в невоспитанности чужой собаки. Наконец Кинг освобожденно понесся по кругу, радуясь тому, что длинные рычаги несут его с ветерком и злым дням не угнаться за ним.

Первым проснулся комендант лагеря.

— А, Борисов,— ничуть не удивился он, и Геннадий обнаружил, что звать Алексея Михайловича по фамилии гораздо привычнее и даже приятнее. Наверное, все так и зовут его — Борисов. Комендант долго рассматривал их путевки и охотничьи билеты, потом заявил, что «местов нет и не будет», ждут судей и генерала Иванцова... Борисов просил, умолял, канючил на одной ноте. Будь Геннадий пачальником лагеря, он отказал бы такому занудному охотнику за один лишь раздражающий тон — настолько неприятно было его слушать. Комендант умылся из рукомойника, не спеша вытерся и пошел в контору. На крыльце он важно обернулся и сказал, что, когда народ проснется, тогда пусть ищут место сами, авось где и найдется.

Чем меньше у людей власти, тем больше желания ее показать,— думал Гена. Уж как важно и подозрительно рассматривал комендант их документы! Как важно молчал, значительно гмыкал! Такой комендант, или какой-нибудь ветврач, или уборщица на вокзале еще прибавляют сложностей на пути человека с собакой.

Стрельцов курил и меланхолично, деревянно от бессонной ночи хлопал комаров то на шее, то на щеке. В куртке стало жарко, пришлось снять ее, но свитер комары прокусывали насквозь. Наконец Геннадий догадался свистнуть Кинга, уложить его рядом и укрыть курткой. Кинг тихо сидел под ней, как в палатке, только щелкал зубами, охотясь на злейшего врага-комара.

Тем временем Борисов посвящал новичка в законы лагеря. По заложенной еще основателем станции Сомовым неписаной традиции охотнику предлагалось на вы-

бор место или в «казарме», или в «судейском» домике. Казармой называли большой дом, разгороженный надвое, в каждой половине которого стояло по десять коек. Охотники и собаки жили там вместе. Стоило войти, как тут же раздавалось рычание сразу восьми-десяти псов. Теснота и духота, холостяцкий беспорядок, попеременно кастрюли и портянки, полотенца и поводки, сырые резиновые сапоги, зеленая беспорядочная груда рюкзаков — и все это во имя Собаки! Совсем другая обстановка была в судейском домике. Собственно, судьи, приезжавшие судить полевые испытания, не всегда останавливались там, название было условным. Просторная застекленная веранда, где обедали, курили и разговаривали, коридор, и из него несколько дверей в опрятные, оклеенные обоями комнатки на три-четыре человека каждая. Новичку, если, конечно, он не прошел до этого хорошей натаски самого себя где-нибудь в экспедиции, в тайге, обстановка «казармы» могла показаться чудовищной. Но в судейском домике перед ним стоял коварный выбор: хочешь жить здесь — определяй пса в вольер. Охотничьи собаки ненавидят любую конуру. Принято считать, что согласиться на вольер для питомца ради собственного комфорта может только псевдоохотник. Настоящий же пойдет в «казарму», лишь бы не разлучаться с собакой, место которой и ночью — подле хозяина.

Упоминание коменданта об ожидаемом приезде генерала Иванцова и успокоило, и встревожило. Успокоило потому, что уж он-то, Николай Дмитриевич, не оставит без места и внимания. Правда, странно, что тот ни словом не обмолвился о натаске на весенней выводке, где так по-стариковски и по-отечески радовался оценке «отлично» по экстерьеру, которую получил Кинг — теперь уже правнук первой собаки Иванцова. А встревожило известие потому, что вся натаска и, следовательно, вся неопытность Геннадия будут на глазах у владельца знаменитого элитного Босса — отца Кинга. Вот придет

генерал, а Гена в «судейском» домике, Кинг — в вольере...

Борисов думал, казалось, о том же:

— А что, бывал у тебя Генерал-то?

— Бывал. Когда Кингу месяца четыре было и в полгода. Гулял с ним...

— Вам хорошо,— говорил Борисов, глядя Кинга,— вот придет ваш папочка, придет — и собачку натаскает. И дэ-один вам уже обеспечен. Так-то, Ладушка, сиротинка моя...

— Почему сиротинка? — автоматически спросил Гена.

Упомянув о приездах Генерала, он вспомнил эти приезды. Неожиданно среди служебного дня и служебных звонков раздался голос Иванцова, он представился как «хозяин Босса», и Гена не сразу понял, о каком таком боссе идет речь. Иванцов спросил разрешения приехать, взглянуть на щенка. Геннадий был удивлен и обрадован тем, что «собачники» так внимательны к потомству. Николай Дмитриевич приехал в штатском, вместе с Виктором Первенцевым, хозяином Весты — матери Кинга. Они отправились на ближайший пустырь, на прогулку. Иванцов оказался «ходячей энциклопедией», дал такое количество советов, что Гена всего и не запомнил, но то, что запомнил и выполнил, дало удивительные результаты. Впоследствии он не раз консультировался у Генерала и Виктора Первенцева.

Во второй приезд Иванцов опять пошел на прогулку с Кингом, пустил его, придирчиво наблюдал — и вдруг, подняв вверх правую руку, страшно крикнул: «Даун!!!» Кинг вздрогнул, споткнулся и медленно, словно пехотя, стал оседать в траву. Довольный Генерал бросил щенку перчатку, тот принялся радостно таскать ее по всей площадке и ни за что не хотел отдавать. У него была необъяснимая страсть к носкам и перчаткам, видимо, наиболее пахучим вещам, и если они попадали ему в зубы, то отобрать не было никакой возможности. «Ни-

чего,— сказал Иванцов на прощанье,— подавать птицу не самая главная работа для него».

Геннадий удивлялся, сколь многие последствия повлек за собой такой вроде бы пустяк — он купил щенка. Но, купив, он оказался тесно связанным и с Иванцовым, и с другими «собачниками», изменил уклад и многие привычки своей жизни, оказался втянут в мир страстей и эмоций, а случайное знакомство между ним и Генералом переросло в более сложные отношения — мудрости и неопытности, начальника и подчиненного, отца и сына... Стрельцов догадывался, что с первых же встреч закладывается его репутация среди серьезных охотников-собаководов, а от этого во многом зависит и судьба собаки.

— Как же не сиротинка,— отвечал тем временем Борисов на вопрос Гены.— Судьи признали ее апатичной.

«Какой... человеческий диагноз!» — подумал Гена, а Борисов полчаса рассказывал о неудачах и злоключениях своей Ладушки. До сих пор она не взяла ни одного «дэ» — диплома первой, второй или третьей степени. Диплом нужен был не для тщеславия хозяина, а для разрешения секции охотничьего собаководства на вязку. Если они и в этот приезд не возьмут диплома, то Лада еще на год останется старой девой. От бездетности у сук портится характер... Суровы законы собачьей жизни.

Геннадий посочувствовал ему и особенно собаке, такой перенатасканной, что она на каждом шагу спрашивала хозяина взглядом: а можно? а я правильно делаю?

Не нравилось лишь многословие Борисова, хотя Гена великодушно понимал: никто не умеет говорить коротко о своих детях или своей собаке. К тому же соседей и попутчиков не выбирают...

Лагерь просыпался, обитатели появлялись опухшие от сна и комариных укусов. Один из охотников растопил печь, другой принес воды, кто-то звенел рукомыльником.

Отворилась дверь «казармы», и показались два со-

вершенно черных пойнтера, без подпалин и крапа на зеркально отливающей, ухоженной псовине. За ними шествовал высокий сухой старик с белой непокрытой головой, в старом линиялом полевом костюме. Пойнтеры были красивы, дьявольски красивы сами по себе — хоть скачи они бестолковым галопом вокруг хозяина. Но их красота усиливалась еще и безупречной постановкой. Поводки провисали в руке хозяина — настолько вежливо, ни разу не потянув, шли собаки рядом. Даже не шли, а казалось, перетекали в пространстве, гибкие и пластичные, как маленькие пантеры. Гена восхищенно и заворуженно смотрел на величавую поступь старика и его сук. Черные и некрупные, они казались тоньше и элегантнее любого легкого пойнтера. Черный цвет зрительно уменьшает объем, белый — увеличивает.

Если бы Стрельцов мог оторваться от этого зрелища, он увидел бы, что все, кто был в ту минуту во дворе лагеря, оставили свои дела и неотрывно смотрят на пойнтеров. Так было каждое утро.

Кинг выпрыгнул из-под куртки, до хрипа натянул поводок, напружинился, раздувал ноздри, нижняя челюсть ходила ходуном, чтобы получше уловить их запах.

Борисов с завистью признался, что за пять лет так и не научил Ладу хорошо ходить рядом, не тянуть вперед из всех сил. Оба пойнтера шли легко и грациозно, играя прямыми точеными ногами, изящными, но стальными мускулами, корпус несли плавно и невесомо, как на выводке.

— Багира, тубо́,— негромко окликнул старик одну из сук, заинтересовавшуюся Кингом. Гена удивился, насколько точно подобрано это имя. Ведь он только что сравнивал их мысленно с пантерами.

Хозяина пойнтеров звали Иван Александрович Найденов.

Борисов тут же подошел к нему, поздоровался, заговорил, проводил к калитке, а вернувшись, сообщил, что мест в «казарме» нет ни одного. Выбора не оставалось.

Не дожидаясь коменданта, они прошли в «судейский» домик, нашли две свободные койки с панцирными сетками и матрацами. На соседней кровати спала пожилая жепщина. В лагере не существовало деления на мужчин и женщин.

— Ишь ты, Марья опять приехала,— проговорил Борисов, насыпая геркулес в кастрюльку.— Я думал, не приехать ей, куда уж...

Борисов настаивал покормить собак, однако Геннадий, несмотря на авторитет старшего и более опытного охотника, собрался идти в поле. Грешно терять такое славное утро даром. Он вскипятил себе чаю и сделал бутерброды, а Кинга оставил голодным. После завтрака на душе стало увереннее от сознания, что они благополучно доехали и неплохо разместились. Но как быть с вольером? Гена оправдывал себя тем, что мест в «казарме» в самом деле не было.

Они вернулись в комнату и с удивлением обнаружили, что их соседки Марьи Андреевны и ее сеттера Леди уже нет.

— На голодуху ушла,— сказал Борисов, укладываясь на отдых.— Всегда на голодуху ходит.

Видимо, он берег силы, и свои и Лады, для будущей серьезной работы. Гене не терпелось пойти в луга, он знал выносливость Кинга и решил натаскивать его дважды в день — по утренней и вечерней зорьке. Кинг вскинулся и застыл в радостном ожидании: «Неужели пойдем? Неужели гулять?!» И бешено заскакал по комнате, стоило только хозяину звякнуть парфорсом.

— Такого и кормить незачем, ишь вулкан какой,— уныло пробормотал Борисов. Даже похвала у него звучала безрадостно. Видимо, и у людей, и у собак бывает энергетический кризис. Собака — визитная карточка хозяина, и это не Лада, а Борисов был апатичным и уныло придавленным жизнью,— думал Стрельцов.

Он нарезал сыру — высшее лакомство для всех легавых, взял хлеба, свисток и корду с парфорсом на слу-

чай, если будет «встреча с птичкой». Выходя из лагеря, старался вести Кинга так же, как Найденов вел Багиру и Галку. Но Кинг не умел и не хотел так ходить, энергия рвалась из него наружу, и он тянул, упираясь всеми лапами в землю, и хрипел от душащего ошейника.

2

За изгородью им повстречался Найденов — собаки выступали так же величественно и грациозно.

— Нет птички? — осведомился Стрельцов.

— Откуда ей взяться? — вполголоса ответил старик. — С Первой ждем. Перепел еще не пришел, а дупеля распугали, сюда и не придет, видно.

— Годовалые? — Гена указал на сук, к которым рвался Кинг.

— Двухлетки. А твой — от Босса?

Гена кивнул.

— Приедет Генерал-то?

— Приедет.

— Большой спец в натаске. Ты... вот что. Коли птичка не придет, возьми у меня подсадного перепела, на нем и натаскаешь.

И Найденов, не слушая благодарности, неспешно прошествовал к лагерю с двумя невесомыми поводками в левом кулаке. Геннадий с завистью подумал: вот сразу видно мастера, мастера в любом деле; и в профессии — он уже знал, что Иван Александрович был слесарем-инструментальщиком высшего разряда, — и в воспитании собак. И хотелось самому стать таким же.

Гена прошел лужайками до шоссе, сразу за которыми начинались карты станции. Луга тут были разгорожены бетонными столбиками с проволокой, для колхоза они служили культурными пастбищами, а для станции по натаске — учебным полигоном. Из года в год многочисленные охотники из разных областей натаскивали тут и ставили на испытания молодых охотничьих собак, про-

водили областные и клубные первенства, внутривидовые состязания. Для испытаний обычно приберегали дальние карты с непуганой дичью: любой собаке судьи обязаны обеспечить несколько встреч с птицей.

Знатные луга были в Белоомуте! Окаймленные перемычками леса, они вольготно уходили на десятки километров с востока на запад, местами заболоченные, с кочкарником, местами — с зеркальцами открытой воды и мелиоративными осушительными каналами по краям. Знатки говорили, что луга запущены, это в старину было принято пропалывать их от сорных трав, но даже и запущенные, заливные белоомутские луга были восхитительны! Люцерна и клевер, мать-и-мачеха и иванчай, щавель и подорожник, осока и кустарники создавали в начале мая нежно-зеленую дымку, в которой особенно ярко желтела сурепка, высились стебли черемичы — красивого, но вредного растения, с гигантским колосом и листьями, похожими на агаву. По границе темной каймой проходили торфяники. Каналы, дренажные рукава и отводы, куда стекала излишняя влага заливных лугов, обрамлены ивой, осокой, березкой, кустарником. Спокойная коричневая вода местами заросла ряской, по чистым полыньям сновали жуки-водомерки. Над лугами можно было увидеть маленьких речных чаек, они появлялись тут неспроста: после весеннего половодья в образовавшихся прудиках и лужах оставалась рыба. Колхозницы приходили иногда с граблями и вычесывали из мокрой травы засыпающих щук. На таких весенних озерах, которых уже не будет летом, нередки и утки, промысляющие рыбьей молодью.

В шесть часов утра белоомутские луга были похожи на затуманенные зеркала, настолько они были росные. Пройдя на запад и оглянувшись, охотник не мог сдержать изумления: тусклое впереди, поле моментально преобразалось позади него, солнце расцвечивало росу, и вся луговина ослепительно сверкала, лишь темнела в траве оставленная сапогами дорожка. Вибрирующим полетом

взмывали вверх первые жаворонки и заливались такой же вибрирующей песней. В ближайшем леске прочищала горло кукушка, из-под ног выныривали правильными волнами желтопузики, надрывно кричали над головой чибисы, и скрипел в кустах коростель. Собака, мокрая от росы и парящая спиной, не раз замрет перед его набродами, а коростель-дергач, великий пешеход, не раз поморочит ей голову своими хитроумными петлями, да потом и взлетит где-нибудь далеко у опушки, хитрец. Для охотника с легавой и оп, и утка — как сорная трава в поле. Утка не держит стойки, сразу взлетает, а запах от нее чересчур силен.

Особенно красивы белоомутские владения подалее от дороги и деревни, там, где путник выходил к еловым, сосновым, березовым опушкам, смешанным колочкам. Четкие, геометрически правильные ярусы ели — и нежная акварель луга, контраст и гармония.

Гена пустил Кинга — ищи! — и невольно залюбовался им. Англичане знали толк в красоте, когда выводили эти породы! Черный пойнтер посреди зелени был необыкновенно живописен, эти луговые просторы словно созданы для собак, а собаки — для лугов. В густых и высоких травах Кинг шел длинными плавными прыжками, не снижая скорости поиска, и его волнообразное движение тоже было красиво. Он уходил от хозяина на триста и четыреста метров — только одно крыло челнока вправо, Гена коротким свистком призывал собаку к повороту и улыбался от радости, когда видел, что Кинг на таком удалении четко поворачивает и ведет поиск теперь влево. Пока хозяин легавой пройдет по полю пять километров, она многократно «прострочит» всю площадь и покроет пятнадцать километров. И поднимет на крыло все пернатое от малиновки до вороны, от куличка до утки.

Уже с первых выходов в поле Геннадий почувствовал старинную красоту этой сложной охоты, гармонию природы, человека и собаки.

Окунувшись в белый омут цветущих черемух, в бе-

лые чистые испарения лугов, охотнику-горожанину хочется идти и идти вперед, до горизонта. Прогулка на час для разведки,— а есть ли птичка? — затягивается до полудня и позднее. Комары, жара, пот, промокшая одежда, стертая нога, голод — все ничем по сравнению с этой красотой, с этим заманивающим простором. Ты один — и собака. И природа... Вот почему в белоомутских лугах можно заблудиться весной: когда человек, отвыкший от чистой природы, находится наедине с собой в полном молчании, когда он часами погружен в те давно забытые мысли и ощущения, которых впоследствии не передать словами,— тогда он может уйти на десятки километров, не контролируя себя...

Геннадия беспокоила неполная ясность с устройством, и нехотя он повернул к лагерю. Кинг недоуменно смотрел, как удаляется хозяин: неужели охота окончена? Потом унеся к торфяникам и до самого шоссе шел позади, растягивая удовольствие и откладывая хоть на минуту возвращение в лагерь — к людям, комарам, суете. Гена понимал его и не подгонял командами.

3

На тропинке около лагеря Стрельцову повстречалась девушка в штормовке, с распущенными каштановыми волосами, в красном спортивном костюме и резиновых сапожках. Было в ней что-то туристское, неохотничье. Она вела своего медно-рыжего ирландского сеттера справа, хотя любой охотник приучает собаку ходить слева: уже этим вырабатывается правильный подход к дичи, когда меньше шансов ранить собаку дробью. Для выхода в карты было поздно, проспала: солнце набрало силу, и мощные вертикальные испарения уносят запах птицы вверх.

— Ну, есть птичка? — спросила она, приветливо улыбаясь и осаживая ирландца.

— Нет.

— И коростеля нет?

— Коростель — враг молодых собак.

— Да? А мне сказали... Какой у вас нарядный пойнтер. Первая натаска?

— Да. А у вас?

— Вторая. Но диплома мы пока не взяли. Я вас не видела — вы новенький?

— Только что приехали.

— А! Ну, до встречи. Я все-таки пойду.

Они разошлись и тут же оба обернулись.

Через минуту он узнал от Борисова, что эту «ирландистку» зовут Таней. Похоже, она не прочь познакомиться, — подумал Геннадий. «Нарядный пойнтер» — так не скажет ни один охотник. Было приятно сознавать, что есть новички, еще более неопытные, чем он.

Оказалось, что лагерь, вроде бы такой спаянный охотничьим братством, лагерь, где царил преувеличенный культ собаки, на самом деле разбит на множество групп и группок. Пожив здесь, каждый охотник занимал свое, совершенно определенное место среди людей, а его легавая — совершенно определенное и, как правило, потом уже неизменное место среди собак. Прежде всего это, конечно, зависело от собаки. Ее порода, масть, происхождение, выучка играли главную роль. Гена узнал, что все здесь делятся по породам легавых: «англичане», пойнтеристы, курцхаристы... Авторитет хозяина начинался с породы его собаки. Наиболее уважаемы были пойнтеристы, ведь пойнтер — это высший класс легавой собаки. Остальные породы следовали в той очередности, в какой они представлены в Атласе охотничьих собак. Все было заранее определено и поделено. Геннадию стало лестно, что он заведомо оказался причислен к группе генерала Иванцова и Ивана Александровича Найденова.

Стоило приехать охотнику с никому не известной собакой, у которой не было знаменитой бабки, матери или талантливого отца, деда, да если к тому же собака эта

была дурно поставлена — без толку носилась по лагерю, ослушивалась хозяина, была капризна в еде, — то охотник тут же уходил в тень. Его даже не могли запомнить: «этот, ну как его...». И щелкали пальцами. Его не приглашали выпить или пообедать, на прогулку или совместный выход в луга. Вообще он должен был сразу привыкнуть к тому, что его здесь терпят, переносят, в лучшем случае — выслушают, но на большее рассчитывать ему не приходится.

В первый же день Стрельцов убедился, насколько разные люди и собаки приезжали на станцию. Сюда въезжали «Лады» и «Жигули» с удивительно молодыми водителями за рулем. Морды гордонов, курцхаров, спаниэлей, дратхааров ритмично кивали сквозь стекла. Гена удивился: у дратхааров с волосатыми мордами неожиданно обнаружились в шерсти совсем человечески глаза, такие же крупные, почти такого же строения, карие или зеленые по цвету. Сюда приходили и пешком тяжело навьюченные хозяева с мокрыми от росы первоклассными собаками. Охотники были в возрасте от 18 до 80 лет, собаки — от года и до 15. Здесь были профессор и слесарь, кинорежиссер и водитель трейлера, лаборантка и журналист...

Основную массу составляли собаки «средней руки». На первый взгляд они все были одинаковы, с равной мерой мастерства и темперамента рыскали по картам, допускали в принципе одни и те же ошибки и получали в результате посредственный Д-3. Каждый раз хозяева готовились к поездке за полгода до натаски, каждый раз вывозили своих питомцев в собачий «свет» в расчете на Д-2, но круг замыкался. Год от года надежды на улучшение работы собаки становилось все меньше, но тогда уже входило в привычку каждый год выезжать в Беломут ради компании знатоков и дилетантов, слушать первых и поучать вторых, и ни о чем постороннем — семье, службе, неудачах, деньгах, Москве не думать и не говорить, отключиться хотя бы на неделю.

Была и такая категория охотников, которые усиленно занимались с собакой дней десять, обещали поставить ее на испытания, но не делали этого, а тихонько уезжали.

И наконец, у пойнтеристов, сеттеристов, курцхаристов были свои элитные группы талантливых собак.

В полдень обитатели лагеря увидели, что возле изгороди стоит красный «Москвич», а его водитель ставит снаружи, у забора, оранжевую чешскую палатку. Он ставил ее долго, мучительно отдуваясь — был он тучен, лицо красное, как «Москвич». Покончив с устройством индивидуального лагеря, он привязал к ограде курцхара, сел на складной стульчик и, обмахиваясь от комаров, принялся воспитывать собаку. Приговаривал вполголоса «лежать» или «сидеть», собака не повиновалась, он стегал ее плеткой и снова повторял команду. Стоило кому-то показаться у калитки — и хозяин гладил курцхара, но не меж ушами и не под челюстью, как обычно делают охотники, а снизу вверх по загривку и сюсюкающим голосом приговаривал:

— Ой ты мое хорошее, ой ты моя прелесть.

Но едва прохожий скрывался из глаз, как он, обмахнувшись газеткой, резко приказывал «лежать!», и тут же раздавался очередной удар плетки.

— Что поделываешь, Кузьмич? — обратился к нему кто-то из охотников.

— Да вот к привязи приучаю, не сидит.

— Надо, надо...

— Ой ты, чудо мое... Лежать! Хороший... А ну лежать!

Стрельцов тихо свирепел на этого мучителя: стоило ехать за сто километров, чтобы вот так варварски добиваться выполнения элементарных команд, которым учат щенка в первые же недели его жизни.

Вечером, вернувшись после второго безрезультатного выхода в луга, Гена прежде всего, как обязывала тра-

диция, вытер захлестанный пеной нос Кинга, приготовил похлебку, накормил его, затем пошел в вольер и выбрал пустую конуру. Несколько собак, отведенных бессердечными хозяевами в незнакомый им доселе вольер, завывали и лаiali изo всей мочи. Он нашел сена, выстелил конуру и подыскал лист фанеры, чтобы заслонить вход от комаров. Ласково уговаривая Кинга, Гена отвел его в конуру. Кинг внимательно посмотрел на хозяина. Но стоило отойти к летней кухне, где кипели чайники, поставленные для всех, как Кинг подал голос. Геннадий вернулся, успокоил его и бросил подачку. Через минуту Кинг заснул.

Выпив чаю, Гена ушел прогуляться, подальше от подвываний пса. Но, наслушавшись соловьев на опушке — их трели были особенно красивы в сочетании с ароматом черемух — и возвращаясь к лагерю, он издали различил в хоре собачьих голосов родной баритон Кинга. Неужели он будет выть так всю ночь? Как и следовало ожидать, заслонка была отброшена мощным ударом лапы, и облепленный комарами Кинг носился вокруг, насколько позволял поводок. Казалось, каждый охотник, видя этого щеголеватого пойнтера в черном фраке с белой манишкой, пойнтера с великолепной родословной и «папой в элите», — осуждает беспечного хозяина, оставившего «собачку» на съедение комарам. Гена то сравнивал себя с Кузьмичом, то оправдывал: ведь я не один! Вон их сколько в вольере! И разве я виноват, что нет места в «казарме»?!

Он поспешил в домик, подальше от собачьего хора.

Соседка Марья Андреевна только что вернулась и сидела на кровати, по-мужски расставив ноги в сапогах и брюках и тяжело свесив с колен усталые набрякшие руки. Потом, передохнув, стала размачивать сухарики в чашке с молоком и есть их. Гена предложил свежего крепкого чаю — она с благодарностью приняла стакан. Он видел, что у этой пожилой женщины не осталось сил на приготовление ужина.

— Марья Андреевна, может быть, дать вашей Леди геркулеса?

— Нет, благодарю, я ее покормила в Собакине. Молока купила.

Лицо ее с крупным носом было вполне обычным, не останавливало на себе внимания. Но, как убедился Гена, заинтересовавшись однажды русским портретом XVIII века, лица часто обманывают: у знатных вельмож были порой такие простонародные черты... Он привык судить о человеке скорее по глазам, чем по лицу или внешнему облику. Генерал Иванцов в штатском похож на мастера телеателье или старого часовщика. А вот глаза Марьи Андреевны заставляли задуматься о ней.

— Ну, Марья Андреевна! Рекорды бьешь! — говорил Борисов. — Как с утра ушла, так и до ночи.

— А что ж делать, батюшка, — отвечала та. — Карты все истоптанные, у птицы губа не дура, ждите ее здесь!..

— Что ж, не придет?

— Конечно, не придет. Толпы охотников, своры собак... Окрест уж давно пришла и токует.

— И какая птица?

— Известно: дупель, кулики, гаршнеп.

— Дупель — и токует? — усомнился Борисов.

— Хорошо хоть меня спросил — другие бы обсмеяли. Как же дупелю и не токовать, отец ты мой! — отвечала охотница тоном усталого превосходства. Борисов смущенно пояснил, что имел в виду сроки: не рано ли дупелю токовать? — и спрашивал, далеко ли.

— За Собакином. Верст четырнадцать отсюда.

Слушая Марью Андреевну и глядя на ее усталое, но моложавое лицо без морщин, Стрельцов удивлялся все больше. Как, вот эта пожилая охотница ходила сегодня натошак за 28 километров, чтобы показать собаке дупеля?! Она, пока весь лагерь ждет прихода птицы, давно нашла ее и ходит втихомолку на известные ей одной луга. На станции, где на каждом шагу он слышал: «ты равный среди равных», как выясняется, у каждого были

свои секреты: приемы натаски, заветные места, которые держались в тайне от всех... Борисов старался тонко выспросить, чьи же угодья там, за деревней Собакино, по Марья Андреевна лишь повторяла, что на словах не объяснить, где это, а по карте показала бы. Кто она по профессии, какую жизнь прожила, есть ли у нее дети? — Стрельцов давно не ощущал такого острого интереса к незнакомому человеку рядом.

Задумавшись, он и не заметил, как соседи заспорили, и заспорили горячо.

— Да полно, не смешите, молодой человек! — оборвала Марья Андреевна этот спор. — Походите с мое в полях, тогда и судить будете.

— Это я — молодой человек?! — обиделся вдруг Борисов, для него молодость была чем-то вроде недостатка. — Да я уже год как на пенсии! А вот вы-то с какого года будете? — почему-то подозрительно спрашивал он.

— Да уж постарше вас.

— Ну, с девятьсот двадцатого, — предположил он.

Марья Андреевна рассмеялась и протянула Гене свой охотничий билет. Прежде чем передать его Борисову, Геннадий рассмотрел на обложке золотое тиснение: «ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН ВСЕРОССИЙСКОГО ОХОТНИЧЬЕГО ОБЩЕСТВА».

Борисов глянул в билет и сделал большие глаза.

— Не может того быть, — сказал он шепотом, возвращая билет. Гена тоже раскрыл его и прочел, что Марья Андреевна Волховитина рождена в 1900 году. Стало быть, ей уже под восемьдесят! И — такое молодое лицо! И — 28 километров в день только туда и обратно, а ведь главная ходьба охотника — там, на натаске, где нужно ходить, а порой и бежать за собакой или к собаке на стойке — по болоту, кочкам, продираться сквозь кусты... Гена плохо разбирался в женских возрастах, но и он, и Борисов не дали бы Волховитиной больше 50—55 лет.

— Так-то,— сказала охотница, прибирая билет.— Охота пуще неволи. Вы сегодня сколько верст прошли, Геннадий?

— Верст десять,— казалось неуместным в разговоре с ней употребить такое молодое слово — километр.

— Значит, на десять дней дольше проживете.

Это было сказано столь веско, авторитетно, что Стрельцов даже растерялся, как будто старая охотница могла и в самом деле знать его век и вольна была продлевать или сокращать его.

Он вышел взглянуть на Кинга, размышляя, почему сеттеры соседей все еще в комнате. И увидел, что собак заело комарье.

— Не будьте варваром,— сказал за спиной чей-то мягкий басок.— Дома небось песик спит у вас в погах. Ведите его в комнату и кладите под кровать.

Это говорил полевой судья Солганик. Гене стало неловко за то, что дома «песик» не спал у него в ногах и что его, Стрельцова, старательно выполнявшего требования станции, посчитали варваром. Узнав в говорившем судью, он с тревогой обязательного человека вспомнил, что через десять, нет, уже через девять дней Кинга нужно поставить на испытания, где судьи оценят его охотничьи данные, а не только фрак и манишку.

Позднее ему разъяснили слова Солганика: собаку нужно незаметно вывести до шести часов утра, чтобы никто не видел ее в комнате. Все они ночуют под кроватями хозяев — не только в «казарме», но и в судейском домике. Для отвода глаз вечером их определяют в вольер, затем украдкой переводят в дом. Все соблюдали видимость правил, а сколько таких запретов в жизни!

Стрельцов привел в комнату обрадованного Кинга, который лизал руку спасителя.

— Какой славный! А? Какова молодежь! — сказала Марья Андреевна, сияя. Для нее безупречная собака была лучше любого произведения искусства.— Чей же?

— От Босса и Весты,— ответил Гена так, как отве-

чали все здесь: прежде чем назвать себя, говорили о родителях собаки. Собака — визитная карточка хозяина.

— Босса знаю, а вот Веста?..

Гена назвал хозяина, но имя Виктора Первенцева ей ни о чем не говорило.

Обе «девушки» сурово зарычали на Кинга, когда тот сунулся было к ним знакомиться, но вскоре признали и его право на место под хозяйской койкой и перестали ворчать. Ночью он в самом деле забрался в ноги к Гене, и спалось обоим блаженно. Легли рано, чтобы встать на рассвете.

Ровно в полночь, как убедился Геннадий, взглянув на часы, раздался странный царапающий звук, разбудивший его. Он наугад сказал «тубó!» — все тут знали английские команды, но кто-то скреб и скреб все быстрее. Засветив спичку, Гена заглянул под кровати. «Англичанка» Марья Андреевны, Леди, лежа на боку, изо всех сил бежала куда-то обеими задними лапами. Когти задевали стену.

«Сон или паралич?» — подумал он. Уже знал, что собакам снятся сны — и добрые, когда собачья морда улыбается самым натуральным образом, и страшные, когда пес неподдельно испуганно взвизгивает и поднимает шерсть дыбом.

Через пять минут Леди успокоилась. Едва он задремал, как новые звуки разбудили его: Марья Андреевна произносила какие-то невнятные и, кажется, нерусские слова. На каком языке снятся ей сны?

Наутро он не забыл сказать Волховитиной, что ночью Леди удирала куда-то со всех ног.

— Я знаю, — грустно ответила охотница. — Она перенесла чумку, осталось осложнение — такой вот полуночный тик. Уж теперь до смерти. Недолго осталось...

— Но почему именно в полночь?

— Никто не знает. В полночи есть что-то мистическое, Геннадий, от чего помогает лишь петушиный крик...

Он заметил, что, как только Волховитина увидела его

Кинга, она стала лучше относиться к нему самому — с большей готовностью откликалась на каждый вопрос или просьбу и охотнее говорила сама.

— Марья Андреевна, а вы владеете какими-нибудь языками народов СССР?

— Народов СССР? Почему именно ими?

— Ночью вы разговаривали... мне так показалось.

— У, полуночник какой. В полях находитесь лучше — ничего слышать не будете. Нет, национальных языков не знаю, а вот на французском, было время, и говорила, и писала.

И она ушла, лихо свистнув свою Леди, опять на целый день.

— Ну а ты сегодня куда думаешь? — спросил Борисов слегка насмешливо и не раскрывая собственных планов. — Тоже браконьерить?

— Почему «тоже»?

— Да она, Марья-то, браконьерить ходит в такую даль. Те болота на территории охотхозяйства, а не станции.

Гена не знал, верить ли.

— С Найденовым пойдем. На подсадного перепела.

— Золотой человек! Надо говорить: с Иваном Александровичем Найденовым, его все называют полностью.

4

Иван Александрович Найденов был невидимый, но верный и неизменный центр жизни всего лагеря. Его действительно называли даже за глаза всегда полностью: по имени, отчеству и фамилии. «Надо Ивана Александровича Найденова спросить...» И в этом было высшее к нему уважение. Найденова знали в Москве все сколько-нибудь серьезные «собачники», даже владельцы овчарок, столь далекие от охотничьего собаководства. Мнение о нем было единым у самых разных людей — стариков и молодежи, увлекшихся этой страстью вчера и сорок лет

пазад, завистливых, умных, беспомощных, эгоистов и альтруистов, с тяжелым и легким характером... Все они, как только речь заходила об Иване Александровиче Найденове, говорили коротко: золотой человек! Редкое по нынешним временам единодушие.

Он знал о собаках все, умел лечить, воспитывать их, натаскивать, отучать от дурных привычек, ему удавалось даже перевоспитывать безнадежных — сломанных хозяевами собак. Порой он брался натаскать какого-нибудь запущенного пса — и тот, даже плохоньких кровей и заурядных родительских данных, преображался в недурного охотника.

Мир увлечений — это мир страстей, а значит, ревности, зависти, боязни потерять свое место в ринге на выводке или получить Д-3 после прошлогоднего Д-1... Казалось бы, такой индивидуальный, разобщенный мир собачников на самом деле очень четко организован в группировки, каждая из которых ведет свою собачью политику. Секрет и загадка — как удавалось Ивану Александровичу Найденову из года в год не подпадать ни под чье влияние, не наживать врагов, не быть пристрастным и субъективным к друзьям, а оставаться равно нужным и полезным всем без исключения. Иной владелец элитного кобеля знает наперечет родословные лучших собак страны, он, как электронно-вычислительная машина, рассчитывает лучшие варианты селекции, «бережет кровь» и улучшает породу, и с большой опаской встречает чью-то хорошо поставленную собаку с отличными охотничьими данными и блестящим экстерьером. Но пойнтеры Найденова ни у кого почему-то не вызывали тревоги, опасения, ревности, зависти, хотя и брали из года в год лучшие охотничьи дипломы и медали выставок.

Иван Александрович был «сам по себе» — независимый, но не гордый, знаток, но не ментор, мастер, но не заводчик, живущий торговлей щенками. Кроме знания собачьей души, он неплохо разбирался и в душе человеческой.

Стрельцов подошел к Ивану Александровичу Найденову и напомнил о подсадном перепеле.

— Пойдем,— сказал Иван Александрович. Медленно умылся под рукомойником, влажным лицом определил ветер, тщательно и неторопливо собрался, осторожно вынул перепела из затемненного ящика на крыше «казармы» и посадил в маленькую капроновую сеточку из-под фасованной морковки, взял удилище, веревочку и накинул на голову, от комаров, выгоревший капюшон.

— Иди к шоссе,— сказал он Гене. Кинг, как назло, так рвался вперед, что комья земли летели из-под когтей. Время от времени Гена оглядывался на Найденова. Старик в капюшоне и просторной куртке был похож на отца духовного.

Не доходя до шоссе, Найденов поднял руку вверх, будто приказывал Стрельцову остановиться. Иван Александрович, не приближаясь к ним, положил перепела на траву — тот встрепнулся,— размотал веревочку, привязал капроновую сетку к удилищу.

— Отведи ему глаза! — приказал Найденов.

Гена отвернул Кинга, который, словно поняв, в чем дело, так и рвался к старику. Найденов прошел по полюне зигзагами и в одном месте, незаметно даже для Гены, уронил удилище с перепелом. Затем подошел к ним, взял поводок и повел Кинга против ветра. Он нацеливал собаку на удилище и приговаривал какую-то непонятную хозяйину, но сильнодействующую на Кинга команду, похожую на шипенье:

— Ше-эш... Ше-э-эш... *

От этой ли команды или от ветра и запаха перепела, а Гене казалось — уже от одной властной и доброй руки Ивана Александровича, Кинг преобразился. Он не плясал вокруг ведущего, не заглядывался на порхающих желтопузиков и другую мелочь, а подобрался, напряжился и попер коротким — насколько хватало поводка —

* От англ.— «шерш» — ищи.

ныряющим челноком. То в одном, то в другом месте Кинг утыкал морду в траву и так работал носом, что звук был похож на чавканье. Тогда старик сердито говорил:

— Копаешь!

Кинг тут же отрывал шпиц от земли и, отталкиваясь всеми четырьмя лапами одновременно, устремлялся вперед.

Гена считал, что кобель его ведет себя бестолково, перепела он не причуял и в отличие от найденовских Багиры и Галки прямо-таки выдергивает руку старика из плеча. Будь Стрельцов один, он бы уже не раз резко осадил Кинга — и за то, что тянет, и за то, что «копает». Найденков был приверженец английской школы натаски и в отличие от немецкой собак не показывал никогда и ни за что.

Он подвел Кинга почти вплотную к перепелу, смирно лежавшему в травке, подозвал Гену рукой и передал ему для страховки конец поводка, а сам крепко держал Кинга около ошейника. Другой рукой Иван Александрович поднял удилице — перепел встрепенулся, Кинг рванул — оба охотника поехали за ним по траве. Даже хозяин не ожидал такой силы от своей собаки и боялся, как бы не лопнул ошейник.

И, словно в восточной сказке, где перед мордой осла держали капусту на удочке, Найденков пошел вперед, то и дело плавно взмахивая удилицем. Кинг принимался рыть землю и истекал слюной в тех местах, где подсадного опускали наземь, но охотники удерживали его, доводили до экстаза и все шли и шли вперед.

На первой карте за шоссе Найденков снова велел «отвести собаке глаза», положил незаметно удочку и опять взялся наводить Кинга. У него было завидное терпение. Гена решил, что Кинг безнадежно бесчутый, раз такую тонкую процедуру приходится повторять. И где же потяжка? Стойка, подводка? Почему собака не ложится «как громом убитая» каждый раз, когда перепела поднимают из травы, — ведь это равноценно его взлету? Он

смущенно оправдывал Кинга вслух, потом смущенно ругал — мол, в городе он такие знатные стойки делал на голубей, а тут...

Найденцов молчал.

Вторично пройдя с падающим и взлетающим подсадным, Иван Александрович освободил пленника из сетки, связал ему крылышки тонким и легким шнурком и снова спрятал вместе с удочкой. Теперь подсадной мог взлетать и пролететь несколько метров.

Кинг сразу же потащил к нему охотников.

— Оставь,— сказал Найденцов и удерживал Кинга в одиночку, дав ему полный поводок. Не опуская морды, без всякого челнока Кинг напрямую мчал старика к перепелу. Гена злился, что пес забыл даже знаменитый пойнтеровский челнок. Величественный старик вынужденно бежал следом. И опять не было никакой стойки — Кинг прямо-таки уткнулся носом в подсадного и рвался к нему, как дворовая цепная собака, стоя на задних лапах.

Перепел взлетел и — о, ужас! — шнурочек соскочил с крыльев. Освободившись от пут, подсадной улетел метров за сорок и сел в траве. Кинг рванулся за полетевшей птицей. Запор на ошейнике съехал набок, ошейник растегнулся.

— Кинг! Тубо! Даун! Ко мне! — орал Гена, по пойнтер, словно освобожденный перепел, уже не мог остановиться. Сначала понесся за подсадным. Сделал круг возле Найденцова. Потом, окончательно потеряв всякий интерес к учебе, рванул с немыслимой скоростью за пролетным желтопузиком, видно, принимая его за так раздразившего перепела.

— Тубо! Ко мне! Даун! — бестолково кричал во всю мочь хозяин. Вспомнил о свистке и долго заливался призывными трелями. Кинг не реагировал ровным счетом ни на что. Вдоволь нагонявшись за птичкой, кобель остановился метрах в двухстах и задумался: идти к хозяину или поноситься еще?

— Призови ж ты его,— сказал, подойдя, Найденцов.

— Погнал!.. А? Погнал! А теперь — азарт. Никаких команд не слышит.

Кинг, такой послушный и правильный, с челноком и стойкой, с полным курсом домашней дрессировки, с безукоризненным ходом и поиском — и вдруг сорвался и «погнал» птичку! Гоньба птицы — самый тяжкий собачий грех. Погнавшую легавую тут же снимают с испытаний, а в ее карточке появляется «строгач с занесением», потому что главный долг легавых — указывать на дичь и за л е г а т ь при ее взлете.

— Все он слышит, зови, — спокойно отвечал старик. Стрельцов перепробовал все: и свистки, и крик, и шел на собаку с поднятой вверх рукой — Кинг игнорировал хозяина с его штучками. Когда Гена немного приблизился, пойнтер вдруг увидел пролетавшую над ним ворону, хотя обычно редко смотрел вверх, да и вообще зрение его значительно уступает пюху и чутью. Размеры вороны показались псу заслуживающими внимания. В подобных случаях охотнику остается пожалеть, что у него нет лас-со. Кинг с немыслимым азартом ринулся ее преследовать и через минуту скрылся из глаз.

— Ну что делать? — убито, зло, беспомощно выкрикнул хозяин в полном отчаянье.

Найденов, без всякого выражения наблюдавший все это, казалось, понял его слова буквально. Он ответил:

— Ложиться.

— Как?

— В траву, как еще.

Уж не смеется ли старик? Нет, не смеется. Гена плашмя бросился в траву, на руки. А Найденов поймал перепела и пошел к шоссе с удочкой на плече.

Через минуту Кинг с испуганной мордой рыскал рядом, недоумевая, что же стряслось с его властелином? Гена сел, подозвал его, угостил сыром, выправил ошейник и взял Кинга на поводок. Догнав Найденова, он смущенно и благодарно сказал:

— Вот это средство! Буду знать...

— Собаку бил — вот и не подходит.

— Да что вы! Да я... Никогда!

— Что ж не подходит?

— Азарт. Мы ж его раздразнили.

Найденлов махнул рукой: пустое. Гена принялся с жаром доказывать: нет, не бил, в городе пес был так послушен, так послушен, а не подходит теперь из-за того, что ноги ведут непутевую голову.

— Когда подходит по команде — награждаешь? Подачку дасшь?

— А как же! Да если хотите, сейчас подойдет. Успокоился — и будет подходить.

— Ну, пусть,— Найденлов, казалось, поверил, что азарт застит темпераментной собаке глаза, отбивает устоявшиеся команды. Возбуждение от первой встречи с птичкой так велико, что она и хозяина променяет на «птичку» — гонит за воронами, чайками, даже за тенью самолета!

Гена отстегнул затвор ошейника. Кинг сразу перешел с шага в красивый галоп и понесся вдоль опушки леса, вскакивая свечками на бабочек. Гена отпустил его подальше и длинным свистком, резко взмывшим вверх в самом конце, позвал. Видимо, собака прекрасно чувствует на расстоянии, уверенно или нет отдает хозяин команду. Если неуверенно — не подойдет ни за что.

Метра три-четыре Кинг тормозил с разлета, повернул, застыл. Застыл и Гена: пойдет ли? Хватит того, что погнал птичку при Найденлове, а ведь Найденлов — судья.

Но Кинг разогнался и мчал к хозяину во всю мочь. Не дожидаясь, пока собака сравняется с ним, Стрельцов поднял руку вверх:

— Даун!

Эта команда звучит страшно, как выстрел.

И Кинг — умница, спаситель авторитета, золото! — на лету начал опускаться в траву. Это надо видеть — как собака угасает на полном аллюре, как она стелется по траве, выполняет новую команду, еще не остановив-

шись. Кинг был похож на приземляющийся самолет. Наконец скольжение прекратилось, он замер — морда на лапах, носом к хозяину, невидный в траве. «Как громом убитый».

Эта команда действительно жизненно важна для леговой. На охоте сразу после команды «даун!» следует выстрел, дробь летит над собакой и, если приказ не выполнен, возможно ранение.

Гена неторопливо подошел к Кингу и подал сверху вниз кусочек вяленого мяса. Сверкнули зубы — кусочек был проглочен на лету. В их отношениях было уже и такое: собака игнорировала приказания до тех пор, пока не проголодается. А стоило проголодаться — выполнит любую команду образцово, подбежит и тычет носом в карман: ну давай, давай, заработал же! Теперь в их отношениях не было никакой меркантильности. Стрельцов оглянулся на Найденова — суровые глаза старика по-детски улыбались.

Через сотню шагов Кинг ушел в заросли, и Гена снова позвал его свистком. Кинг вылетел на поляну, замер с поднятой и подогнутой передней лапой, будто на стойке, нашел взглядом хозяина и понесся к нему так, словно волки гнались следом.

Это повторилось несколько раз, Кинг всем своим поведением будто извинялся за срыв, и Найденов оттаял.

— А может, и азарт, — сказал он у самого лагеря. — Будет, будет собака, — добавил старик успокоительно. — Чутье есть...

— Разве есть?

— Поиск тоже. Хорошо поставить надо, чтобы по команде работал безупречно.

С жаром доказывая Ивану Александровичу, что он не наказывал Кинга, Стрельцов пережил сильнейшие угрызения совести: мудрый старик был прав. Гена сек четырехмесячного щенка за изгрызенные книги, лоскуты которых устилали пол в комнатах. Наказывал и девятимесячного — за «самоволку», когда кобель ранней весной

посился по всем окрестным кварталам... У собак бывает два опасных периода в году: весна и осень, и самые дисциплинированные теряют контроль над собой, слушаясь таинственного голоса крови. Впрочем, для кого неопасна весна?

Но Кинг великодушно простил хозяина. Это был первый урок натаски. Люди воспитывают собак — собаки воспитывают людей.

Когда они вернулись в лагерь, увидели снова привязанного к изгороди курцхара. Опять владелец красного «Москвича» сидел на стульчике.

— Вот бы кого на привязь посадить да воспитать, — сказал Гена. Найденлов промолчал, усмехнувшись.

В полдень курцхар носился по лагерю, волоча за собой поводок с обломком штакетины, как лошадь с постромкой для двуколки.

Оказалось, озлобленный пес кинулся на хозяина, прокусил ему руку и, выломав штакетину, ударился в бега. От неожиданной агрессии хозяин упал со стульчика. Вгорячах понесся следом за курцхаром, размахивая плеткой. Лицо человека было искажено, багрово и яростно. Собака легко уклонялась от встреч с ним. Человек задыхался от бессильной злобы, но остановиться не мог и бежал, бежал. Казалось, сейчас его хватит апоплексический удар. Ясно было: он не прочел ни одной книги по дрессировке и натаске. И сразу все, чем он обладал, показалось лагерю взятым напрокат, костюмом с чужого плеча — и охотничья породистая собака, которую он ломает, если уже не сломал, и чешская палатка, и машина. Этот человек ни разу в жизни не задал себе вопроса: а воспитан ли он, и зрители с ужасом представили, как же он воспитывает своих детей...

За длинным столом обедали ирландисты — народ дружный, коллективистский. На восемь человек у них была одна бутылка вина и восемь тем разговора. Как часто бывает наоборот: на восемь бутылок — какая-нибудь одна заваливающая тема. Они оторвались от беседы, оживлен-

но комментировали происходящее и давали советы хозяину:

— А ты челноком, челноком!

— Окружай его!

— Кузьмич, даун!

Таня, держась за березу, звонко смеялась. Смех душил ее, она стала задыхаться и смеяться беззвучно.

— Всегда найдется человек смешнее тебя самого, — сказал рослый чернобородый ирландист Игорь, и Таня осеклась. Геннадий, глядя на них, понял, что между Таней и Игорем что-то есть...

— Да поймите же вы его! — обессиленный, провизжал фальцетом Кузьмич.

Но никто, даже те, кому курцхар тыкался мордой в ладонь, не спешили его ловить. Он словно просил политического убежища.

— Редкий случай, — философски прищурившись, сказал после долгого молчания судья Солганик. — Собака натаскивает хозяина.

Через неделю этот курцхар был выставлен на полевые испытания вместе с Кингом Стрельцова — так указала жеребьевка.

5

Отправляясь на вечернюю патаску, Стрельцов решил дойти до торфяника — еще в первое утро ему слышался оттуда крик перепела: «Спать пора! Спать пора!» Он даже переспросил потом Найденова, так ли кричат перепела, и старик, сложив ладонь полукруглым рупором, просвистел: «Чить-чивить! Чить-чивить!» — очень похоже на «спать пора». Гена мечтал переполошить лагерь сообщением, что пришел перепел.

Ожидая Кинга, застрявшего в кустах по нужде, он вдруг увидел бегущую по тропке Таню. Следом за ней неся рысью ее ирландец, то забежал вперед и заглядывал в глаза, то отставал. Таня плакала навзрыд, спотыкалась, чудом не падала.

— Что с вами?

Девушка слепо, как летучая мышь, метнулась от него. Метрах в тридцати она упала в траву, плечи ее сотрясались от плача. Бежала в спасительный Белый Омут — да не добежала...

Сеттер недоуменно нюхал затылок хозяйки и вилял хвостом, думая, что с ним играют. Потом начал поскрывать.

Геннадий подошел и осторожно тронул Таню за плечо.

Она, как и все, кого утешают, разрыдалась в голос.

— Ну... Ну... — ласково приговаривал Гена. — Ну что такое непоправимое стряслось? Все будет хорошо...

Нет, не умел он утешать женщин! Любое сочувственное слово вызывало новый поток слез.

— Пойдемте в луга... охотники идут... У, квашня какая! — Он перебрал множество вариантов, даже ругнулся про себя: «Дамские нервы! Пропал теперь перепел!»

Наконец Таня села, старательно отворачивая и закрывая заплаканное лицо. Наверное, даже при всемирном потопе женщины не забывали следить за тем, как они выглядят. Сеттер время от времени лизал мокрое лицо хозяйки. Удивительная снайперская точность у языка собаки: уж если пес надумал лизнуть вас в губы или нос, как ни уклоняйтесь — все равно поцелует!

Кинг смущенно вышел из кустов и с интересом рассматривал ирландца.

Стрельцов решительно поднял девушку за плечи и повел в луга: природа — великий врачеватель, успокоит и эту боль. Собаки затеяли игру, кругами носились вокруг хозяев. Гена успел заметить, что Кинг по скорости бега раза в три превосходит Таниного сеттера. Видно, мало гуляла с ним в городе, не гоняла собачку каждую неделю на воле, как делал Стрельцов.

Сбивчивые междометия и фразы Тани все больше становились похожи на связную речь, а потом и на исповедь.

В девятнадцать лет она счастливо вышла замуж за военного летчика Николая Торопова, сильного и добродушно-спокойного, как все летчики. Он был старше ее и порой казался не мужем — отцом. Пожалуй, впервые после детства Таня ощутила полную безмятежность. Вот только трудно было ждать Колю из полетов, особенно ночных.

Вскоре Торопов перешел в гражданскую авиацию, стал летчиком первого класса, командиром корабля. И был долгий нескончаемый праздник, каскад обнов, к которым Таня не могла привыкнуть. Они купили дачу и машину, у них всегда собирались друзья — весь авиаотряд знал и любил Торопова. Таня по настоянию мужа поступила в вуз, чтобы иметь дело.

Единственное, что омрачало безоблачную жизнь молодых, — бездетность.

Однажды Коля привез щенка сеттера — ему подарили в порту. Таня не раз кусала губы, видя, как ее муж-здоровяк, мастер спорта по пятиборью, тискает и ласкает щенка, как одаривает всех подряд соседских детей, — то была его неизрасходованная отцовская любовь. Таня ощущала себя ничтожной, бессмысленно и зря живущей на свете, стоило только представить, что было бы с ее Николенькой, Торопушей, Ником — роди она ему сына! Она готова была отойти в тень, на десятый или двадцатый план по сравнению с рожденным ею сыном, она готова была даже умереть сразу после родов! — лишь бы удовлетворить родительскую страсть Николая. Стараясь подладиться под мужа и испытывая такую же тоску по крохотному живому существу, полностью зависящему от тебя и тебя повторяющему, она полюбила щенка Димку не меньше, чем хозяин дома.

Когда сеттеру исполнилось полгода, Николая Торопова не стало. Нет, он не погиб в сложном рейсе, совершая подвиг. И не улетел в другую страну развивать ее воздушный флот. Он просто перешел улицу и стал жить

с женщиной, которая сразу же забеременела от него. Он великодушно оставил Татьяне все — квартиру, мебель, хрусталь, собаку... Себе взял лишь автомобиль — езду он любил так же сильно, как авиацию.

К тому времени Таня уже узнала из умных собачьих книг, что нельзя давать щенку человеческое имя — неэтично, нельзя звать его уменьшительными именами или кличкой-дублем. И знала, какая это трагедия для собаки — сменить хозяина. Для собаки... А если женщина потеряла любимого?

Потянулись долгие осенние дожди одиночества — полного, круглого, несусветного. И однажды, через год после развода, Таню встретил художник, писавший когда-то портрет Николая Торопова — чернокудрый Игорь Николаевич. Сначала она потянулась к нему от тоски по общению, по участию, а потом и полюбила — мучительной «односторонней» любовью. Видались редко и все тайком, причем обоим приходилось всякий раз придумывать унизительные предлоги для тайной встречи, это раздражало и утомляло. Москва — трудный город для любви. Вскоре сложностей прибавилось: заболела таинственная, ни разу не виденная ею жена Игоря, и он сказал Тане, что не может быть таким подонком, чтобы встречаться с нею, когда жена лежит в больнице. Тянулась нескончаемая зима, встретиться где-нибудь даже на коротке было проблемой, к тому же Тане не хотелось откровенно ходить в записных любовницах. Мужчины ужасно устроены: они гордятся каждой новой любовной связью и произвольно выставляют ее напоказ, нисколько не заботясь при этом, как окружающие относятся к ней, к женщине. Отношение это красноречиво, в любом слове и взгляде друзей Игоря Таня не раз слышала и видела унизительный намек.

Ее задевала неопределенность положения — уже успела привыкнуть к капитальной определенности во всем в эпоху Н. Торопова. А Игорь вдруг повел себя механически-обязательно, встречался с нею, словно по расписа-

нию, принужденно. Они стали ссориться, порой по пустякам.

Зима тянулась, люди из месяца в месяц были закованы в непробиваемую броню, как никогда отчужденные холодом и настолько напитанные статическим электричеством, что при рукопожатии между ними проскакивала искра.

По-настоящему они рассорились перед Восьмым марта, когда оказались в незнакомой компании. Именно ее безвестность в этом кругу сделала Таню раскованной. Сперва она предложила тост за собаку — и все сочли ее оригиналкой. Таня пояснила, что есть на свете люди, которым живется гораздо хуже, чем иной породистой собаке. Тут Игорь демонстративно перестал ее слушать, воспользовался темой, которую она предложила, принялся рассказывать о натасках, испытаниях, выставках. Хочет дипломатично выйти из неловкого положения. Нетушки, не пройдет!

Она резко заявила, что заставлять человека ждать звонка целую неделю, не отходя от аппарата, — бесчеловечно, даже когда собаку укладывают перед чашкой с едой, ее не мучают так долго! Она говорила, что у человека в тысячу раз больше внушенных молчаливых ограничений, нарушение которых карается гораздо сильнее, жестче, больнее, чем прегрешения собак. Любимый пес на положении полноправного члена семьи, а любовница и в кругу друзей не имеет вовсе никаких прав... Тут Игорь встал, извинился и попытался Таню увести, но она ушла одна. Среди незнакомых легче быть откровенным.

Они рассорились, но встреча в Белоомуте была неизбежной.

Выключенные теперь из равномерной городской жизни, оба через пять дней снова потянулись друг к другу, бывшие раздоры среди этих лугов показались пустячными, но, начавшись сначала, в лагере все опять повторилось. Игорь свистнул ей — и она явилась, потом командовал «место!», а чтобы растравить душу, стал под-

черкнуто ухаживать за Татьяной Кронц... И вот полчаса назад грубо посмеялся и над Таней, и над ее бездарным Димкой, и прилюдно велел скорее возвращаться в Москву — с глаз долой!

История Тани оказалась проста до банальности, и, слушая ее, Гена с сочувствием и жалостью не раз подумал: какая проза... Мир полон почти одинаковых трагедий, уже одна завязка которых с заданной неизбежностью приводит к не менее стандартной развязке.

Он слушал — и понимал, что в городе, в этом дымном, суетливом столпотворении никогда не услышал бы подобного. Любой факт человеческой жизни там — в каменных и бетонных лабиринтах, в подземных и наземных видах транспорта, в многоликой человеческой массе — менее значителен, он заведомо тушется и стирается. А здесь — в покое и тишине, среди размагничивающей зелени лугов любой, даже ничтожный факт жизни человека приобретает истинную цену.

За разговором они незаметно вошли в луга.

Белый пар остывающих лугов почти на метр стелился над землей, и идущий охотник был виден лишь наполовину. Кинг, едва войдя в карты, сразу бросил игру, сеттер не интересовал его больше, и, вопросительно посмотрев на хозяина, пойнтер начал работать — пошел рысистым челноком.

Одни едут в Белоомут ради собак, другие за дипломами и славой, третьи — чтобы выгодно устроить дела, куплю-продажу и увидеть конкурентов в лицо, четвертые — от собственной пустоты и пресыщенности, но все они, все без исключения, даже не признаваясь себе в этом, едут окунуться в белоомут природы и человеческого общения.

Таня, уже не всхлипывая, рассказывала об изощренных приемах, какими мучил ее Игорь и раньше, и уже

здесь, в лагере. По сравнению с ним хозяин курцхара Кузьмич выглядел сущим ангелом.

— Слабые всегда злы,— сказал Гена. Он и не думал над этим, слова пришли непроизвольно.

— Какой пес у вас послушный,— отвлеклась Таня от своих горестей, когда Гена подозвал и наградил Кинга. Стрельцов со смехом принялся рассказывать ей о вольностях и несусветной самостоятельности этого «послушного», о побегах в «самоволку» и о том, как забавно бегал Найденов с подсадным перепелом. Вспомнил и то, как Кинг шести месяцев от роду сожрал пачку стирального порошка «Лотос» и неделю потом ходил с распухшей от аллергии мордой, а теперь панически боится ванной комнаты. Или вот вполне уже взрослый кобель вдруг, вырывая из рук поводок, стремглав несется к дому, как если бы там сидел тетерев. И застывает в стойке. Подойдя, хозяин не в силах сдержать снисходительной и разочарованной улыбки: это капле с козырька над подъездом так возбудила собаку. Кинг разевает пасть и прыгает вверх — ловит капли. Мальчишка, щенок! А ты уже собрался с ним на охоту и требуешь работы, как от взрослого! Да и во время натаски с подсадным он делал стойки... на бабочек,— говорил Гена, стремясь и развеселить, и развлечь Таню, но результат получился обратный: она опять чуть не заплакала.

— Вам хорошо! И собака у вас вон какая, и папа в элите, и Найденов перепела показал. А я — и себя, и собаку загубила...— Слезы снова слышались в ее голосе.

О, женская логика! Он вспомнил немногословность Ивана Александровича Найденова и понял, что чем больше слов, тем хуже.

— Или мы идем на перепела, или мы идем в лагерь! — Стрельцов решил действовать решительнее.

— На перепела!

— Тогда имейте в виду: перепела терпеть не могут сырости, особенно женских слез.

Он взял Кинга на сворку, чтобы тот не тратил «по-

рох» попусту. У собак свое самолюбие и тщеславие, и Кинг перед Таней и ее сеттером готов был на хвосте ходить, лишь бы показать себя. Гена пошутил, что Таня хорошо действует на его пса, надо будет взять ее на испытания, чтобы стимулировала. Она засмеялась, а Кинг посмотрел на них так, словно понимал человеческую речь. Это недалеко от истины: английская собака чувствительна, стоит посмеяться над нею при гостях — и нос ее станет горячим, поднимется температура, ведь задето собачье самолюбие. Порой достаточно хлопнуть по носу свернутой в трубку газетой, чтобы пес обиделся и часа два угрюмо лежал на подстилке, ненавидя весь свет и особенно тот день, когда у него появился такой хозяин. Легава может обидеться на чересчур резко отданную команду, приревновать хозяина к чужой собаке, заупрямиться, если не дана честно заработанная подачка — и из-за подобных причин вообще отказаться работать в поле.

Дорога вдвоем всегда короче, и вскоре они подходили уже к каналу и коричнево-красным грудам вынутого торфа, которые издалика казались черными. Если сначала Кинг горделиво шел рядом, вытягивая ноги в струнку, спину держал, как на выводке, красуясь перед сеттером, то теперь бахвальство кончилось, он все чаще взглядывал на Таню, и морда его становилась все серьезнее. Неожиданно и для хозяина, и для Тани, даже напугав, Кинг вдруг подскочил и лизнул ее.

— Даже он меня пожалел!..

— Таня, — улыбаясь, сказал Стрельцов. — Не будьте такой мнительной, возьмите себя в руки. А то наши братья меньшие скоро выть начнут.

После ее исповеди Стрельцов другими глазами стал смотреть и на сеттера Димку. До сих пор все ирландцы казались ему братьями, настолько схожи по экстерьеру. Так вот, значит, какова его судьба — замещать сына... Интересно, а почему вообще люди заводят собак? — этот простой вопрос раньше почему-то не приходил ему в го-

лову. Ведь это происходит лишь с определенными людьми и в какое-то определенное время, при определенных обстоятельствах... Потеря любимого, тоска по материнству — у Тани. А у Марьи Андреевны, у Борисова, Найденова, Иванцова?..

И тут они услышали перепела.

Он «бил» отрывисто, даже гневно, будто строжил на кого-то. Таня и Геннадий остановились, радостно показывая друг другу глазами: вон там бьет. Рассерженному ответил другой, и азарт охватил охотников: вот оно, наконец-то!

Гена прихватил пальцами верхушки травы и слегка подбросил их, определяя ветер. Чтобы навести собак против ветра, нужно было описать большой полукруг. Собаки тоже очень внимательно — впервые в жизни — слушали это характерное «чить-чивить!». Осторожно, чтобы не испугнуть, охотники подошли к опушке, тихо пустили собак, дав им полный поводок.

Кинг напряжился, сразу заработал носом, потянул хозяина. Стало быть, не прошел даром урок Ивана Александровича Найденова — Кинг запомнил запах подсадного! А Димка смущенно вилял хвостом и виновато смотрел на людей. Он догадывался, что от него чего-то ждут, но вот чего именно?..

Кинг тем временем набрал скорость поиска, и Гена колебался: спустить его с поводка или все же подстраховать на стойке? Он решил подстраховать и побежал за пойнтером.

Перепела били все сильнее и ближе. Потом вдруг смолкли.

Кинг замер на месте. Если бы он догадался при этом поднять и поджать лапу — была бы классическая стойка.

И тут Гена увидел впереди, метрах в двадцати, перепелов. Он не сразу догадался, что это именно они и есть, принял их за турухтанов, слишком уж крупными они выглядели. Среди травы была вытоптана маленькая, метра в полтора, полянка. Двое расфуфыренных самцов, раз-

дув зобы, наскакивали друг на друга — ни дать ни взять как самые настоящие петухи! — токовали. Кинг тоже видел их. Сдвинуть его с места было невозможно. Гена стоял рядом с собакой и негромко посылал ее: «Пиль!» Недаром эта команда с первого дня жизни щенка означает для него и еду и дичь одновременно.

— Пиль! — громко скомандовал Стрельцов и добавил по-русски: — Вперед!

Кинг бросился — перепела разом взлетели, Гена оглушительно рывкнул «даун!», но Кинг не лег, а сел на хвост, не спуская глаз с улетающих перепелов.

— Отлично! — закричала Таня, лицо восторженное и никаких следов слез. — По перемещенному!

Он все-таки уложил Кинга и наградил его, хоть работа собаки была еще не безупречна. Охотники не спускали глаз с перепелов: те описали большую дугу и снова сели у торфяника. Гена дал Кингу хорошенько обнюхать токовище, велел Тане пустить и Димку, чтобы собаки лучше запомнили, какой именно запах требуется обнаружить в лугах. Он засек место, где сели перепела, и снова начал наводить Кинга на «перемещенных». Боялся не поспеть: работы оказалось гораздо больше, чем можно было предположить теоретически, из литературы. Но Гена боялся и поторопиться — и спугнуть птичку. Трасса свистела под сапогами. Кинг несясь вскачь.

На этот раз перепела бились прямо на проселочной, давно не езженной дороге вдоль торфяника. Двое наскакивали друг на друга, кружились, но клювы в ход не пускали. Третий вел себя абсолютно спокойно, поклевывал что-то, чистил перышки. Да это же и есть перепелка, из-за которой столь доблестно сражаются бойцы!

Гена отстегнул ошейник. Кинг не рванулся вперед и не остановился как вкопанный — нет, он начал медленно подкрадываться, очень осторожно ставя каждый раз лапу в траву, будто боялся змей. И опять казалось, что он видит перепелов, а не причуивает их.

— Вперед!

Пойнтер кинулся, перепела снова взлетели... И, не смотря ни на какие команды, Кинг «погнал птичку» — неся по лугу, задирая морду вверх. Он искренне старался, вкладывал в скорость всю свою силу, не понимая, что его работа вовсе не в беге.

Перепела разлетелись в разные стороны. Соперники сдались перед человеком. Разрушилась еще одна будущая птичья семья. Вот почему натаска собаки приравнивается к охоте с ружьем.

Кинг опять погнал! Как, ну как выбить из него этот азарт, эту дурацкую привычку?! Гена в отчаянье ударил себя кулаком в колено и сел на землю. Опять брак в работе собаки!

Подошла Таня и стала утешать его. Димка опасливо нюхал новое токовище и неуверенно поглядывал на людей. Он был похож на школьника, не выучившего урок.

— Ну я же говорила, ведь говорила же! Я одни неудачи приношу, а вы со мной связались!

Возвращаясь с натаски, Гена пришел к выводу, что результаты не так уж плохи: во всяком случае, Кинг закрепил запах перепела, была стойка, потяжка, подводка, теперь самое главное — навсегда отучить от гоньбы. Но как это сделать?

Таня просила рассказать, как он увлекся собаками, и Гена начал вспоминать эту историю. Однажды поздним вечером он сидел на кухне и читал под музыку. Вдруг где-то на лестничной площадке раздался жуткий вопль. Он вскочил и застыл на месте, стараясь разобрать, откуда шел звук. Нынешние железобетонные дома не только хорошо звукопроницаемы, но и слишком звукообманчивы. Кто-то в полночь стучит молотком точно над вами, на самом деле новоселы вселились в квартиру, которая на шесть этажей выше, да еще и находится в соседнем подъезде. Едва он взялся за ручку двери, как звук повторился. Да какой! Так кричал лишь один человек на его памяти — пьяный, угодивший между вагонами электрички, когда она тронулась.

Гена выбежал на лестницу. И вниз, и вверх никого. Все двери заперты, хотя страшный звук наверняка был слышен во всех 56 квартирах подъезда. Никто не вышел. Что ж, он лучше узнал цену своим соседям, доведись завтра закричать ему самому...

Нигде никого... Кто же кричал?

Возвращаясь, он увидел, что в спешке неплотно прикрыл за собой дверь. В кухне сидела собака, сантиметров сорока ростом, с длинной усатой мордочкой, купированным хвостом и короткой жесткой шерстью. На груди — шлейка с обрывком поводка.

Вспомнилось народное поверье: если к дому приблудилась собака — это к счастью. Пес дал погладить себя, но не подпускал к голове. Поднялась короткая губа, и угрожающе обнажились мелкие белые зубы. Все животные берегут голову. Найденыш был настроен недоверчиво к людям.

Вышла проснувшаяся жена и спросила, кто так кричал. Гена указал ей на собаку. Кажется, это фокстерьер. Жена нашла фоксика милым, накормила его и принесла старую детскую шубу, чтобы путник согрелся: на дворе было минус 28. Решили, что фокстерьер сбежал от хозяина, оборвав поводок, долго мерз, раскаялся в побеге, долго искал квартиру, но все подъезды и этажи дьявольски похожи друг на друга, и, отчаявшись, обезумев, взвыла собачья душа.

— Нет, каковы! — сказала жена о соседях. — Я думала, кого-то режут. Хоть бы один отворил!

— Да, люди... — поддакнул Гена. Он расстелил шубу на полу — фоксик проворно улегся на нее и закрыл глаза в знак того, что знакомство окончено. Гена погладил его все-таки по голове и выключил свет. Наутро он привязал к шлейке бельевую веревку и отправился с найденным на прогулку. Не в пример минувшему вечеру, прыти в том было преизбыточно. Пес кидался ко всем без исключения прохожим, удивительно высоко и легко прыгал, клацал зубами у самого носа. Гене укоризненно

говорили: «Да утомоните ж вы его!» Даже терпеливый немой дворник окатил его снегом с лопаты так, что фоксик захлебнулся и подавился тем снегом.

У попрыгунчика оказался слишком неуживчивый характер. Когда они возвратились, пес отвернул морду от завтрака: молока он не пил, картошку и кашу обнюхал, но есть не стал. И только кусок сырого мяса проглотил так же стремительно, как появился в квартире Стрельцовых. Гена нашел в собачьей энциклопедии портрет уса- того беглеца и прочитал детям, что фокс — большой любитель лис, нор, мышей, хороший охотник, но слишком уж кипятилив, горяч, откуда и происходят все его штучки: щелканье зубами, нападки на прохожих и, что хуже всего, — на детей. Семья решила, что этот маленький бес вынудил хозяина поднять на него руку, а потом не стерпел обиды и удрал, оборвав поводок.

Собака породистая, молодая, нет и года, хотя уже избалованная, капризная, — видел Стрельцов. Но как уберечь от этого агрессивного волчка своих и чужих детей? От него, даже спокойно лежащего, можно было ожидать любой каверзы. Неопытные собаководы оставили фоксу вдоволь еды и воды и отправились на службу.

За обедом Гене конфиденциально сообщили, что вчера ночью в подъезде их ведомственного дома двое бандитов ограбили жену сотрудника Белашова.

— Слухи, — сказал Стрельцов. — Собака потеряла хозяина и взвыла, а потом влетела в мою квартиру. Я живу в этом подъезде.

Тем не менее сенсация о бандитах уже обошла все отделы и этажи их научно-исследовательского института.

Вечером он с фоксом поднимался в лифте с одним из незнакомых ему соседей, жившим на верхнем этаже. Фокс звонко лаял, не унимаясь ни на секунду, и все поровил тяпнуть попутчика за палец.

— Кажется, он к вам неравнодушен, — заметил Гена. Слишком уж хладнокровно мужчина переносил вызывающие нападки пса.

— Похоже, этот маленький негодяй устроил себе гостиницу в нашем подъезде. Каждую неделю переезжает с этажа на этаж.

— Как вы звали его?

— Макс. А до меня его звали Чипом.

— Хотите забрать?

— Сыт по горло.— И незнакомец с облегчением нажал кнопку своего этажа.

— Да ты, брат, летун,— сказал Гена фоксу.— Как вас теперь называть, если ваше имя длиннее титула индийского раджи? Макс-Чип-Дэви-Айдо-Нерон?

В ответ тот подпрыгнул так неожиданно, что Гена не успел отпрянуть, и лизнул в щеку; он прыгал, как чертик на пружинках, легко, бесшумно и бесконечно.

В другой умной собачьей книге Стрельцов прочел, что дрессировка фокстерьера удастся вполне только людям воспитанным, терпеливым и мудрым. «Ну что ж,— решил он,— посмотрим, каков я есть...»

Через неделю прежний хозяин фокса удивился:

— Как, Макс все еще у вас?

— Да, но мы зовем его Дэви.

Во все дальнейшие встречи этот сосед избегал Гену, отводил взгляд и не здоровался; ему было неприятно, что не прижившаяся у него собака прижилась у Стрельцова.

— Через неделю можно было ручаться, что я терпелив,— рассказывал Геннадий Тане,— много было вытерто нахальных луж, которые появлялись порой сразу же после прогулки, много было потрачено времени по утрам, чтобы убрать из поля агрессивности Дэви все, что могло пострадать,— в один день он изгрыз ножки трех стульев.

Стрельцовы быстро перезнакомились с верхними и нижними соседями, приходившими сообщить, что пес был весь день напролет, пока хозяев не было дома. Много было потрачено сил на дрессировку... Гена пытался разгадать душу этой странной, порывистой, нервной собаки, у которой даже радость и любовь выглядят психи-

чески ненормально. Откуда ему было знать тогда, что любая испорченная охотничья собака отмякает и делается ручной и преданной, готовой ради хозяина на все, если поманить ее не пальцем и не куском колбасы, а великим собачьим предназначением — охотой! Он же охотником не был, и сколько фокстерьер ни вынюхивал хозяина, а запаха кожаной амуниции, костровых дымов и ружейного запаха так и не обнаружил.

Если с терпением Гены дело обстояло неплохо, то с двумя другими качествами, необходимыми воспитателю, было хуже.

Дети, никогда не знавшие раньше такой прекрасной живой игрушки, то и дело лезли к Дэви поиграть. Иногда он принимал их робкие, но настойчивые предложения, гонялся вместе с ними за мячом, за палочкой, за их пятками и притворно лаял, причем они вовсе не пугались этого лая, неизвестно как различая, что этот лай не всерьез. Но вот беда, ни одна игра не кончалась мирно. Дэви не умел шутить, и после веселых визгов непременно раздавался рев: пришелец уже всерьез цапал за пятки или пальцы. За что и перепадало ему.

Мудрые собачьи книги говорили, что эту тонкую нервную собаку нельзя наказывать иначе чем газеткой по носу — как и все мелкорослые создания на планете, он чрезвычайно мнителен, отсюда и шла его нервенность и агрессивность. Но это было легко понимать умом, с книжного листа, и куда труднее — говорить о характере фокса с разгневанной мамочкой заоравшей на весь мир девчонки, к которой подскочил Дэви. Или когда вместе со скатертью на пол съехал сервиз — в доме не сразу нашлась «газетка». При наказании фоксик страшно злился, глаза его краснели, как у мангуста, казалось, он накачивался изнутри, словно еж, и потом долго отказывался от еды, объявлял всем Стрельцовым голодовку.

И все-таки многое удалось. Дэви научился сидеть по команде, шел на зов, не привередничал в еде, а особа хозяина — единственная из всех — стала для него не-

прикасаемой. Он талантливо рыл норы в снегу и зарывался в них по самый пене́к хвоста. Взрослея, Дэви становился мягче нравом, а может, это Стрельцовы привыкали к нему. Теперь, воспитав Кинга, Гена понимал, что сломанную смолоду собаку под силу перевоспитать только очень опытному и талантливому дрессировщику.

Нет, Гена не удержал найдены́ша: однажды весной, распутывая его кожаную сбрую, он упустил конец поводка. Маленьким живым смерчем Дэви завертелся над землей и понесся по двору, улице, скверу. Умные книги советовали немедленно уходить от сорвавшейся собаки. Гена ушел. Было необыкновенно обидно, как если бы он поссорился с лучшим другом детства. Он много размышлял о фоксе: заблудится опять, дома все одинаковы, и сколько можно менять хозяев и клички!.. Позднее Стрельцову сказали, что следовало дать фоксу валерьянки — это просто необходимо весной, и так делают многие собачники. Во всяком случае, он гордится тем, что фокс прожил у него больше трех месяцев — дольше, чем у предыдущих хозяев.

— Не знаю, пошло ли ему впрок то, чему научил его я, — заключил Гена, — но он научил меня любить собаку и зачитываться увлекательнейшей литературой о ней.

— А потом вам стало интересно, сумеете ли вы воспитать щенка — с самого начала и до конца, — предположила Таня. — И вы завели Кинга.

— Вот-вот, хочется узнать, хватит ли у хозяина воспитанности и мудрости. Но не все так просто, и не все зависит лишь от решения. Видно, жизнь привела к тому, что необходимо завести собаку. Но этого не объяснить.

— А как же вам достался генеральский щен?

— Ну, генеральский, положим, только отец — Босс. А мама наша простая трудящая, далекая от элиты — Веста Виктора Первенцева. Когда Генерал узнал, что Виктор продал щенка неохотнику, ему сильно досталось от Иванцова. Очень уж он дорожит кровью Босса. Вот и патронирует нас..:

Когда они подходили к лагерю, Таня стала громче говорить и смеяться, будто хотела показать всем, что возвращается не одна, славно времечко провели. Признательно глядела на Гену, и эта молчаливая благодарность смущала и почему-то тяготила его.

— В Москве никогда так не поговорить, — сказала Таня.

— Да. Там нет лугов.

— Знаете, Геннадий, в людях слишком много независимости стало, гордости. Считают, что знакомство, разговор уже к чему-то обязывают. А никто сейчас не хочет быть обязанным даже в мелочи...

И тут они замерли.

Обычно лагерь враз замолкал, прекращались самые жаркие дебаты, и не было человека, который не оторвался бы от любого дела, чтобы посмотреть, как величаво выступает Иван Александрович Найденов со своими пойнерами. Но на этот раз все неотрывно сопровождали взглядом совсем другого человека и совсем другую собаку. Поддерживаемый под руку судьей Солгаником, кряхтя, свистя легкими, пяточок лагеря пересекал, с трудом переставляя раздутые слоновьи ноги, патриарх и основатель станции Семен Семенович Сомов. За ним, точно так же переставляя негнущиеся лапы, как костыли, шел старый, отягощенный болезнями, охотами, победами и поражениями ирландский сеттер — заматеревший, огрузший, с толстым подшерстком. Человек и собака ступали совершенно одинаково. Гена впервые в жизни видел такую сверхстарую собаку. Любой новичок, любой беззаботный жизнелюб ощутил бы, насколько близки они оба к смерти.

— Старость людей и старость собак одинакова, — сказал Стрельцов, когда тягостно шаркающие шаги удалились, Сомов и его собака исчезли в «судейском» домике.

— Да... — Таня, даже зажмурилась, словно не доверяя своим глазам, и помотала головой.

Потом она вышла на центр пяточка, сложила руки рупором и весело закричала:

— Ау, люди-и-и! А мы! Нашли! Перепела-а-а!

И смущенный Гена, который считал все это неуместным, лишним, суетным — особенно после печального шествия Сомова с его собакой, — Гена все же стал именинником. По несколько раз все новым и новым слушателям они с Таней пересказывали, где да как нашли перепелов, как работали собаки, и как перепела переместились, и собаки «работали перемещенного». Эти разговоры продолжались и на кухне, за ужином...

6

Отшагав километров пятнадцать по топким болотинкам, по кочкарнику, одолев десятка два мелиоративных каналов и канав, одуревший от комаров, жажды и жары, оглушенный луговым кислородом, еле тащится иной охотник к лагерю, клянет все на свете из-за безуспешных поисков птицы и клянется вслух своими стертыми в кровь ногами, что вот дойдет — и блаженно ляжет! И будет спать — «гори оно огнем!». Долой охоты, долой внушенные условности, ну не возьмет его собачка диплома в этом году — велика беда!

Но вот он, лагерь, и собака просительно заглядывает в глаза: неужели не позволишь выкупаться в речке? Неужели не покормишь? Как безмолвно, как укоризненно умеют просить собаки! И охотник, с зубовным скрежетом преодолевая смертельную усталость, купает и вытирает собаку, как заведено тут, готовит еду сначала ей и кормит, вспоминая, что половину взятой с собой подачи малодушно съел сам на обратном пути — иначе бы не дошел. А потом идет к жаркой печи под навесом, там полно комаров, слетевшихся на тепло, кипит несколько чайников, и он прежде всего напивается вдоволь крепкого чаю, одной заварки, чтобы вернуть силы. Пока закипает вода для концентратов, он постепенно включается в общий ежедневный разговор о том, как работала собака и что птицы нет, дупель нынче долго идет, уж вот и

перепел пришел, а дупеля нет, видно, стая погибла в перелете, или на юге холодно, и птица думает, что здесь, на севере, того холоднее, и медлит с перелетом. Он втягивается в разговор и ругмя ругает химизацию сельского хозяйства: сегодня самолеты сыпали гербициды прямо на головы охотникам и собакам, а мы-то еще требуем высокого и дальнего чутья на испытаниях...

Разговор блуждает, делается все интереснее, и хоть тушенка с концентрированным супом из пакета уже готова, охотник предпочитает съесть ее за длинным столом возле кухни, при участии черной сотни комаров, чем в своей комнате, где комаров нет, но нет и беседы.

Из всех политических, философских и нравственных дискуссий, из всех, порой противоречивых, советов по воспитанию и натаске собак, из всего многообразия белоомутского общения Геннадия Стрельцова теперь больше интересовала одна проблема: почему люди заводят собак? Он исподволь наводил беседу на эту тему, которая для собачников-профессионалов оказалась весьма неожиданной, и узнал немало ценного.

Обычно люди заводят собаку после тридцати лет. Тридцать — это переломный возраст, время переоценки ценностей, первая и лучшая половина жизни, после которой на многое смотришь уже совсем иными глазами.

Как правило, главное слово в решении этого вопроса принадлежит женщине. Именно она или предлагает: «А давай купим собаку», или соглашается с таким предложением. Наверное, не хватает любви. Наверное, дети подросли, а материнское чувство осталось неизрасходованным. Это всегда симптом, если женщина хочет завести теплое, живое, бессловесное и беззащитное существо, преданное и с хитрецей.

Многие приобретают собаку, даже не подозревая, что она охотничья и потребует от хозяина гораздо большего, чем декоративная, любая болонка или тибетский терьер. Как только обнаружится, что собаке нужен охотник, возникает немалая проблема: либо стать им, либо отказать-

ся от собаки. Но к тому времени владелец уже знает, как трагичны эти слова, которые будут записаны в родословной: «сменила хозяина». Но к тому времени она уже стала полноправным членом семьи, к ней привязались, и большинство не в состоянии позволить себе «испортить охотника». И люди, еще вчера не подозревавшие, что они страстные охотники, сегодня, на выводке, возбужденные хорошей оценкой собаки за экстерьер, с готовностью отвечают на заданный им вопрос: «А вы поедете на натаску в Белоомут?» — Да, конечно, они несомненно поедут!

Любовь к собаке с каждым днем предъявляет все больше и больше требований. Меньшинство — те, кто ставит свой бытовой комфорт выше неписанных моральных обязательств, — просто не сумеют впоследствии удержать собаку. Гене рассказали немало историй, когда повзрослевшая собака, обнаружив подделку, обнаружив, что от хозяина не дождаться родных и волнующих запахов болота, жженого пороха, птицы, — собака может уйти от него. Просто уйти на прогулке и никогда не вернуться. «Как ушел Дэви», — подумал он.

От одного псевдоохотника легавая ушла к его же другу, который профессионально занимался охотой.

Среди лагерных знатоков были и ортодоксы, которые с жаром доказывали, что трагедия Белого Бима из повести Гавриила Троепольского вовсе не в том, что Иван Иванович попал в больницу, а в том только, что Иван Иванович не был охотником. И Бим, по их версии, бегал по городу не столько в поисках хозяина, сколько в поисках хозяина-охотника.

Вообще причины, по которым люди обзаводятся собаками, оказались нескончаемо разнообразными. Гибель дорогого человека. Дефицит любви, понимания, общения. Разочарование в детях, семье, работе. Или же бездетность. Непонимание. Горькая любовь. Некоторые заводят собаку, не найдя своего таланта. За собаку хватаются, как за спасательный круг, — ему даже процитировали

Бунина: «Стану пить... Хорошо бы собаку купить...»
Причин — столько же, сколько на свете разновидностей человеческих неудач и собачьих пород. Гена подумал, что все они, обитатели лагеря, и тысячи других незнакомых собачников родственны друг другу даже не возрастом, не страстью к охоте и не тем, что они утомлены городом, а чем-то иным. Он не сформулировал этого таинственного закона окончательно, но был уверен, что любой человек, который нуждается в щенке, уже прошел через определенные жизненные испытания и разочарования, он сам или окружающие его люди не оправдали возлагавшихся надежд, и утешение теперь — в преданном и искреннем, всепонимающем и молчаливом друге, в собаке.

Любопытно наблюдать, кто какую заводит собаку. Один сослуживец Стрельцова, человек, чья карьера остановилась, а возраст прошел, был вынужден искать себе самостоятельно следующее место работы. Он стал язвитель и ироничен, высмеивал товары магазина «Океан» и игру сборной по хоккею, копировал поговорки руководства, и самым частым словом у него было «жулик». Он завел обыкновенную дворнягу, и в этом тоже была какая-то ирония над самим собой и вызов окружающим. В последнее время многие горожане стали лелеять беспризорных и беспородных дворняг, с гордостью говорить: «А у меня — дворянин!» Что бы это значило?

Изнеженный мамочкой, капризный единственный сын в семье, впрочем, везучий в делах и повышениях, ревнивый к своей жене и не знавший одиночества, другой сотрудник Стрельцова купил себе помесь болонки с тибетским терьером. Вскоре помесь бесследно исчезла, а на смену ей был куплен охотничий спаниэль. Когда они встретились на прогулке, Стрельцов убедился, что спаниэль несколько не обучен, не слушается команд и охотнее идет к нему, чем к хозяину. Подумалось, что вскоре и спаниэль будет утрачен. Так и вышло, его сменил бульдожка, и уж этот пес пришелся ко двору и прижился, видно, надолго. Одни люди заводят собак, другие —

покупают их... И во всех городах полным-полно стало бездомных псов, лишившихся хозяев.

Есть и такая категория собачников, которых настоящие охотники молчаливо презирают. Нынешний обыватель расширил набор престижных вещей, атрибутов благополучия: квартира — мебель — машина — гараж — дача — собака...

Уж не Кузьмич ли это?

Некоторые страдают комплексом недостатка власти — и уж если у человека нет авторитета в семье, на службе, у друзей, он ищет собаку, чтобы хоть над ней иметь полную власть. Заблуждение! — собаки разбираются в людях еще лучше, чем дети.

Собака необходима для нравственного воспитания детей. И вовсе не как «живая игрушка». Посмотрите украдкой, не мешая им, как играют друг с другом ребенок и щенок — у них свой язык, свое понимание, свои законы игры, — и вы лучше узнаете характеры обоих. Многие родители с радостью или раскаянием обнаруживают в характере сына или дочери собственные черты, но дети по сравнению с собаками растут долго, собачьи поколения куда короче, и если вашему характеру нужно точное и объективное зеркало — заведите собаку. Уже через два-три года вы узнаете в ней себя... Вообще, по реакции любого человека на любую собаку можно судить о нем лучше, чем по характеристике с подписью и печатью.

Как только щенок появляется в доме, начинается взаимное воспитание. Его воспитывают — он воспитывает. И вот хозяин, привыкший вставать в девять, просыпается без будильника в шесть утра. Домосед теперь много гуляет на воздухе. Куривший при детях — выходит на лестничную площадку, бережет нюх собаки. Беззаботный даже к людям, он поднимает на ноги ветеринаров, если занемогла собака. Нетерпимый учится терпению, чересчур требовательный — снисходительности, недобрый — доброте (если только ей можно выучиться!), эгоист — коллективизму...

Не потому ли во всех городах нынче так много четвероногих, что человек, изолированный от природы, оказался лишен и «природных учителей» — животных? В XIX веке ребенка окружало гораздо больше разнообразной домашней живности.

В психологических тестах за положительный ответ на вопрос «Любите ли вы лошадей?» дается двадцать баллов; за такое же отношение к охоте с собакой надо бы ставить тридцать. Сложность и красота этого типа охоты — в гармонии человека и собаки. Надо действительно очень хорошо натренировать себя, наладить полный контакт с животным, чтобы в самые азартные моменты охоты хладнокровно и правильно управлять собой, работой легавой и владеть ружьем...

К столу под села Тania, она слушала разговор с интересом, и та, плакавшая в траве Tania, если и существовала в действительности, то вечность назад. Гене было, признаться, приятно, что она пришла сейчас, — это он возвратил ее к лагерю. Но вскоре из темноты возникла самая настоящая «пиковая дама» и голосом оперной певицы манерно произнесла:

— Tата! Ну где же вы пропадали, я вас обыскалась! Голубчик, вот какая идея возникла у меня относительно вас: а почему бы вам не обменять квартиру?

«Пиковая дама» участливо обняла Tаню и повела куда-то, Гена слышал удаляющиеся слова:

— Нельзя жить с любимым покойником, дружок, надо сменить обстановку...

Это и была Татьяна Леонидовна Кронц, за которой принялся было ухаживать, чтобы подразнить Tаню, коварный сердцеед Игорь Николаевич. «Кронц, — думал Гена, — пошла преподавать неискушенным молодым уроки женской многоопытности. Коль что-то произошло в жизни, надо, по ее логике, сменить все внешнее — платье, прическу, квартиру, сделать перестановку мебели... Вот и

вся революция по-женски!» Он удивился тому, что беспричинно-зло думает о Татьяне Леонидовне, а может, просто был уязвлен тем, что кто-то еще, кроме него, посвящен в Танины тайны.

Лишь теперь он почувствовал усталость и пошел в «судейский домик».

— Геннадий, говорят, вы нашли перепела? — весело спросила Марья Андреевна, которая до сих пор не ложилась спать, чтобы сказать ему эти слова.— Поздравляю!

— Завтра туда ринутся все,— Гена пожалел о Таниной болтливости.

— А вот вы и не ходите туда! Не хотите ли со мной на дупеля? И прекрасно, я вас завтра подниму.

Борисов усмехнулся и по-старушечьи поджал губы. Его не пригласили.

Ровно в полночь раздался опять скребущий, все ускоряющийся звук. Гена проснулся и счастливо подумал о том, что лагерь теперь по-настоящему принял его. Надо как-то помочь Тане, думал он и верил, что сумеет помочь. Ему хотелось делать добро и другим людям, если они заводят собак оттого, что не нашли истины в человеке. Вот поговорить по душам с Борисовым... познакомить его с генералом Иванцовым... В полночь он жалел и паралитическую Леди, и апатичную Ладу, и безымянную собаку Сомова, и бестолкового Таниного Димку...

7

Он и проснулся с тем же счастливо-добрым отношением ко всему и всем; предвкушая натаску вместе с опытной охотницей Марьей Андреевной и встречу Кинга с «настоящей птичкой» — дупелем.

— Не надо курить натошак,— мягко остановила его Волховитина,— не убивайте остроту чувств.

— Чувств собаки?

— Ваших чувств.

И он покорно вложил сигарету обратно в пачку.

Светало. Пятачок лагеря, трава, сетки вольера были покрыты изморозью. Гена ахнул и, лишь ступив на травянистую кочку, раскрыл обман природы: то была вовсе не изморозь, а тусклая предсолнечная роса, похожая на ртуть. Сапоги тут же стали лаковыми. Лагерь еще спал. Едва они вышли за ограду, тотчас повстречали Виктора Первенцева, который только что приехал в Белоомут. Гена и Виктор обнялись — в поле знакомые собачники встречаются гораздо сердечнее, чем в городе.

Виктор, лет тридцати двух, высокий, худой, с длинным и каким-то плоским лицом, говорил медленно и в нос. Работал он экономистом, был скрупулезен и педантичен во всем. Недавно от руки переписал и перечертил книжку «Условия натаски и испытаний легавых собак» и один экземпляр подарил Гене. От одного этого каллиграфического «чертежного» почерка становилось неуютно на душе: Стрельцов не собирался вручную переписывать книги.

— Задержался, знаешь, у меня же дочь родилась. И отпуска не давали, отчет писал,— проговорил он с прононсом.— А Эндэ вечером обещал приехать... Ну как тут, птичка-то есть?

«Эндэ» означало Николай Дмитриевич, так они иногда сокращенно называли между собой Иванцова.

«Даже рождение дочери не удержало его от поездки!» — отметил Геннадий, поздравляя молодого отца.

— Мамочка-то хороша, хороша,— тактично вступила в разговор Марья Андреевна, а щеки ее блестели и румянились. Наверно, украдкой умывается росой, как в былинах.

Гена представил Первенцева Марье Андреевне и позавидовал тому, как корректно она сгладила его оплошность.

— А мы на дупеля собрались,— продолжала Волховитина.— Может, и вы с нами, Виктор?

— И правда! — радостно прогундосил Первенцев. — Такое утро терять! Вот рюкзак брошу...

Гена хотел было проводить Виктора в их комнату, но Марья Андреевна с улыбкой запретила: плохая примета — возвращаться. А Виктору велела обойти их стороной, не заступая дороги. Она будто подтрунивала над своими охотничьими предрассудками и будто испытывала молодежь: поддадутся ли ее суевериям? Виктор передал Гене поводок Весты и быстро ушел в лагерь. «Англичанка» Марьи Андреевны с интересом принюхивалась к пойнтерам.

— Тебе не чета! — снисходительно сказала ей Марья Андреевна. — Тут испанская кровь погостила.

Порода пойнтеров действительно выведена в Англии четыре века назад из скрещения испанской гончей и английского фоксгаунда.

Гена не удержался от комплимента:

— Вы нам не завидуйте — мы вам завидуем. Такое воспитание...

— Это у Ледки-то?

— У вас. Ведь мне следовало прежде всего представить вам моего друга, а я разговор с ним начал.

— Условности, — махнула рукой охотница. — Кто их сейчас соблюдает... оставьте.

Кинг внимательно обнюхивал свою мать. Веста терпела это ровно столько, сколько позволяют собачьи приличия, а потом зарычала. Как быстро происходит отчуждение щенков! Мать не испытывала ровным счетом никаких родительских чувств к своему отпрыску всего лишь через год после его рождения!

Первенцев проявлял не меньший интерес к сыновьям Весты, чем генерал: от их успехов, их качеств зависел жизненный успех родителей. Когда Гена изучил родословную Кинга, он понял, что Веста не блещет собственными данными, а служит лишь проводником крови собак Иванцова. Оценка за экстерьер у нее была «хорошо», а не «отлично», охотничьи качества отмечены диплома-

ми II и III степени. Далеко ей до элитного Босса, далеко...

Вернулся Виктор, он взял с собой корду, сухари и свисток. Оживленно разговаривая, они втроем отправились по шоссе.

— А мы... куда? — остановился было Виктор, но тут же прикусил язык и только восхищенно покачал головой: — Вот мастит мне сегодня!

— Масть идет, — поправил Гена. — Мастит — это болезнь.

Ему было неудобно перед Волховитиной за лексикон товарища.

Слушая Виктора и даже рассказывая ему о перепелах, Стрельцов никак не мог отделаться от мысли: что же именно в этой пожилой женщине, Марье Андреевне, настраивает на особо почтительный лад? Одета просто, с простонародным лицом, она отличалась от остальных охотников, пожалуй, лишь речью, да и то отличие было трудно определить сразу. Говорила она вовсе не изысканно, не употребляла каких-то особенных слов, но если уж и роняла «полноте, батюшка», то эти ее слова были гораздо приятнее и естественнее, чем фальшивый «голубчик» Татьяны Леонидовны. Гена старался разгадать загадку обаяния старой охотницы — и не мог. И при всем тяготении к ней ощущал между собой и Волховитиной некую дистанцию, вовсе не возрастную, несмотря на всю ее симпатию к нему. Разгадка пришла позднее, когда Виктор по дороге начал работать с Вестой, и Стрельцов улучил несколько минут для разговора наедине.

— Марья Андреевна, забыл тогда спросить: а где вы учили французский?

— Ну и гувернер был, и в пансионе... Видите ли, я до шестнадцати лет воспитывалась в Лозанне.

— В Лозанне?

Лозанна и Белоомут... Поистине прав был Джон Кеннеди, который как-то сказал, что любой человек на земле знает практически все человечество через знакомых,

близких, друзей, сослуживцев. Я знаю двоих, двое — четверых — в геометрической прогрессии. Кеннеди сказал также, что каждый человек, живущий сегодня на планете, жизненно необходим ей — без него нарушится некое равновесие в обществе.

«Значит,— думал Гена,— через Волховитину я могу знать, скажем, русских социал-демократов, эмигрировавших в Швейцарию?»

— А потом, Марья Андреевна?

— Что — потом? — грубовато ответила Волховитина, жуя черный собачий сухарик.— Потом вернулась в Россию. Образование получила, крестьян лечила, лошадей, коров.

Он узнавал из первых рук то, о чем до сих пор лишь читал. Марья Андреевна Волховитина была дочерью состоятельных помещиков Тверской губернии. После февральской революции родители эмигрировали, а дети, два брата и сестра, остались в революционной России. В октябре 1917 года они добровольно сдали поместье Советской власти, а сами возглавили курсы ликбеза. Такой классовый раскол получился в семье Волховитиных. Маша Волховитина стала ветфельдшером и акушером, бесплатно пользовала крестьян уезда, за что и любили ее.

— А теперь? — нетерпеливо спрашивал Гена.

— Теперь на пенсии, заслуженный врач РСФСР.

«Наверное, охота с собакой у нее в роду,— строил догадки Стрельцов,— как воспоминание о детстве, как охота отца на дроздов у Ивана Бунина». Но, выяснилось, как раз наоборот: охотой Марья Андреевна стала заниматься в предвоенные годы, и не от тоски по прошлому, а из любви к животным. Охотилась она, разумеется, без ружья, только ради собаки, ради сохранения ее охотничьих талантов.

Осторожно, стараясь не задеть самолюбия охотницы, Гена спросил, что же случилось с именем, была ли она там впоследствии?

— Поместье хорошо сохранилось, у наших крестьян

не было причин жечь и рушить его,— ровно и спокойно отвечала Волховитина. Гена догадывался, что не многим слушателям доверяет она эту сторону своей жизни.— Но теперь ушло под воду. На Волге построили каскад электростанций, и в верховьях она разлилась. Так целиком под воду и ушло...

Вернулся Виктор, поиск Весты оказался безрезультатным, и они пошли на известные Марье Андреевне заболоченные дупелиные поляны. Стрельцов вспомнил: четырнадцать километров в один конец, и шел экономно, равномерно, не спуская Кинга. С непривычки, после бессонной ночи Виктор быстро сдавал, начал отставать и махал рукой: не ждите, догоню!

Гену все время не оставляло ощущение, что он не задал Марье Андреевне какого-то главного вопроса, не узнал еще чего-то очень важного. Расспросил о семье — она вырастила двоих детей, оба получили высшее образование, живут счастливо, работают... Нет, охотой ни дети, ни внуки не увлеклись,— улыбалась она.

Виктор отставал все сильнее, и они решили в самом деле не дожидаться его: важно было не упустить лучшие утренние часы, когда слегка повеет ветер, но еще не будет жары и комаров, и птица начнет сниматься с ночевки.

По дороге Гена посетовал, что Кинг «гонит птичку».

— Не беда, я его отучу,— сказала Марья Андреевна так просто, будто речь шла о том, чтобы подрезать когти собаке.

Когда наконец пришли, она уложила Леди, определила ветер, пристегнула к поводку Кинга длинную корду и условилась с Геной, что команды будет подавать он. Собака должна слушаться только своего хозяина.

— Вперед, ищи! — пустил пойнтера Стрельцов. Они с Марьей Андреевной в две руки держали конец корды и шли вперед, за Кингом. Он начал длинный и правильный челнок, высоко держа голову, чтобы причуять запах над верхушками травы. Дуновение ветерка было

настолько слабым, что казалось, работать собаке невозможно. Но Кинг работал. Иногда он останавливался на повороте и, вкруговую вращая хвостом, «читал» строчки воздуха.

— Хорошо, — оценила Волховитина его работу, да Гена и сам видел это. Охотница умело управляла кордой, так, что собака не ощущала своей несвободы.

Кинг пошел медленнее, начал причуивать. Марья Андреевна советовала Стрельцову заметить начало потяжки — бросить там берет. Точно так же поступить и на испытаниях, чтобы судьи могли замерить расстояние, с какого собака почуяла дичь. Он хотел было побежать к Кингу, который уже сделал стойку, но Волховитина остановила его рукой и скомандовала: «Пиль!» Гена громко продублировал команду — Кинг сорвался с долгой стойки, впереди, метрах в пятнадцати от собаки, ослепительно сверкнув на вираже нежно-белой изнанкой серповидных крыльев, взлетел дупель.

В ту же секунду собака набрала скорость, погнала, ушла на полную длину корды — и произошло что-то странное. Кинг перекувыркнулся в воздухе и со всей силой рухнул на голову. Обиженно и по-щенячьи он заскулил на всю поляну. Гена перепугался, не сломана ли шея. Марья Андреевна улыбалась.

— Поди, батюшка, награди, — велела она.

Гена побежал к родному Кингуше, гладил и ласкал его, и скормил сразу половину сыру, взятого с собой на подачку. Кинг поскулил еще, жалуюсь хозяину, встал, отряхнулся от росы — до кончика хвоста — и побежал игривой побезкой как ни в чем не бывало.

— Урок первый, — сказала Марья Андреевна, пуская свою Леди. На совместной охоте принято пускать собак попеременно. Леди искала прилежно, но медленно, без того огневого азарта, который и выгодно отличал, и смазывал работу пойнтера. Она сделала стойку и долго стояла, даже оглядывалась на хозяйку. Послав собаку вперед, Марья Андреевна громко хлопнула в ладоши, ими-

тируя выстрел. Но стойка оказалась пустой — дупель не взлетел, Леди делала стойку на запах сидки, на вчерашний запах. Тоже брак в работе собаки. Но Гене казалось, что это высший талант — чуют давно улетевшую дичь!

Его удивляло и то, что не все дупеля взлетели враз — Кинг поднял второго на крыло почти с того самого места, по какому уже прошли охотники.

— Крепко держит стойку, таится,— похвально сказала Марья Андреевна о дупеле.— Чем и хорош!

И снова Кинг с визгом встал на голову, как только кинулся было погнаться за улетающей птицей. Марья Андреевна и Гена не только туго натянули корду, но и рванули ее на себя.

— Урок второй,— считала Волховитина.

На третий раз Кинг уже не спешил гнать, а сел по команде «даун!». Гене было смешно, насколько ладно и просто получается то, что представлялось ему проблемой и чуть ли не врожденным пороком собаки.

Он заметил, как сильно похудел пойнтер за каких-то два дня натаски. Мокрый от росы до самой последней шерстинки, Кинг был тем не менее красив и наряден. Он был готов работать часами, без устали,— после появления пены у него открывалось второе дыхание.

Пришел Виктор с мокрым распаренным лицом, и они предоставили ему пустить Весту. Мать Кинга сделала пару пустых стоек, а на третьей стояла, изогнувшись. Дупель взлетел, как и показывала Веста, слева от Виктора. Указывала она правильно, оправдывая данное пойнтеру название: *point* — указатель. Но Виктор не поверил своей Весте, а когда дупель все же взлетел, хозяин от неожиданности упустил из рук корду, и собака погнала, спорóв (спугнув без стойки) по пути еще двоих дупелей.

Волховитина не произнесла ни слова, но Гена безошибочно читал по ее лицу, что она далеко не в восторге от работы «матушки». Он слышал, что суки — худшие охотники, чем кобели.

С другими собачниками, представлял себе Геннадий, непременно началась бы перебранка из-за того, чью собаку пускать; потом эта перебранка, как часто бывает в иных житейских ситуациях, наверняка обратилась бы в свою противоположность, и все обиженно стали бы настаивать на том, чтобы очередного дупеля работала непременно чужая собака. Но с Марьей Андреевной не было и не могло быть никакой неясности, неловкости, нарочитости, раздражающих фальшивых вежливостей. Она никогда не фальшивит, и уж если похвалила статью Весты, то заслуженно, а смазанную работу по дупелю не похвалит ни за что, не сделает насилия над своей совестью. С ней было легко — и Стрельцов понял, эта черта чуть ли не главная в характере Волховитиной. С ней легко и просто, она сама легко выходит из затруднительных положений и уберегает от них окружающих. Это и есть настоящая культура, думал он.

Время шло, ветер усилился, дупеля взлетали все чаще, стойку держали слабее, и, взглянув на тени сосен и для верности на часы, Гена с изумлением обнаружил, что близок полдень, дольше работать собакам нельзя. Вскоре лет прекратился, разгоряченные легавые, высунав и свесив набок фиолетовые языки, делали пустые стойки по сидкам, по запаху давно улетевших дупелей.

— Гена, а давайте пустим сразу двоих! — зажегшись, предложила Марья Андреевна. — Уж разлетелись, вряд ли что осталось, но — люблю!

И они пустили Леди и Кинга с разных концов поляны встречным челноком. Среди разнообразных видов натаски распространен и такой: молодую легавую натаскивает опытная.

Зрелище, которое так любила Волховитина, действительно было выдающимся: собаки сходились и расходились, вычерчивая по поляне правильные ромбы. От соседства и соперничества обе вели поиск тщательно, быстро и щеголевато. Кинга даже заносило на поворотах.

По свистку хозяйки Леди сменила челнок, а Кинг

вскоре подстроился под нее. Теперь обе собаки работали параллельно, вкладывая зигзаг в зигзаг и нигде не пересекая своих путей. Но Кинг вскоре разрушил эту гармонию: вдруг резко взял влево и назад, вторгся в «крыло» Леди. Стрельцов свистнул ему, приказывая повернуть, — Кинг ослушался и сделал стойку.

— Пиль! — восторженно закричала Марья Андреевна, и Кинг поднял последнего дупеля.

— Даун! — рывкнул Гена, и эхо трижды повторило команду, а Марья Андреевна звонким хлопком отфиксировала «выстрел».

Кинг лег — исчез в траве.

— Ну-с, где теперь ваши страхи? — смеясь, довольная за него, сказала Волховитина.

Гена побежал к Кингу из всех сил — и в приливе чувств обнял его мокрую шею. Сквозь шерсть виднелась тонкая белая кожа — странно, что ее не порвали зубья парфорса, когда Кинг кувыркнулся через голову. Черная кожица носа побелела от интенсивной работы, и Гена, как положено, обмыл ее водой. Собака сработала отлично! — хозяин не сразу понял это и едва не помешал ей. «Хорошо, молодец, Кинг хороший», — ласково приговаривал Гена, скармливая и сыр, и сухари — все, что у него было с собой. Кинг смущался такой несвойственной хозяину чувствительности, отворачивался, польщенный, и говорил всем своим видом: да ну, да ничего особенно-го...

Еще неделю назад они поссорились с Кингом. Готовясь к отъезду в Белоомут, Стрельцов два-три раза в неделю на рассвете выезжал электричкой за город, к станции Апрелевка, где среди высокого и чистого соснового леса было несколько полян-луговин. Там он тщательно отрабатывал правильный поиск, повороты по свистку, безукоснительное выполнение команд «даун» и «ко мне». Первое время Кинг работал старательно, но с каждым новым приездом все неохотнее шел в поиск, после коман-

ды подолгу смотрел на хозяина, недоумевая на его бесчуждливость и непонятливость: ну, если позавчера тут не было дичи, то откуда же ей взяться сегодня?

И вот неделю назад, начав с третьей команды поиск, как начинают глупую, заведомо ненужную работу, Кинг спорол какую-то пичужку и погнал ее, да так лихо погнал, что не вернулся ни через десять минут, ни через полчаса. Гена был вне себя. Попадись ему в ту минуту эта своенравная черномазая тварь, что устроила себе охоту в одиночку!.. Но Кинг благоразумно не являлся. Искать было бессмысленно: по скорости хода он раз в пять превосходил хозяина и знал это. Гена бессильно злился, расхаживая по поляне, проклинал себя за то, что не взял корды. Кинг, сукин сын, прекрасно усвоил и эту нехитрую хитрость: стоит надеть на него парфюр со своркой, как вместо бурного галопа он начинает поиск «пешком» — расхаживает по лугу, волочит за собой 20-метровую корду и нюхает цветочки.

Стрельцов опаздывал на работу. Он призывал все свое самообладание, помня, как важна уверенность хозяина для собаки. Это крепче любого поводка, сворки, парфюра — уверенность. Однажды, когда на собачьей площадке Кинг встал, сбывчившись, и смотрел на хозяина темным взглядом, перед тем как сорваться в весенние бега, именно уверенность Гены в себе и Кинге остановила собаку. Он поднял руку с вытянутой вверх ладонью и спокойным голосом приказал: «Даун!» И сделал шаг вперед. Не бежал за ним и не кричал истошно, а спокойно поднимал руку, скомандовал и шагнул. И Кинг — о, радость! — лег. Он всегда неохотно и медленно ложился, это шло у него от Босса — тот садился, но не ложился, и Гена хорошо понимал обоих: каково ложиться нежным животом на холодную мокрую траву?! И в Апрелевке, опаздывая на работу, он тоже нашел в себе силы перебороть гнев и вспомнил чей-то мудрый совет. Ушел в кусты, спрятался, проделал смотровую щель в листве и принялся терпеливо ждать. Он знал, что собака на любом расстоянии

боковым или даже каким-то задним зрением всегда видит хозяина, какой бы азарт ее ни охватил.

Через пять минут Кинг вылетел на поляну и растерянно остановился. Велико было искушение тут же выскочить к нему и на радостях все простить! Так уже бывало не раз. Но Гена терпеливо сидел в кустах. Кинг недоуменно огляделся — куда же пропал хозяин? Потом невиданным галопом, перелетая через кусты, принялся носиться по поляне. Он прочесывал ее зигзагами, резко останавливался, как лошадь на полном скаку, подпрыгивал на месте и мчался в обратном направлении. Собака искала хаотично, и, когда пробегала рядом, Гена даже видел выражение морды. «Хозяин пропал! — вопила она. — Эх ты, хозяин!» Страх за своего повелителя настолько велик, что в подобных случаях пес обычно забывает «включить» обоняние, ищет зрением и сильно волнуется.

Когда наконец раздался благословенный свисток из кустов, Кинг ушам своим не поверил, застыл, а уверившись, понесся вскачь, подпрыгивая, чтобы скорее увидеть своего драгоценного, царя и бога. Обычная сдержанность изменила ему — Кинг сбил Гену, сидевшего на корточках, и встал над ним, как овчарка, высунув язык и суетливо обнюхивая: ты? свой? цел?

Всю неделю потом Кинг не отпускал Гену на прогулку дальше десяти шагов: того и гляди, опять канет куда-нибудь этот несмышленный хозяин, ищи его тогда.

Теперь и Гена испытал искренний страх за перевернувшуюся собаку и огромную радость при виде ее безупречной работы и не смог скрыть ни страха, ни радости, и Кинг понял, что хозяин любит его. И в этом был второй урок натаски.

Они устроили привал, оживленно обсуждая работу собак. Виктор сетовал на поиск Весты и восхищался Кингом. Гена оценил это качество охотников: при всей завистливости они искренне радуются хорошей работе чужой собаки. Из признательности Марье Андреевне, которая пригласила их с собой и показала всю красоту охо-

ты с собакой и настоящую птицу, Виктор принялся нахваливать ее Леди.

— Оставьте,— махнула рукой Волховитина,— это наш последний выезд. Ей уже четырнадцать лет...

Обычно Марья Андреевна после утренней натаски оставалась на опушке, дремала в тенике — дожидалась вечернего лета, чтоб не ходить дважды так далеко. Но Виктор и Гена решили вернуться в лагерь — вечером должен был приехать Эндэ. Гена вскрыл банку тушеной говядины и оставил Волховитиной — очень уж хотелось угостить ее.

— Уходить не хочется, жаль, а надо,— искренне сказал он, догадываясь, как много интереснейших историй мог бы услышать, если б остался.— Спасибо вам, Марья Андреевна, огромное!

— Лет пять не видала такой охоты. Это же прелесть — прочесать поляну в две собаки! Идите с богом, ваше дело молодое. Хорошо, хорошо, разбойник! — добавила она Кингу, сильно трепля ему уши и массируя хрящи, отчего он покорно и с наслаждением застыл на месте и замурлыкал, как кот.

8

Возвращаясь, они не замечали никакой красоты вокруг, все краски выцвели в их глазах, шли молча, и было странно, что ноги еще идут — они не ощущали земли, спотыкались о кочки. Как же Волховитина ходит в такую даль?

Стрельцов и Первенцев вернулись в лагерь одновременно с большинством охотников, которые ходили на перепела. Возглавляла отряд Таня, щеки ее покраснелись, и она без усталости что-то рассказывала. Увидев Стрельцова, сдержанно кивнула ему как не имеющему никакого отношения к перепелам, найденным одной ею. Или раскаивалась во вчерашнем откровении...

Охотники покинули луга, как только усилилась жа-

ра,— по правилам, при температуре плюс 25 собака не должна работать по дичи: начинаются обильные испарения, и интенсивные запахи вредят тонкому обонянию и чутью. Кроме того, молодой легавой нельзя работать дольше трех часов кряду.

Лагерь снова наполнился, жарко запылали торфяные брикеты в печи, и вольер был голосист и полон.

Навстречу охотникам вышел бледный, худосочный, чересчур гибкий, какой-то развинченный юноша с рослым черным шотландцем-гордоном.

— Спихватился! — сказал кто-то в его адрес.

Видно, гордона тоже повели на перепела. Хозяин изо всех сил сдерживал рвущуюся вперед собаку. И вдруг посреди пятачка гордон повалился набок, забился, глаза его поехали в разные стороны.

На станции еще и потому столь внимательны к окружающим собакам, что как огня опасаются заболеваний.

— Кто это? — успел спросить Гена.

Виктор сказал, что владелец шотландца — Мишка, сын Татьяны Леонидовны Кронц. Видимо, приехал ночью — Стрельцов до сих пор не встречал его в лагере.

Мишка по инерции дернул повалившегося гордона за поводок. Как будто потянул за хвост дохлую кошку. Весть моментально облетела лагерь. Мишку окружили.

— Что с ним? Перегрелся? Отравился? Падучая? — сыпались беспорядочные вопросы. Хозяин побледнел еще сильнее, засуетился, ничего не отвечал. Такое падение Рича на глазах у всех было вдесятеро хуже провала на испытаниях. Виктор и Гена оттащили Рича к «казарме», уложили в тень, и Первенцев, у которого было с собой все на все случаи жизни, побежал за книжкой «Оказание первой медицинской помощи собаке». Боялись бешенства, чумки, таинственных нервных болезней. Вскользь обсуждали и осуждали хозяина:

— Понакупили, ездят тут... Не смыслишь в собаках, так не заводи! Повел в самый зной...

Вычитав из книжки, что при тепловом ударе надо

дать собаке полный покой и положить на нос что-нибудь холодное, Стрельцов и Первенцев вылили на роскошную, в рыжих подпалах, шерсть Рича ведро воды. Мишка потерянно вытирал нос собаке мокрым платком и, казалось, сам был близок к обмороку. Убедившись, что с Ричем ничего страшного, лагерь оставил их наедине, и Мишка Кронц еще добрый час сидел под стеной «казармы», обмахивая вальяжного Рича.

За обедом Гена спросил Виктора, верно ли, что Волховитина браконьерит в чужих угодьях? Как это часто бывает, Виктор, не знакомый до недавнего времени Марье Андреевне, знал о ней гораздо больше, был наслышан от многих охотников о «Марье».

— Бог с тобой, золотая рыбка, — ответил Первенцев. — Она — почетный охотник, ей все пути открыты, даже в военные охотхозяйства. А вот мы к ней сегодня примазались.

И рассказал, что на самом деле браконьерят другие — например, молодые автомобилисты, разбившие вокруг станции палаточный лагерь, каждый день возят на машинах своих курцхаров, им десять верст не крюк, и гоняют собак в заказнике тайком от егеря Сарычева.

— Это новая порода собачников, — добавил Виктор. — Моторизованные. Года два назад их и в помине не было.

Стрельцову остро захотелось сей же час найти Борисова и вывести из страшного заблуждения относительно Марьи Андреевны, ему казалось страшной ошибкой, что Алексей Михайлович приписывает Волховитиной браконьерство, и надо было эту ошибку немедленно исправить! Но Борисова нигде не было, и никто не мог сказать, где он, многие переспрашивали: а кто это такой?

Гена чувствовал себя незаслуженно счастливым, сейчас ему хотелось делать в ответ добро, и только добро, и во что бы то ни стало выполнить те свои ночные намерения: поговорить по душам с Борисовым, помочь Тане. Быть может, он нащупал той ночью путь — как надо жить, чтобы стать хоть немного похожим на Марью

Андреевну, на Ивана Александровича Найденова. Не найдя Борисова, Стрельцов пригласил Таню вместе выпить чаю — она сухо отказалась.

— Ну, как работал Димка? — спросил Гена, ничуть не обескураженный ее тоном.

— Спасибо, хорошо, — дежурной скороговоркой ответила Таня.

— Надеюсь, вам сегодня лучше... — уже смущенно сказал он, видя, что разговор не клеится. И неожиданно увидел на ее лице злость.

— Послушайте, Гена, а с какой стати вам взбрело в голову жалеть меня?

— Жалеть? С чего вы взяли? — опешил Гена.

Татьяна резко повернулась и демонстративно ушла.

«Что произошло? — обеспокоенно думал он. — Что могло произойти за одну ночь и половину дня? Раскаивается за вчерашнюю слабость и откровенность? Или в том, что сегодня сама повела охотников на тех перепелов, каких мы вчера нашли вместе? Нет, с собаками все же проще, чем с людьми...»

Позднее он понял, что эти догадки так же верны, как верна и третья, пришедшая ему позднее: это урок женской солидарности, преподанный ей Татьяной Леонидовной, так подействовал на Таню. Она прихорошилась, кокетничала сразу со всеми и была лучшей подругой Кронц, а Игорь Николаевич выглядел смущенным и как бы в чем-то раскаивался. О, женщины!..

Ничто не действует на человека так угнетающе и противоречиво, как не понятое и не принятое другими его искреннее стремление творить добро и только добро. Иногда злые и немотивированно жестокие поступки объясняются именно этим.

После обеда появился Борисов, умиротворенно улыбаясь. Видимо, Лада работала хорошо, и хозяин был доволен.

— Как работала? — спросил Гена, и Борисов полчас рассказывал об удачах Ладушки. При этом он не по-

интересовался их походом на дупеля. Никто сегодня не задал Гене вопроса: а как работал его Кинг?

Охлажденный такой переменной, Стрельцов вдруг увидел все в ином свете: радость его обратилась в свою противоположность. Переменилась и погода: флотилия кучевых облаков выстроилась на небе в кильватер, как на рисунке школьника, — все похоже одно на другое и с равными интервалами между собой. Стало душно, птицы умолкли, а комары начали звереть. Или ему так казалось, или на самом деле все охотники стали раздраженными, любая шутка выглядела обидной, а всяческие пояснения, что ты не имел в виду никакой задней мысли, только затрудняли объяснения и выворачивали наизнанку их смысл. И впрямь — с собаками проще.

«Я устал, надо покормить Кинга и отдохнуть, все было хорошо, и надо опять настроиться на ту волну, и все опять станет хорошо», — говорил себе Гена. Но не было сил варить похлебку, и он покормил Кинга сухим геркулесом. В городе пес никогда не ел сухого геркулеса, а теперь уписывал с жадностью.

Настроение хозяина передалось и собаке: обычно сдержанный, Кинг благодарно лизал руку и тревожно заглядывал в глаза. Гена погладил его — и Кинг угрюмо лег у ног, вытянув морду и длинную шею по направлению к двери, словно в засаде.

Однако сбой настроения начался и продолжался, окрашивая все в черный цвет, и Стрельцов уничижительно казнил себя тем, что если даже натаска и удалась, если Кинг чему-то и научился, то не благодаря, а вопреки Гене и его стараниям. На самом деле собаку натаскали Найденов и Волховитина; вот бы кому владеть ею, а то талантливая собака попала в бездарные руки! Как это часто бывает, одна неприятная мысль тащила за собой хвост из десятка прежних, и Гене вспомнилось то, чего он пока не удосужился ни разу вспомнить в Белоомуте: резкий и неприятный разговор с руководителем отдела,

натянутость в отношениях со старым другом, легкое охлаждение к нему жены...

Виктор Первенцев о чем-то с жаром и сбивчиво заговорил, но Гене почему-то невыносимо стало слушать его. Он лег и уснул. Сон был тяжелый, прерывистый, душный. Ко всему прочему, Борисов, проветривая комнату утром, напустил полчище комаров, которые сейчас же принялись за Гену, и, доведенный ими до бешенства, он был трижды уверен: Борисов напустил комаров умышленно, в отместку за то, что ушли на дупеля, не пригласив его. Стрельцов и ругал себя за столь низкие черные мысли о ближнем своем, за подозрительность, и не мог отделаться от них.

Многое в его состоянии объяснялось очень просто: падал барометр, злились комары, раздражены были люди и беспокойны собаки, и та самая природа, великий и очищающий Белоомут, какой вызывал у горожан разрядку и умиротворение, теперь разжег в них жгучее раздражение, нетерпимость, почти злость.

В соседней комнате мучился Семен Семенович Сомов, хрипел и задыхался, и никого не подпускал к себе, потому что никого не узнавал...

9

Все ждали Генерала.

Чем сильнее вечерело, тем большее волнение и суету испытывал Стрельцов. То ему пришло на ум, что он обязан встретить Эндэ на шоссе, то вдруг казалось: надо бы «организовать ужин». Он ощутил, что многим обязан Иванцову. Гена и не хотел суетиться, испытывал неловкость, как если бы начальника встречал и заискивал перед ним — и все же суетился. Они с Виктором приготовили на ужин картошку с тушенкой, в складчину собрали вяленую рыбу, свежие огурцы, банку маринованных грибов, галеты, масло, хлеб.

Если бы Стрельцов мог раздвоиться и понаблюдать

за собой со стороны, он увидел бы озабоченного молодого человека, который во всех направлениях исчертил шагами лагерь, трижды за вечер ходил на прогулку с пойнтером, вычесывал его и не раз заговаривал с Первенцевым: каким образом будет добираться сюда Генерал и не выйти ли встречать его у шоссе?

Как это часто бывает, чем лучше готовишься к встрече, тем хуже она пройдет. Стрельцов увидел Генерала едва ли не последним, когда сходил все-таки к шоссе, прождал там час и вернулся. Николай Дмитриевич в легком френче стародавнего фасона стоял посреди пятачка и разговаривал с Иваном Александровичем Найденовым и Виктором Первенцевым.

— Здравствуйте, Николай Дмитриевич, заждались мы вас,— бодро сказал Гена.

Иванцов, повернув голову к Найденову, закончил разговор с ним, а потом молча и, как показалось, сухоовато протянул руку Стрельцову. Найденов ушел. Виктор тем временем начал докладывать обстановку с птицей. Генерал слушал рассеянно, глядел мимо них и ничуть не был похож ни на генерала, ни на охотника. Перед ними стоял утомленный дорогой и усталый от жизни человек.

— Вот что,— перебил Иванцов,— бери Весту, прогуляемся.

И пошел за ограду, к старенькому «Москвичу».

— Что-то он не в духе,— сказал Гена.

— Нет, все в порядке,— успокоил Первенцев.

— Ты Марью Андреевну не видел?

— Не вернулась пока.

Они сошлись на тропке — Босс, Веста и Кинг. Гена с интересом глядел на Босса, легендарную собаку. Отец Кинга был матерый кобель семи лет, черно-пегого окраса, причем белые пятна распределялись не так гармонично, как у Кинга,— спина пестрела неказистыми отпечатками утюга. Шерсть его была жестче и толще. Нос резко перерублен в переносице, отчего морда стала как бы курносой и похожей на обезьянью. Все мышцы сухие и сильные, жи-

вот подтянут к спине, грудь высокая. Чуть проваленный позвоночник говорил о большой выносливости пойнтера. Что-то хищное, стремительное, несокрушимое ощутил Геннадий в этом кобеле — и сразу стали понятнее многие черты характера Кинга: сдержанность в проявлении эмоций, самостоятельность, резкий темперамент. «Серьезная собака», — хотелось сказать о Боссе. Гена отметил, что по характеру сын мягче отца, видно, это уже от Весты.

Пойнтеры обнюхались, Босс зарычал на сына, и Кинг мягко отпрыгнул назад, порадовав Генерала своей прыгучестью.

— Для него ничего не стоит прыгнуть на высоту человеческого роста, — заметил Гена. Ему не терпелось рассказать о натаске, но Генерал не задавал вопросов.

Около лагеря было светло от фонарей и света в окнах, а в лесу уже стояла ночь. Однако стоило пройти с десяток шагов, как темнота заметно редела, глаза обвыкались, и вскоре отчетливо увидели собачью карусель: отец, мать и сын играли в догонялки.

Наблюдая сцену встречи этой «семьи», Стрельцов продолжил прежнюю мысль об отчуждении: чем не урок природоведения? Надо уже сейчас готовиться к тому, что не всегда дети будут всю свою любовь посвящать родителям. У людей этот срок подольше, чувств побольше, но рано или поздно приходит отчуждение. Когда в последний раз ты видел своих родителей? Два года назад. А узнает ли тебя сейчас твоя 78-летняя бабушка?..

Босс резко огрызнулся на Кинга, хотя пойнтеры редко подают голос. Это сын, играя, прихватил папу за ляжку.

Геннадий сказал Иванцову, что многое услышал здесь о Боссе, и попросил рассказать из «первых рук». Сначала Генерал говорил сухо, потом — все больше оживляясь. Босс девяти месяцев от роду взял диплом I степени. В десять хозяин уже охотился с ним, щенок стал подружейной собакой. На ВДНХ СССР Босс-однолеток

получил первую золотую медаль за полевые качества и экстерьер. В секции моментально выросла очередь желающих иметь от него талантливых суперщенков. Иванцов придирчиво осматривал партнерш, их хозяев и многим отказывал. У него были на то основания: из 110 пойнтеров Москвы и Московской области 60 несли в своих жилах кровь другого рода — собак завода Крепса. Эдуард Михайлович Крепс в течение шести собачьих поколений насаждал кровь, масть, плюсы и минусы своих пойнтеров. И вот появилась новая звезда, выведенная Иванцовым от кобелей ГДР и сук Англии. Сначала потомков стало трое, затем 12, 18... Крепс срочно предпринял контрмеры. Он засудил шестерых отпрысков первой собаки Иванцова, прабабки Босса, так как тоже был судьей. Генерал стал ратовать за возрождение старых английских правил натаски, дрессировки и судейства английских легавых. Он выступил в печати, не раз выступал на правлении и бюро общества охотников и добился некоторых перемен.

Крепс никогда не появлялся там, где должен был появиться Иванцов. Генерал отвечал тем же.

Но война уже началась, и в нее были включены, независимо от желания или нежелания, десятки все новых и новых владельцев потомства как с той, так и с другой стороны.

Получая щенка, хозяин полностью доверял советам владельцев матери и отца этого щенка. А советы были противоречивы. Приходило время вести молодняк на выводку — экстерьер оценивал сторонник Крепса. Оскорбленный несправедливой оценкой, начинающий собаковод звонил Генералу. Иванцов приезжал на натаску и ставил собаку по всем правилам. Судейская коллегия, сочувствующая Иванцову, присуждала охотничий Д-2. На выставке сталкивались две оценки, низкая за экстерьер и высокая — за полевые качества. Полевые перевешивали — черно-пегих питомцев становилось все больше. Вслед за первыми собаками Иванцова Босс сделался то-

же недостижимо элитным: за каждый диплом сына или внука он получал дополнительные очки.

Крепсу ничего не оставалось, кроме как создать вторую судейскую бригаду по полевым испытаниям и возглавить ее. Более того, он умело вводил теперь своих судей в бригады сторонников Иванцова. И тоже выступил в печати с критикой разногласий, возникших по милости Иванцова.

Началась великая собачья война.

Стрельцов и не подозревал, что тоже втянут в нее...

— А вы будете ставить Босса на испытания?

Иванцов презрительно фыркнул:

— У Боськи уже и медалей, и дипломов предостаточно. Вас посмотреть прибыл.

И Гена, как в первый приезд Генерала к нему домой, был тронут и обрадован такой заботой.

— Говоришь, перепела показал? — закуривая, спросил Иванцов. Гена тепло подумал об Иване Александровиче Найденове, который не преминул упомянуть о натаске Кинга по подсадному.

— И нашел перепела, — прогундосил Первенцев.

Генерал внимательно слушал скромный рассказ Гены о том, как они с Кингом нашли токовище. «А ведь Эндэ в начале разговора просто испытывал меня на бахвальство», — понял Стрельцов.

— Ну, ты сказал «даун», а он? — спрашивал Генерал.

— Сел. Но не лег.

Генерал удовлетворенно кивал.

— «Даун», — пояснил он, — означает для собаки вообще «вниз», а необязательно «лечь». Сел — значит, тоже выполнил команду. Они, брат, английский лучше нас знают!

Тут Виктор восторженно начал рассказывать о работе Кинга по дупелю.

— Марья здесь? — потеплевшим голосом перебил его Иванцов. И Гена ощутил, что признание его, новичка, такими метрами, как Найденов и Волховитина, для Генера-

ла равносильно лучшему диплому, взятому Кингом. — Марья — знатная охотница. Надо повидаться...

Они пояснили, что Волховитина все еще в лугах, и предложили Иванцову поужинать с ними, с дороги.

— По дупелю сколько стоек? На корде? А без корды? Сидку обнюхивать давал? А в две собаки — как? — параллельно пускали? — Вопросам Генерала теперь не было конца. Конечно, отправляясь в Белоомут, Николай Дмитриевич ждал от «молодежи» таких ЧП, какие допустили пресловутый Кузьмич или Мишка Кронц.

Стоило им вернуться в лагерь и разложить на столе снесь, как тут же появилась Татьяна Леонидовна:

— О, кого я вижу! Николай Дмитрич!

После рассказа о сложной собачьей борьбе Гена никак не ожидал того сердечного приема, какой оказал «пиковой даме» Генерал: он галантно-старомодно поцеловал ей руку, спросил о здоровье супруга и о том, сдала ли Татьяна Леонидовна экзамены на звание полевого судьи. И вот уже Мишка тащил к столу закуски, следом за ним появилась Таня и с нею двое молодых автомобилистов, а Татьяна Леонидовна, сложив руки рупором, оперным голосом звала:

— Стефан Леопольдови-и-ич! Пионтровски-и-ий!

Но безвестный Гене и Виктору Стефан Леопольдович так и не явился на зов.

Может быть, Стрельцов ошибался, считая, что это застолье — тоже проявление «собачьей политики», а может, Эндэ просто не придавал значения тому, кто именно ужинает с ним, но такая разнокалиберная компания была для Гены неожиданной. Он-то был уверен, что рядом с Иванцовым будут Найденов, Сомов, Волховитина.

Он как-то тупо удивился и тому, что Таня как ни в чем не бывало кокетливо обратилась к нему:

— Геночка, ну как ваш сынуля работал сегодня?

— Спасибо, хорошо, — механически вернул он Тане ее же дневные слова. И спросил Генерала: — А может, Найденова позвать?

— Иван Александрович спит давно. С солнцем встает, с солнцем ложится,— обнял его Иванцов и долго не снимал руку с плеча.

Гена вырос на целую голову в глазах лагеря, но что-то обязательное, нарочитое чудилось ему в этом жесте, демонстрирующем отцовское благоволение и покровительство.

В самом начале застолья Татьяна Леонидовна сказала:

— У Курта Воннегута есть роман «Колыбель для кошки»...— И она как бы невзначай обвела компанию взглядом: не слишком ли высока такая материя? — Так вот, там он вводит такое понятие «карасс». Все мы — люди одного карасса, потому что нас объединяют собаки.

И внимательно ждала, подхватит ли кто-то ее мысль, проявив при этом полное незнание карасса, Воннегута и «Колыбели для кошки». Но никто не отвечал ей. Тогда Кронц заземлила спич: «За единение гордонистов, курцхаристов и пойнтеристов», при этом скромно поставила шотландцев на первое место. Ее сын Мишка обносил лимоном в сахарной пудре. Виктор взял лимон двумя пальцами и уронил, когда на него взглянули. После тоста, выждав, Стрельцов сказал:

— У Воннегута, кроме того, есть понятие гран-фаллона, или ложного карасса. К гран-фаллону он относил как раз общение на почве землячества, службы, увлечений, команды по бейсболу.

— О! — польщенно улыбнувшись, оценила Кронц.

— Так что наш союз относится к гран-фаллону: увлечение собаками.

— В таком случае,— не смутилась поторопившаяся восхититься Татьяна Леонидовна,— давайте постараемся, чтобы у нас действительно был карасс, или самое полноценное общение.

Начитанность незнакомого пойнтериста и его точная поправка были все же неприятны ей, Кронц давно привыкла к своей исключительности и не могла воспринять

спокойно чью-то эрудированность рядом с нею. Гена ждал, в какой же форме проявится ее раздражение? Кронц говорила Первенцеву за то, что он нарезал копченую севрюгу кубиками, отобрала у него нож и разрежала кубики на тонюсенькие дольки. Все убедились, что рыба от этого стала действительно вкуснее.

Стрельцову была уже знакома некая чисто московская манера в самом начале беседы быстро и откровенно зондировать, кто есть кто? И отдал ей должное: Кронц делала это умело и элегантно.

— Наш карасс,— тем временем продолжала она,— пожалуй, самый привлекательный из всех. Мы с мужем и Мишкой долгое время занимались верховой ездой в клубе. А после скачек или тренировки частенько ужинали у нас. Кого там только не было! Авиаконструктор и кройщик Дома моделей, студентка и академик. Да, было времечко!.. А вот потом, когда купили «Волгу», стало собираться общество автолюбителей. Ну и скучнейшие же люди, я вам доложу! И разговор какой-то скучный, технический, сплошные запчасти, и манеры... не то, что в нашем карассе.

— Карась, карась! — деланно гневился Генерал.— Заладила, как на рыбалке. Давай-ка лучше за молодых! Пять лет назад разве было столько молодежи?

— Да, собаками в последние годы увлекаются все более и более молодые люди, это приятно,— подтвердила Кронц.

«Что ж,— удостоверился Геннадий,— если верна моя мысль о «сердечной недостаточности», из-за которой люди заводят собак, то вот подтверждение: выходит, ее испытывают самые разные возрасты».

Обсуждали верховую езду, содержание лошадей и автомобилей и поддерживали Татьяну Леонидовну в том, что люди, связанные с животными, богаче, интереснее и даже интеллектуальнее иных технарей.

— Вот я, к примеру, экономист...— начал было Виктор, но Татьяна Леонидовна обратилась к Гене:

— А вы не любите конный спорт?

— Вопрос-тест,— улыбнулся он.— Так что сразу можете поставить мне двадцать баллов.

«Все равно я тебя расшелушу!» — говорил ее взгляд.

— Что-то лицо мне ваше знакомо,— добавила она чуть позже, невзначай, и стало ясно, что не терпит неизвестности рядом с собой, хочет быстро и побольше узнать о молодом охотнике, у которого щенок от элитного Босса.— А вот где я могла вас видеть? Не на вашей ли службе?

— О его службе лучше не говорить,— пошутил Генерал.— Даже Кинг не скажет, где работает его хозяин.

— Вероятнее всего, на весенней выводке,— закрыл вопрос Стрельцов.

Татьяна Леонидовна наклонилась к Тане, они о чем-то тихо заговорили. Гена, включаясь в старую, как мир, игру, скопировал Кронц — за спиной Генерала наклонился к Виктору и спросил, а что тот знает о Кронц? Она доктор биологических наук, член президиума общества охотников, замужем за светилом науки. Похоже, Кронц осталась удовлетворена тем, что поведала ей Таня.

«А что,— подумал Стрельцов, глядя на них обеих,— глядишь, и правда сменит Таня квартиру, прическу, платье. Глядишь, и правда лучшими подругами станут, старшая натаскает... И вырастет из Тани копия Татьяны Леонидовны, с той лишь разницей, что руки Кронц никогда не знали стирки».

— Знаете, Гена,— вдруг обратилась к нему Таня,— а ведь вы в лагере — как Колобок из сказки! Вам не приходило в голову, что Колобок связывает и бабу, и деду, и зайца, и лису — самых разных героев. Так и вы здесь...

— К комплименту отнести трудно, но — принимаю,— ответил он. Перемены Таниного настроения уже утомляли его. «Интересно,— спохватился Стрельцов,— а чем сейчас заняты Найденов, Борисов, Волховитина?»

В то время как под березами за дощатым столом в полную силу пошел разговор, конечно же, о собаках, в «судейском» домике помирал Семен Семенович Сомов. Ему было 86 лет, последние два года он провел в лагере почти безвыездно, был прикомандирован к нему вместо дома престарелых. Вместе с ним неотлучно жила на казенных харчах его собака, ирландский сеттер Дина. Семен Семенович в 1946 году основал эту станцию по натаске, долгое время был ее начальником и главным судьей полевых испытаний. Он одинаково хорошо разбирался во всех породах, но старость брала свое: стал хуже видеть, временами глохнул, и его тактично назначили номинальным заместителем начальника и почетным судьей. Никто из охотников не знал его прошлого, не знали даже, есть ли у него родственники,— для всех он был просто патриарх.

Зрела гроза, она-то и доконала Сомова. Небо обложилось мрачными тучами, воздух был плотен и неподвижен, и даже молодые обитатели лагеря ощущали неопределенную тяжесть, навалившуюся на все тело. К вечеру Сомов закричал, заворочался с боку на бок, на вопросы не отвечал — видно, снова оглох, и, что хуже всего, никого не признавал.

— Николай Дмитриевич,— обратился Гена,— меня давно интересовало, как же удалось сохранить высокопородистых собак? Война была, голод, разруха...

— Хороший вопрос,— улыбнулся Генерал.— И хорошо, что об этом думаешь. За всех не скажу, а вот у нас в Питере в блокаду было так. Собакам пришлось, конечно, ту же всех. Суди сам, ребенка накормить или пса, хоть он и элитный? Выкручивались кто как мог, ворон били, кошек съели, пайком с собакой делились... Но перемерло, конечно, много. А потом помог случай. Осенью шла по Неве баржа с гречкой. Немцы ее разбомбили, наполовину затонула. И вмерзла в лед. Гречку признали

непригодной для питания. Тогда комендант ввел по нашей просьбе собачьи карточки. Идешь на рассвете к барже с пилой. Предъявляешь карточку часовому. И выпиливаешь кубик этого гречишного льда. Вот той-то гречкой мы элитных собак и сохранили, национальное достояние страны. И до вас эту эстафету донесли...

— Обалдеть, какая история! — восхитился слегка осовевший Первенцев.

Потянул свежий ветерок, все крепчающий. С черемух летели лепестки, сделавшие свое дело.

— А ты взял бы да рассказал народу про дупеля, — предложил вдруг Генерал. — В порядке обмена опытом. А то, кого ни слушаешь, только и болтовни, что о всякой птичьей сволочи, как изволили выразиться Ильф и Петров.

Стрельцов отнекивался, но Виктор, Таня и Кронц настояли. Начал он с того, как заспорили его соседи о возрасте, и обнаружилось, что Марье Андреевне — восемьдесят. Как злые языки приписали ей браконьерство и как рассеялось это подозрение. Видно было: даже Генерал, знавший «Марью», знатную охотницу, все это слышит впервые. Когда Гена закончил рассказ о том, как красиво работали Кинг и Леди, сходясь и расходясь правильными ромбами, Иванцов обнял его.

— Я же говорила! Говорила же я, он — Колобок! — кричала Таня.

— Какой еще, в чертях, колобок! — гневался Николай Дмитриевич. — Караси, колобки... свяжись с бабами! Охотник он, а не колобок. Я ведь ехал сюда и думал: не удержать тебе такого кобеля. Тут, брат, характер на характер, чей сильнее будет. Ты Боську сегодня рассмотрел — ведь зверь? Зверь... И Кинг твой не пуделек. Ан вот — удержал. За тебя!

За соседним, меньшим столом скромно ужинали ирландисты. Таня часто поглядывала туда, отыскивая взглядом монашью бороду и кудри Игоря Николаевича.

— Не знаю, я, видимо, отправлю Мишку в Москву, а

сама останусь. Рич совсем не натаскан, а мой лентяй еще и в поле не удосужился выйти с ним, дрыхнет в «Скифе» до полудня...— сетовала Татьяна Леонидовна, и Гена наконец получил ответ на свой вопрос: где же в лагере живет Кронц?

— Вот, к примеру, я экономист...— порывался рассказать что-то Виктор Первенцев.

— Так у нас ведь как бывает: собака натаскана-перенатаскана, а сыном заняться некогда,— философски разводил руками Генерал.

— А как вы смотрите на кофе? — предложил Стрельцов.

— О, кофе! — закричал Мишка Кронц, и мать поспешила одернуть его.

— Я всегда говорил, что у него что-то есть за душой,— шутил Иванцов.— Оказалось — кофе.

Гена пошел в судейский домик.

В комнате на кровати, глядя в одну точку, сидел Борисов. Он, как человек прошлого века, однажды открыв душу кому-нибудь, прикипал к этому человеку и ревностно оберегал его от общения с остальными.

— С Генералом пьете? — осведомился Борисов.

— С Генералом. Ужинаем.

— И Кронц с вами?

— Да, она там.

— Я, конечно, понимаю... вы — молодые с машинами...— обидчиво начал Борисов.

— Алексей Михайлович, мы же вместе в электричке ехали! — напомнил Гена.

— И собаки у вас молодые, горячие, лучших кровей,— не слушая, продолжал тот.— А я что? Простой слесарь, работяга, и собака у меня без медалей и дипломов, судьи признали Ладку апатичной и опять разрешения не дадут, а у нее без щенков портится характер...

От этого человека очень быстро устаешь,— открыл Гена. Вопреки всем добрым намерениям хотелось обругать его за нескончаемые повторы, за нытье, за то, что, когда

Генерал, Виктор и он, Гена, стояли втроем на пятачке, Борисов неслышной совой порхал мимо, по касательной — так уж сильно хотелось ему хоть краем уха услышать, о чем там у них идет разговор, а то и быть приглашенным в круг этого разговора.

— Так в чем же дело? Пойдемте с нами, поужинаем вместе! Пойдемте, пойдемте, я вас с Иванцовым познакомлю, я давно собирался.

И Гена прямо-таки потащил Борисова к двери.

— Нет, не могу, нельзя мне, — упирался Борисов. — Я лечился, мне пить нельзя ни грамма — сразу помру!

От такого признания Гена опешил, отпустил Борисова.

— Ну, просто поужинаем, — обескураженно предложил он.

— А раньше в месте ужинали! — укорил Борисов. — А вот приехали Кронц, Виктор, Генерал — тебя как подменили...

«Не надо ничего объяснять, — решил Гена. — И выяснять ничего не надо».

Он взял банку кофе, пачку сигарет, чайные ложки, стаканы и поспешил к выходу. Стоны за соседней дверью, стоны и какая-то странная возня привлекли его внимание. Он постучал и вошел.

Это была комната Семена Семеновича Сомова. Патриарх хрипел и задыхался, а когда его хотели переложить набок, в умирающего, видно, вселился бес: Сомов яростно отбивался, никого не узнавал и особенно рьяно охранял от прикосновений ноги. Стрельцов помог уложить Сомова набок, побежал к одному из автомобилистов, чтобы вызвать «Скорую помощь». Молодой охотник тут же сел за руль — он не знал Сомова и поехал из-за одного удовольствия вождения новенькой машины. Гена тем временем стремительно направился к «казарме».

— Где же ваш кофе? — игриво крикнула ему вдогонку Таня.

— Сейчас-сейчас, извините, — откликнулся он.

Иван Александрович Найденев сидел на кровати, при-

ческа мальчишечья, несколько седых волосинок на макушке упрямо торчали хохолком — он был из нелысеющих стариков, — и шил дратвой мягкий ошейник. Багира и Галка враз рыкнули — Гена смело протянул руку и сильно помассировал им шкуру под челюстью — тоже, как и уши, слабое место собак. Иван Александрович пришивал дратвой хромированные накладки — украшал ошейник. Хотелось сесть рядом и тоже шить, часами, в молчании, в светлых мыслях о чем-то дальнем — о детстве, кузнице, конюшне... Гена не возвращался бы за стол, к тысячу раз слышанным в Москве разговорам, остался бы подле Найденова, если бы не Сомов.

— Иван Александрович, там Сомову худо...

Седые кустистые брови поднялись, открывая глубоко синие глаза старика.

— Айда, — сказал Найденов, вколол толстую иглу в ошейник и повесил его на гвоздик. Не покрывая головы, он легко встал и вышел. Гена пожалел, что живет не в «казарме», рядом с Иваном Александровичем. Весь этот трудный и неустроенный быт казался даже привлекательным — его освещал собой этот благообразный старик. Не потому ли многие охотно живут в «казарме», что истосковались в городе по трудностям полевой, походной жизни, и чем дальше уходят от города, тем меньшее значение имеют для них прежние бытовые удобства.

Наткнувшись взглядом на кофе и стаканы, оставленные в комнате Сомова, Гена отнес их к столу и снова вернулся. Найденов прикладывал холодные компрессы ко лбу и груди старика. «Неотложка» прибыла гораздо раньше, чем они ожидали. Первым делом медсестры распахнули настежь окна — в комнате было слишком душно. Комары, сидевшие на стеклах с подветренной стороны, сейчас же ринулись на свет, их уносило сквозняком в коридор, но все равно укусов досталось немало.

Сомова комары совсем не кусали.

С помощью Найденова и Гены медсестры навалились на ноги больному и наконец смогли измерить давление:

220 на 80. Из вены ему выпустили кровь и ввели успокоительное. Пока медицина боролась за жизнь Сомова, Найденов и Геннадий вышли на веранду.

— Вот так и помирают охотники,— печально сказал Иван Александрович.— В поле...

— Вы давно знаете его? — предположил Стрельцов.

— Сема меня натаске учил, большой знаток старой школы. Ты поди, поди, твое ли дело стариков провожать? А вот меня кликнул — не забуду. Молодец, не забуду... поди.

Гена автоматически пошел к столу, взял из рук Тани стакан кофе, автоматически пил и слушал беспорядочный разговор.

— Поголовное увлечение собаками еще найдет своего исследователя как феномен кризиса духовной жизни общества.

— Одиночество — вот корень! Одиночество на службе. В семье. В праздники и выходные. Разочарование в себе, в детях, в карьере. Подлые и пошлые люди, что тебя окружали...

— Собака — о! — собака неболтлива и верна, не испорчена цивилизацией... Ты царь и бог для нее, ее бессловесное, но полное общение с тобой — вот что делает тебя человеком!

— Истинно славянский тип охоты — псовая. Да еще соколиная.

— Бросьте, славянский! Западничество чистой воды!

— Человек слаб и грешен, надо относиться к нему снисходительно. Он и завистник, и иудушка немного...

— Нет, что ни говори, охота не женское дело! Никакая эмансипация этому не научит.

Гена слушал, не вступая в разговор. Было время, он и сам говорил так и возражал на такие слова, а истина не в этом. Все «собачники» родственны — да, но не все извлекают из охоты с собакой ту крупицу истины, какая известна лишь охотникам, подобным Найденову и Волховитиной.

Высоко вверх заворчал гром.

Стрельцов вернулся к Сомову. Оглушительно пахло лекарствами, он даже нос зажал. И откуда взялась такая чувствительность?

— Хуже, — сказал Иван Александрович.

Через несколько минут медсестры велели принести носилки и готовить больного к отправке. Одна из них стала заполнять карточку, и никто, кроме Найденова, не мог ответить на заданные вопросы. Гену больно ударили его слова:

— Родственников нет. Бобыль полный...

Они уложили Сомова на носилки и понесли по коридору.

И тут раздались тягостные, шаркающие, такие знакомые шаги. Это сеттер Дина — единственная родственница Сомова — пошла следом, проводить хозяина в последний путь.

— Уберите собаку! — испуганно вскрикнула сестричка, неожиданно увидев Дину.

— Пускай, — сказал Найденов. — Пускай проводит...

В машине он поцеловал Сомова в лоб, и того увезли. Гена посмотрел на оставленную им компанию — Тани там уже не было, Генерал что-то жарко доказывал Виктору, все смешалось, и никто под березами не заметил происшедшего.

— Марья Андреевна не вернулась, — сказал Гена Найденову. — А гроза начинается.

— Да, гроза, — рассеянно отвечал старик. — Позвал — не забуду, проститься дал...

И ушел в темноту.

Стрельцов ощутил в себе прилив сил. Может быть, это переутомление всего нынешнего дня превратилось в нездоровую активность, а может, с началом грозы изменилось давление.

Стрельцов всегда был рационален, даже сознательно вырабатывал в себе научную последовательность и логичность во всем, сперва мысль, потом действие. Теперь же действовал автоматически, ни о чем не думая. Вернулся в комнату, где Борисов притворялся спящим, и взял плащ-палатку Первенцева. Вынул из похудевшего рюкзака блестящий тубус фонаря, термос, спички. И не задавал себе вопроса: а зачем ему сейчас термос и фонарь? Вспомнил старое туристское правило: сахар восстанавливает силы, бросил в термос десяток кусков рафинада, насыпал чаю. Сунул сахар и в карман. Он взял также корду и свисток, вышел к летней кухне и залил кипятку в термос. На столе, где только что пировала компания, оставались хлеб и колбаса — он беззастенчиво забрал их. Надев плащ-палатку, Гена ощутил себя как в скафандре. Прошел в опустевший к ночи вольтер за Кингом. Собака удивленно подняла морду, заглядывая в глаза: что ты надумал, повелитель?

За изгородью бушевало черное море. Он даже замедлил шаг: ничего не разобрать! Где лес? Где дорога? Все раскачивалось, шумело, ходило черными волнами. Почти невидимый в крошечной темноте Кинг жался к ноге. «Посмотрим, далеко ты ушел от папы Босса или нет», — сказал ему Гена, не слыша голоса. Он включил фонарь и приспособил его в боковой прорези плащ-палатки. Сильный устойчивый свет вернул все на привычные дневные места. Он прибавил шагу, держась подальше от деревьев, которые угрожающе согнулись пополам. Ветер налетал, казалось, со всех сторон. Лес гудел, выл, шелкал, визжал. Выйдя на шоссе, Гена вынужден был стать к ветру спиной. Гроза шла с севера, точно в лицо. Дважды сорвало плащ-палатку. Взъерошенный Кинг шел, сбывшись, похожий на черную обезьяну. «Вперед, Кинг, вперед!» — подбадривал его Гена. Обрушился ливень, похожий на чередование гигантских волн: одна воздушная, другая — водяная. Стрельцов прикрывал собаку полкой плащ-палатки — Кинг охотно подчинялся. «Вот так те-

бя и учить ходить рядом!» — сказал Гена и ослеп — четкая картина дневного мира вдруг встала перед глазами: изгиб шоссе, водонапорная башня, сенной сарай. И тут же с грохотом померкла. Давно не видал он таких молний, две подряд ударили дуплетом, после них фонарь казался погасшим. Кинг — мужественный сын Босса — дрожал всем телом и жался к ноге. Без него Гена, наверное, повернул бы назад, но этот испуганный черный зверь помогал преодолеть собственный страх.

Небо вспарывали огненные трещины. При очередной ярко-белой вспышке, озарившей полгоризонта, он увидел, как впереди, словно в замедленной съемке, беззвучно стало падать ссеченное молнией дерево.

Гена поскользнулся, упал. И встал, опираясь на хребет Кинга. Они пошли дальше по обочине шоссе, чтобы молния ударила в дерево — не в него. В грозу нельзя ходить полем.

Лишь теперь он понял, что идет искать Марию Андреевну. «Надо меньше думать, меньше копаться в собственной драгоценной персоне — больше доверять себе, дремлющим природным силам и задаткам, задавленным цивилизацией, и тогда не будет ошибки!» — открыл Гена.

Где-то на полпути до заболоченных дупелиных полей Кинг напряженно остановился, ощетинился. В перерывах между раскатами грома Гена слышал его рычание. Холодок прошел по спине. Он светил фонарем вокруг себя — и ничего не видел.

«Как?! — гневно ругал себя Гена, прогоняя словами страх и озноб. — Как же ты думал найти ее? Ночует где-нибудь в деревне — ищи себе! Тебя самого впору искать!»

Он посылал собаку вперед — взъерошенный Кинг, вся шерсть дыбом, вислые уши насторожены — упирался и рычал, словно впереди стоял волк.

Он ослеп от каскада молний. Каждый раз чудилось, что бьет именно в него. Гена потрогал рукой Кинга — Кинга не было. Несколько раз изо всей силы зажмурил глаза, чтобы быстрее вернуть зрение. Увидел впереди

длинные трубы большого диаметра и реку. Какая река? — днем никакой реки тут не было! Где же Кинг?

Ты заблудился. Ты потерял собаку.

Он свистел и кричал — и не слышал ни свистка, ни крика.

И тут, в секундной паузе между двумя разрядами, кто-то оглушительно рывкнул и зарычал. Гена упал, и его потащило назад.

Ты не в своем уме, что происходит?!

Через минуту он обнаружил, что Кинг стоит в двадцати метрах позади него. Что корда — и когда руки это сделали? — обвязана вокруг пояса Гены. Это Кинг, напуганный жутким рыком, рванул и поволок хозяина.

И тут звук повторился, и все сразу стало на свои места. Усиленный в несколько раз, из трубы раздался собачий лай. «Труба — резонатор», — догадался Гена. Кинг раньше него почуял, что в трубе кто-то есть. Конечно, это громогласный лай Леди так напугал бесстрашного Кинга.

— Марья Андреевна! Вы тут? — кричал Гена поочередно то в одну, то в другую трубу.

— Господи, как вы меня напугали! — наконец услышал он ее гулкий голос. — Полезайте сюда, здесь сухо.

Он лез в трубу, но корда не пускала — Кинг, как упрямый осел, уперся и стоял на дороге.

— Леди рычит и лает, я ничего понять не могу, — обрадованно говорила Марья Андреевна. — Гляжу — привидение какое-то, в рясе...

— Да, я, наверно, на куклуксклановца похож, — гулко хохотал Гена. Он согнулся в три погибели, снимая плащ-палатку.

— А мы с Ледкой забились... Сил идти нет, такие страсти господни!

— Если бы не Кинг, я бы ни за что не сообразил тут вас искать.

— Да я-то, дура старая, знала, что гроза будет, уж как парило, как парило днем!

— Вот чай. Колбаса... Колбасу потерял. Хлеб.

— Гена!.. Так это вы меня искать пошли?!

— Как же Кинга затащить? Вот характер! Признаться, мы трухнули: такая труба иерихонская у вашей Леди!

В трубе действительно было сухо, ветер завывал в торцах, как в печи, все пространство внутри гудело. Посвечивая фонарем, Гена налил Марье Андреевне чаю в колпачок термоса, она жадно пила чай с хлебом и рафинадом и говорила, что без чаю не дошла бы до лагеря. Кинг подошел к трубе, видя в ней свет и наконец насилу они втянули его в четыре руки. Гена снял свитер и рубашку, снова надел свитер, а ковбойкой досуха вытер собаку.

Когда ливень стих, они вылезли из трубы, укрылись вдвоем плащ-палаткой и пошли к лагерю.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Все оставшиеся до испытаний дни были ускоренным повторением первых. Все так же охотники ходили в карты, так же натаскивали собак и вели почти те же разговоры. Генерал Иванцов уехал, не дожидаясь испытаний, — он уже не сомневался в результатах.

Семен Семенович Сомов скончался в больнице в ту же ночь. Два дня подряд сеттер Дина потерянно ходила по всем комнатам и по лагерю в поисках хозяина, и не было сердца, какое не сжалось бы при виде этой преданной собаки, как она из последних собачьих сил, тяжело дыша и деревянно переставляя лапы, ищет и ищет своего хозяина. Ее отдали егерю Сарычеву, когда он приехал на станцию наказать браконьеров — у троих молодых курцхаристов он отобрал охотничьи билеты.

Марья Андреевна уехала за два дня до испытаний, «чтобы душу не травить», как она сказала, пожелав Гене ни пуха ни пера. Уехал и Мишка Кронц, а Татьяна

Леонидовна каждый день ходила в карты, но Рича на испытания так и не выставила.

Курцхар Кузьмича был снят с испытаний: едва его пустили, как он спорол двух дупелей, погнал и не вернулся к хозяину.

Кинг Стрельцова получил Д-2, и это было неплохо для начала собачьей биографии.

Таня опять не выставила своего Димку. Однажды, возвращаясь с натаски, Гена увидел ее с Игорем Николаевичем — их злосчастному роману, видимо, суждено продолжаться до бесконечности.

Сенсацией полевых испытаний того года стал тихий, обиженный на всех Борисов. Судьи не только не сочли его Ладу апатичной, но и оценили ее работу дипломом второй степени. Тем не менее Борисов обиженно взял Ладу на поводок, не прощаясь, собрал рюкзак и пошел пешком по шоссе. Так он переживал сильную радость. Гена увидел его через год на выводке, где Лада ходила поначалу шестой, потом третьей, затем второй в круге. Борисов с трудом вспомнил Стрельцова, а потом рассказал, что у Ладушки есть уже и Д-1, и трое щенков. Материнство улучшило ее охотничьи данные.

Марью Андреевну Геннадий больше не встречал, а у Ивана Александровича Найденова не раз пил чай и играл в шахматы. Старик оказался прекрасным шахматистом, ему было приятно проигрывать.

Гена и Кинг больше не ссорились, натаска и особенно та грозовая ночь сблизили их, а многие сотни пройденных вместе километров поля подружили.

Егерь Сарычев по обычаю похоронил Дину рядом с могилой хозяина и помянул обоих.

СОДЕРЖАНИЕ

История одной ревизии. <i>Повесть</i>	3
---	---

РАССКАЗЫ

Ужин вдвоем с дочерью	114
Горсть проса	123
Атос	131
Туман на Хотче	145
Старая Торопа	157
Корень	173
Старушка и голуби	182
Игрушки для мужчин	185
Белоомут. <i>Повесть</i>	195

ИБ № 6140

Фартышев Василий Илларионович
ПРОЗА ЖИЗНИ

Заведующий редакцией В. Перегудов
Редактор Н. Лагранж
Художественный редактор А. Романова
Технический редактор Н. Носова
Корректоры Е. Дмитриева, В. Назарова

Сдано в набор 03.10.88. Подписано в печать 06.03.89. А 04711.
Формат 70×108 1/32. Бумага кн. журнальная. Гарнитура «Обык-
новенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 12,6. Усл. кр.-
отт. 12,95. Учетно-изд. л. 13,7. Тираж 65 000 экз. Цена 85 коп.
Изд. № 2333. Заказ 3—442.

Ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфиче-
ское объединение ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». 103030,
Москва. Суцевская, 21.

Полиграфкомбинат ЦК ЛКСМ Украины «Молодь» ордена Тру-
дового Красного Знамени издательско-полиграфического объеди-
нения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». 252119, Киев-119, ул. Пар-
хоменко, 38—44

ISBN 5-235-00454-X

85 коп.



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ